П. В. Александровскій.

Чтенія по Новѣйшей Русской Литературѣ.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПЕРВАГО ПЕРІОДА.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНИЧЕСКАГО НАПРАВЛЕНІЯ ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ ВЪ 40—70-ые ГОДЫ XIX ВѢКА.

ГЛѢБЪ ИВАНОВИЧЪ УСПЕНСКІЙ.

ГРАФЪ А. К. ТОЛСТОЙ И ЕГО СТИХОТВОРЕНІЯ.

Паче всего люби родную литературу...
Щедринъ.

Ревель. 22 марта 1908

Продается въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина.

КІЕВЪ
Крещатикъ, № 33.

ПЕТЕРБУРГЪ
Екатерининская, № 4.

СОДЕРЖАНІЕ.

Графъ Л. Н. Толстой и его художественное творчество перваго періода. с. 1—122.

Вступительныя замѣчанія. Общая характеристика таланта Л. Н. Толстого. с. 3—20.

I—VI. Нѣкоторыя главнѣйшія особенности новѣйшей русской литературы и отраженіе ихъ въ творчествѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго и Некрасова. Связь Льва Толстого съ основнымъ направленіемъ новѣйшей русской литературы. Огромная всемірная извѣстность Л. Толстого и причины ея. Толстой, какъ выразитель русскаго національнаго духа. Почему изученіе творчества Л. Толстого имѣетъ особенное значеніе для русскихъ. Единство художественной и философской дѣятельности Л. Толстого. Основные вопросы, возникающіе при изслѣдованіи творчества Л. Толстого.

VII—XII. Общая характеристика поэтическаго таланта Л. Толстого: чрезвычайно развитая впечатлительность и могучая художественная память; одинаково могущественная способность къ субъективному и объективному творчеству, въ частности, къ воспроизведенію жизни человѣческаго духа въ самыхъ различныхъ его проявленіяхъ; разборъ мнѣнія Мережковскаго о томъ, что наиболѣе доступно таланту Л. Толстого въ воспроизведеніи человѣческой психологіи; колосальный умъ Л. Толстого и скептическій анализъ; стиль Толстого.

XIII—XV. Своеобразный путь развитія таланта Л. Толстого: отсутствіе литературныхъ вліяній на первыхъ произведеніяхъ. Хронологическая справка о первыхъ произведеніяхъ Л. Н. Толстого.

Дѣтство, Отрочество и Юность. с. 20—38.

I—V. Что хотѣлъ избрать Л. Толстой въ своей первой повѣсти. (Вопросъ о субъективно-біографическомъ элементѣ творчества въ „Дѣтствѣ, Отрочествѣ и Юности“). Разборъ мнѣнія проф. Овсянико-Куликовскаго о томъ, что повѣсть „Д., О. Ю.“ представляетъ собою семейную хронику, а Толстой является въ ней художникомъ-мемуаристомъ. Вопросъ о портретности дѣйствующихъ лицъ „Д. О. Ю.“.

VI—XI. Общая картина жизни провинціальнаго богатаго дворянства, изображенная въ „Д. О. Ю.“: отсутствіе всякихъ духовныхъ интересовъ; заполненіе времени ненужными услов-

ностями этикета; отсутствіе какой-бы то-ни было дѣятельности; отношеніе къ хозяйству; охота; семейныя торжества; поѣздка на долгихъ. Воспитаніе дѣтей въ дворянской средѣ: забота о внѣшнемъ воспитаніи; полное духовное одиночество ребенка и послѣдствія его; результаты внѣшняго воспитанія—преклоненіе передъ comme il faut. Переломъ во взглядахъ Иртеньева подъ вліяніемъ университетской среды. Общіе результаты вліянія воспитанія на Иртеньева. Автобіографическое и историко-бытовое значеніе разсматриваемой повѣсти.

XII—XIII. Міровое значеніе „Дѣтства, Отрочества и Юности“, какъ произведенія, рисующаго психологію отроческаго и юношескаго возраста. Важнѣйшія черты психологіи отрочества и юности, отразившіяся въ повѣсти Толстого.

Утро помѣщика. с. 38—49.

I—III. Можно-ли пользоваться этимъ произведеніемъ для какихъ-либо историко-литературныхъ выводовъ и построеній внѣ біографическихъ рамокъ и почему.

IV—V. Что даетъ „Утро помѣщика“ для характеристики русской жизни въ 50-е годы XIX вѣка: изображеніе крестьянской жизни; его разносторонность; изображеніе народной бѣдности; причины ея.

VI—IX. Внутренній міръ героя повѣсти: рѣшеніе поселиться въ деревнѣ, и чѣмъ оно вызвано; Нехлюдовъ, какъ первый выразитель въ русской литературѣ психологіи кающагося дворянина; дѣятельность Нехлюдова по улучшенію быта крестьянъ; крушеніе Нехлюдова. Какъ объясняютъ причины неудачи Нехлюдова на поприщѣ служенія народу Писаревъ, Скабичевскій, Дистерло; разборъ ихъ мнѣній. Анализъ рѣшенія Нехлюдова поселиться въ деревнѣ; скрытыя эгоистическія пружины этого рѣшенія. Психологія филантропіи, какъ она отразилась въ образѣ Нехлюдова.

Казаки. с. 49—66.

I—II. Біографическая справка о событіяхъ изъ жизни Л. Толстого, послужившихъ матеріаломъ для повѣсти „Казаки“. Опредѣленіе біографическаго и субъективнаго элемента въ повѣсти.

III—VI. Сопоставленіе самобытной народной жизни и міра, созданнаго барской аристократической русской культурой первой половины XIX вѣка. Картина казацкаго быта, какъ онъ отразился въ повѣсти. Ерошка, какъ народный великорусскій типъ. Лукашка, какъ яркое воплощеніе казацкихъ нравовъ и станичнаго быта. Маріанка. Общее значеніе картины быта и народныхъ типовъ въ „Казакахъ“.

VII—XII. Оленинъ: что онъ представляетъ собою въ началѣ повѣсти; параллель съ Ев. Онѣгинымъ; неудовлетворенность окружающей свѣтской жизнью; борьба съ гнетомъ сословной психологіи; эгоизмъ, какъ ея существенная черта; какъ подъ вліяніемъ безыскусственной природы Оленинъ начинаетъ постепенно освобождаться отъ эгоизма. Въ чемъ слабая сторона альтруистическихъ порывовъ Оленина. Какъ проявляется его эгоизмъ въ отношеніяхъ къ Маріанкѣ. Крушеніе попытокъ Оленина опроститься. Значеніе образа Оленина, какъ историческаго и общечеловѣческаго типа.

Военные разсказы. с. 66—71.

I—II. Отзывы современниковъ о достоинствахъ военныхъ разсказовъ Л. Толстого. Что новаго внесъ въ русскую литературу Л. Толстой своими разсказами изъ военной жизни:

какія стороны войны изображали предшествовавшіе писатели; вскрытіе у Л. Толстого психологіи отдѣльной личности, захваченной потокомъ военныхъ событій.

III—V. Внутренній міръ простого солдата и величіе его духа на войнѣ; офицеры: Михайловъ, Калугинъ и ихъ настроеніе; противоположеніе офицерства и солдатской массы; на чьей сторонѣ симпатіи автора; какъ проявляется отрицательное отношеніе Л. Толстого къ войнѣ.

Война и Миръ. с. 71—106.

I—III. Отсутствіе полнаго критическаго разбора „Войны и Мира“ и чѣмъ это объясняется. Біографическая справка о созданіи „Войны и Мира“. Огромная сложность задачи автора.

IV—XI. Значеніе „В. и М.“ въ историческомъ отношеніи: взглядъ автора на задачи художественнаго изображенія прошлаго; мнѣнія критиковъ объ исторической сторонѣ „В. и М.“; отрицательное отношеніе къ „В. М.“, какъ историческому произведенію, Тургенева и Мережковскаго; разборъ ихъ мнѣній; противоположный взглядъ проф. О. Миллера, Овсянико-Кузиковскаго и Кирпичникова; насколько исторически вѣрно изображеніе Александровской эпохи въ „В. и М.“; изображеніе въ „В. и М.“ историческихъ событій и лицъ. Общій взглядъ автора на роль личности въ развитіи историческихъ событій; Кутузовъ и Наполеонъ въ изображеніи Л. Толстого.

XII—XV. Взглядъ Л. Толстого на историческій процессъ; разборъ его историко-философскихъ построеній; мнѣніе о нихъ Страхова и пр. Карѣева.

XVI—XIX. Почему Л. Толстой пришелъ къ ученію историческаго фатализма; органическое влеченіе Л. Толстого къ укладу русской національной психологіи, какъ основа историческаго міровоззрѣнія Л. Толстого. Что такое національная психологія. Отличительныя черты русскаго національнаго облика. Кутузовъ, какъ выразитель его; чѣмъ объясняется созданіе Л. Толстымъ образа Каратаева.

XX—XXII. Каратаевъ; художественность этого образа; почему Л. Толстой изобразилъ Каратаева крестьяниномъ; почему онъ заставилъ его пройти долгую солдатскую службу. Вліяніе Каратаева на Пьера. Какимъ представляется Каратаевъ Пьеру: цѣльность натуры Каратаева; всечеловѣчность; отсутствіе индивидуальной жизни; рѣчь Каратаева; духъ простоты и правды; оптимистическій фатализмъ; смиреніе, какъ слѣдствіе оптимистическаго фатализма. Значеніе образовъ Кутузова и Каратаева, какъ выразителей духовнаго облика русскаго народа.

XXIII—XXV. Князь Андрей Болконскій; его врожденныя черты: незаурядный умъ; сложный міръ чувствованій, дающій направленіе его дѣятельности, самоанализъ; потребность въ дѣятельности; стремленіе къ власти и славѣ; честность; противорѣчія въ натурѣ и поступкахъ князя Андрея. Духовное просвѣтленіе Андрея Болконскаго передъ смертью; насколько оно соотвѣтствуетъ его натурѣ; почему авторъ привелъ своего героя къ духовному возрожденію въ духѣ христіанской любви. Отношеніе Андрея Болконскаго къ окружающему его обществу, какъ отраженіе его аристократизма; въ какой степени историческій моментъ вліялъ на развитіе властолюбія и честолюбія кн. Андрея. А. Болконскій, какъ сословно-историческій типъ.

XXVI. Пьеръ Безухій, какъ типичный представитель своего времени и какъ общечеловѣческій типъ. Къ какому психологическому типу принадлежитъ Пьеръ Безухій; исканіе

высшей правды жизни, какъ его отличительная черта; какимъ путемъ нашелъ Пьеръ свое душевное спокойствіе; художественный недостатокъ въ обрисовкѣ душевнаго перелома Пьера и чѣмъ онъ объясняется; историко-литературное значіеніе образа Пьера.

Общая характеристика народническаго направленія въ русской литературѣ въ 40—70-ые годы XIX вѣка, с. 107—122.

I. Народническая струя въ русской литературѣ 18 и первой половины 19 в. и факторы, содѣйствовавшіе ея развитію. Чѣмъ объясняется интересъ къ народу въ 40-е годы въ западническомъ и славянофильскомъ лагерѣ. Усиленіе въ 40-е годы интереса къ народной жизни подъ вліяніемъ новаго направленія русской исторической науки и этнографіи.

II. Д. В. Григоровичъ: хронологическая справка о его произведеніяхъ изъ народной жизни; неумѣніе Григоровича проникать во внутренній міръ крестьянъ; правдивая обрисовка внѣшнихъ условій народной жизни; отзывъ Салтыкова-Щедрина и Л. Толстого о значеніи произведеній Григоровича изъ народной жизни.

III—IV. Общая характеристика изображенія народной жизни второстепенными писателями 40-хъ и первой половинѣ 50-хъ годовъ. Какія задачи въ народнической беллетристикѣ выдвинуты были кануномъ „эпохи великихъ реформъ". Писатели-разночинцы, какъ изобразители народной жизни. Отраженіе народной жизни въ художественной либературѣ въ концѣ 50-хъ годовъ.

V—VI. Чѣмъ объясняется могущественный ростъ народническаго теченія въ литературѣ въ 60-е и 70-е годы. Какія стороны народной жизни привлекаютъ преимущественное вниманіе литературы въ этотъ періодъ. Николай Успенскій и Слѣпцовъ. Левитовъ. Рѣшетниковъ.

VII. Златовратскій: краткая характеристика его таланта; его взгляды на общинную жизнь русской деревни; ихъ односторонность.

Что такое народничество.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. с. 123—194.

Общая характеристика Г. И. Успенскаго, какъ писателя. с. 125—138.

I—IV. Общая характеристика таланта Глѣба Успенскаго: трезвый реализмъ; способность къ глубокому анализу; умѣніе немногими художественными штрихами создавать цѣлую картину жизни; густота художественной мысли и ея вліяніе на читателя; способность передавать характерную рѣчь изображаемыхъ лицъ; гуманность и любовь къ мужику; юморъ.

V—VIII. Почему сочиненія Г. Успенскаго трудны для чтенія: отсутствіе въ нихъ тщательной литературной обработки; художественный аскетизмъ и чѣмъ онъ объясняется; тяжелый мѣстами слогъ; смѣшеніе художественнаго и публицистическаго элемента.

IX—X. Насколько отрицательныя стороны творчества Г. Успенскаго объясняется условіями его литературной дѣятельности и господствовавшими въ его время взглядами на искусство.

XI—XIV. Главнѣйшее содержаніе творчества Г. Успенскаго. Связь личной жизни Г. Успенскаго съ произведеніями первой группы. Какія стороны народной жизни и гдѣ наблюдалъ Г. Успенскій.

Разореніе. с. 138—159.

I—II. Какія стороны русской жизни въ „эпоху великихъ реформъ“ не нашли себѣ отраженія въ творчествѣ писателей 40-хъ годовъ и почему. Что въ этомъ отношеніи даетъ Г. Успенскій очерками „Разореніе“. Художественные недостатки этихъ очерковъ.

III—V. Положеніе дореформеннаго провинціальнаго чиновничества въ эпоху реформъ Императора Александра II: общее впечатлѣніе читателя отъ картины жизни этихъ жертвъ крушенія дореформеннаго строя; Ваня Птицынъ, какъ типичное явленіе гибели даровитой натуры въ этой средѣ; отношеніе массы населенія къ „разореннымъ“.

VI—IX. Михаилъ Ивановичъ, какъ выразитель настроенія части городской бѣдноты, страдавшей отъ „прижимки“.

X—XII. Надя Черемухина, какъ типъ пробуждающейся русской женщины въ мѣщанско-чиновничьей провинціальной средѣ. Историческое значеніе образа Нади.

XIII—XIV. Василій Андреевичъ Черемухинъ, какъ родоначальникъ чеховскихъ „хмурыхъ людей“.

XV—XVIII. „Разореніе“, какъ матеріалъ для характеристики того, какъ отразились новыя реформы въ тогдашней народной жизни; судъ присяжныхъ; земство. Можно-ли считать Г. Успенскаго врагомъ „эпохи великихъ реформъ“.

XIX. „Наблюденія одного лѣнтяя“: отсутствіе связи этого очерка съ двумя другими частями „Разоренія“; отсутствіе художественной стройности въ этомъ очеркѣ; наиболѣе цѣнныя въ художественномъ отношеніи мѣста этого очерка.

XX—XXIII. Значеніе „Наблюденій одного лѣнтяя“ для пониманія періода реформъ Александра II. Народная жизнь въ этомъ очеркѣ.

Новыя времена и новыя заботы. с. 159—168.

I—IV. Новыя времена—новыя заботы“, какъ рядъ иллюстрацій къ различнаго рода „болѣзнямъ совѣсти“ русскаго человѣка, вызваннымъ новымъ направленіемъ русской жизни. Діаконъ изъ разсказа „Неизлѣчимый“ и Анна Федоровна, главное дѣйствующее лицо разсказа „На старомъ пепелищѣ“.

V. Очеркъ „Книжка чековъ“. Картина крестьянскихъ земельныхъ неурядицъ въ этомъ очеркѣ и вліяніе капиталистическаго хозяйства на народную жизнь и благосостояніе.

Очерки изъ народной жизни. с. 168—194.

I—III. Поворотъ въ творчествѣ Г. Успенскаго во второй половинѣ 70-хъ годовъ и чѣмъ онъ объясняется. Откуда черпалъ Г. Успенскій свои впечатлѣнія отъ народной жизни. Общая характеристика его очерковъ, рисующихъ народную жизнь.

IV—VII. Отголоски вліянія крѣпостного права въ пореформенной народной жизни и объясненіе имъ нѣкоторыхъ своеобразныхъ явленій народной жизни. Погоня за рублемъ. Кулачество.

VIII. Равнодушіе общины къ несчастью отдѣльныхъ ея членовъ. Отсутствіе нравственной связи между членами общины. Недостаточность разработки внутреннихъ распорядковъ общины. „Мірское питіе“ и его подробная разработка. Распаденіе общинной семьи.

IX—X. Отношеніе народа къ идущему ему на помощь интеллигенту.

XI. Общая картина народной жизни, вскрытая безпощаднымъ анализомъ Г. Успенскаго.

XII—XIV. Въ чемъ, по мнѣнію Г. Успенскаго, спасеніе разлагающейся деревни. Тармоническая цѣльность и поэзія земледѣльческаго труда, какъ сила, поддерживающая крестьянина въ его тяжеломъ существованіи. „Власть земли“, какъ непремѣнное условіе личнаго и общественнаго благоденствія русскаго народа. Иванъ Босыхъ, какъ примѣръ гибели крестьянина, оторваннаго отъ земледѣльческаго уклада жизни.

XVI—XVIII. Въ чемъ задача интеллигенціи, желающей прійти на помощь народу. Общая оцѣнка взглядовъ Г. Успенскаго на народную жизнь, какъ они выразились въ его сочиненіяхъ „Власть земли“, „Трудами рукъ своихъ“ и др.

Графъ А. К. Толстой и его стихотворенія. с. 195—224.

I—II. Гр. А. Толстой—забытый поэтъ. Общая характеристика творческой личности гр. А. Толстого.

III—V. Основные мотивы стихотвореній А. Толстого. Религіозность. Взглядъ на поэта и поэзію.

VI. Главнѣйшія общественныя теченія въ періодъ творчества А. Толстого и отношеніе къ нимъ поэта.

IX—X. Стихотворенія, рисующія отношеніе А. Толстого къ природѣ. Любовная лирика А. Толстого. Баллады.

XI. Общая историко-литературная оцѣнка А. Толстого, какъ поэта-стихотворца: связь его творчества съ общимъ передовымъ теченіемъ 60-хъ годовъ; общечеловѣческіе мотивы его творчества; языкъ и стихъ А. Толстого; національный характеръ его поэзіи. А. Толстой, какъ романтикъ.

Графъ Л. Н. Толстой и его художественное творчество перваго періода.

Вступительныя замѣчанія. Общая характеристика таланта Л. Н. Толстого.

I.

Въ первомъ выпускѣ нашихъ „Чтеній по новѣйшей русской литературѣ“, во вступительной главѣ, мы отмѣтили важнѣйшія отличительныя особенности новѣйшей русской литературы, какъ онѣ постепенно опредѣлялись въ ней, особенно замѣтно выступая съ первой половины 18-го вѣка. Мы видѣли, какъ эти особенности все ярче и настойчивѣе проявлялись въ нашей словесности и къ 40 мъ годамъ прошлаго XIX вѣка, благодаря такимъ писателямъ, какъ Пушкинъ, Гоголь и Бѣлинскій, прочно залегли въ творчествѣ русскихъ художниковъ слова и вполнѣ опредѣлили общій характеръ и направленіе дѣятельности послѣдующихъ лучшихъ русскихъ писателей. Главнѣйшими особенностями его является, во-первыхъ, самая широкая гуманность, во всей силѣ сказавшаяся уже въ творчествѣ А. С. Пушкина и съ тѣхъ поръ не переставшая горѣть яркимъ свѣтомъ въ твореніяхъ позднѣйшихъ корифеевъ русской литературы. Прямое слѣдствіе ея—неустанный, несмотря на самыя подчасъ неблагопріятныя условія для его выраженія, протестъ противъ всего, что такъ или иначе угнетаетъ человѣческую личность, мѣшаетъ ея свободному, разумному развитію, и защита всѣхъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Въ зависимости отъ этого, поэтическія стрѣлы литературы были, прежде всего, направляемы противъ впервые вскрытой Гоголемъ въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ „пошлости пошлаго человѣка“, въ значительной мѣрѣ отравлявшей и существованіе культурнаго русскаго общества; вмѣстѣ съ тѣмъ, участіе къ чужому страданію все болѣе и болѣе выдвигало въ литературѣ на первый планъ симпатію къ народу и его горемычной долѣ. Интересъ къ мужику и стремленіе сдѣлать его личность и жизнь предметомъ поэтическаго воспроизведенія усиливался еще вслѣдствіе издавна присущаго нашей литературѣ влеченія къ на-

родно-національному укладу русскаго духа и проявившагося особенно замѣтно послѣ освобожденія ея отъ иноземныхъ вліяній.

II.

Указанныя особенности новѣйшей русской литературы, опредѣлившіяся въ ней вполнѣ къ 40-мъ годамъ XIX вѣка, могутъ быть сведены къ слѣдующимъ тремъ основнымъ ея чертамъ: стремленіе, во имя высшихъ идеаловъ человѣческаго существованія, освободить русскую жизнь отъ всего, что мѣшаетъ ея нормальному развитію, разоблаченіе идейной и моральной несостоятельности современнаго культурнаго общества и, наконецъ, интересъ къ народу и, вообще, національному укладу жизни и психологіи. Проходя черезъ всю послѣдующую литературу, вплоть до нашихъ дней, черты эти съ большей или меньшей силой и яркостью выступаютъ и въ дѣятельности тѣхъ корифеевъ русскаго художественнаго слова, о которыхъ шла рѣчь въ первомъ выпускѣ нашей книги. И Тургеневъ, и Гончаровъ, и Островскій, и Некрасовъ, при всемъ разнообразіи ихъ талантовъ и созданныхъ ими картинъ и типовъ русской жизни, остаются вѣрными исконному общему характеру и направленію нашей литературы, какъ онъ вполнѣ опредѣлился со времени Пушкина и Гоголя. Всматриваясь въ ихъ творчество, нельзя не замѣтить въ немъ, прежде всего, общей освободительной тенденціи, стремленія очистить русскую жизнь отъ старыхъ и новыхъ болѣзненныхъ наростовъ, порою очень глубоко въѣвшихся въ нее и тормазящихъ здоровое развитіе и совершенствованіе какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлаго общества. Такъ, Тургеневъ, вооруженный своимъ сильнымъ умомъ и скептическимъ анализомъ, безбоязненно, не щадя своего поколѣнія и, въ лицѣ его, и самого себя, раскрываетъ жизненную непригодность „лишнихъ людей“, ихъ неспособность къ какой-бы то ни было дѣятельности на благо себѣ и родинѣ, а позднѣе, въ бурную эпоху нигилизма и „хожденія въ народъ“, съ безпристрастіемъ истиннаго художника, вскрываетъ отрицательныя стороны этихъ новыхъ „повѣтрій“, охватившихъ разбушевавшееся море русской общественной жизни. Не боясь обидныхъ и несправедливыхъ упрековъ толпы, раболѣпствующей передъ господствующими теченіями мысли и стремящейся идеализировать ихъ, принимая ихъ, какъ неизбѣжный удѣлъ всякаго, рѣшившагося плыть „противъ теченія“, онъ смѣло вскрываетъ нездоровую сущность окружающей атмосферы, всѣми силами стремясь освободить отъ нея дорогую его сердцу родину. То-же дѣлалъ и Гончаровъ, геніально изобразившій въ своемъ безсмертномъ „Обломовѣ“ гибельныя послѣдствія, какія неминуемо несъ нашему дворянскому сословію самый зловредный наростъ старой жизни—крѣпостное право, и показавшій въ „Обык-

новенной исторіи“ и „Обрывѣ“ многія отрицательныя стороны старой и отчасти новой русской жизни, мѣшавшія ея нормальному развитію. Еще яснѣе выступаетъ та-же освободительная тенденція въ дѣятельности Островскаго и Некрасова. Стоитъ припомнить русскій купеческій и мѣщанскій бытъ съ его невѣжествомъ, самодурствомъ, семейнымъ деспотизмомъ, дореформенное русское чиновничество съ его „сгибаньемъ въ перегибъ“, взяточничествомъ, казнокрадствомъ, какъ они отразились въ комедіяхъ Островскаго, или же скорбные призывы „музы мести и печали“ туда, „гдѣ трудно дышится, гдѣ горе слышится, на бой и трудъ за униженнаго, за обойденнаго“, чтобы понять, насколько ярко сказалось въ дѣятельности и этихъ писателей присущее нашей литературѣ стремленіе къ освобожденію русской жизни отъ всего, что подавляетъ разумное, свободное, истинно человѣческое существованіе.

Другой не менѣе характерной особенностью творчества названныхъ писателей является ихъ стремленіе разоблачить идейную и моральную несостоятельность современнаго имъ культурнаго человѣка. Припомнимъ длинную вереницу типовъ культурнаго общества, созданныхъ этими писателями: какъ мало между ними такихъ, которые могли бы сказать, говоря словами Гоголя, „на родномъ языкѣ русской души это всемогущее слово «впередъ»“, за которыми могла-бы пойти ищущая разумной, честной, хорошей дороги лучшая часть русскаго общества:

Гдѣ-жъ вы, умѣлые, съ бодрыми лицами?
Гдѣ-же вы съ полными жита кошницами?
Трудъ засѣвающихъ робко, крупицами
Двиньте впередъ!

Но ихъ нѣтъ, этихъ „умѣлыхъ, съ бодрыми лицами“, между героями разсмотрѣнныхъ писателей. Если и встрѣчаются между ними изрѣдка положительные образы, какъ Соломинъ или Тушинъ, то они слишкомъ неопредѣленны, неясны, эскизно очерчены.

Двѣ указанныя только что особенности творчества Тургенева, Гончарова, Островскаго и Некрасова являются, въ сущности, только развѣтвленіемъ одной черты нашей литературы, на которую впервые указалъ извѣстный критикъ А. Григорьевъ, видѣвшій ея начало въ дѣятельности Пушкина, но которая, въ дѣйствительности, восходитъ далеко въ глубь XVIII вѣка. Это—отрицаніе всего того, что такъ или иначе тормазитъ нормальное, здоровое совершенствованіе жизни.

Наконецъ, третья существенная черта, характеризующая творчество этихъ писателей,—это ихъ интересъ къ народу или же, вообще, національному укладу жизни и психологіи, являющійся частью результатомъ безсознательнаго, стихійнаго тяготѣнія къ кореннымъ свойствамъ своей націи, частью слѣдствіемъ все болѣе крѣпшаго тогда въ лучшихъ представителяхъ

русской интеллигенціи сознанія своего долга предъ народомъ и стремленія прійти ему на помощь. У Гончарова это тяготѣніе къ національному укладу жизни проявилось въ его нескрываемой симпатіи къ бабушкѣ (Татьянѣ Марковнѣ Бережковой) въ „Обрывѣ“, которая представлялась ему олицетвореніемъ „другой великой бабушки—Россіи“, у Островскаго оно нашло себѣ выраженіе въ яркомъ народномъ колоритѣ рѣчи дѣйствующихъ лицъ его пьесъ, въ умѣніи уловить и передать характерныя черты національнаго духа и жизни, что вполнѣ опредѣленно сказалось, напримѣръ, въ такой пьесѣ, какъ „Бѣдность не порокъ“, приведшей именно этой своей особенностью въ полный восторгъ тогдашнихъ славянофиловъ. Тургеневъ, еще въ періодъ созданія „Записокъ охотника“ бросившійся, по его собственнымъ словамъ, внизъ головою въ нѣмецкое море и вышедшій оттуда неисправимымъ западникомъ, сумѣлъ, однако, создать свои безсмертные народные типы и воплотить возвышенныя черты національнаго русскаго духа въ образахъ Касьяна и Лукеріи („Касьянъ съ Красивой Мечи“ и „Живыя мощи“).

III.

Въ тотъ-же самый періодъ русской жизни, къ которому относятся первые шаги на литературномъ поприщѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго и Некрасова, выступилъ въ литературѣ и сразу занялъ въ ней одно изъ первыхъ мѣстъ еще одинъ писатель, „великій писатель земли русской“, какъ вѣрно опредѣлилъ его въ своемъ предсмертномъ письмѣ къ нему И. С. Тургеневъ. Это графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Ему суждено было болѣе, чѣмъ кому-нибудь другому изъ русскихъ писателей, стать въ своемъ художественномъ творчествѣ могущественнѣйшимъ выразителемъ не только тѣхъ чертъ новѣйшей русской литературы, которыя опредѣленно выступили въ дѣятельности названныхъ выше писателей, но также и цѣлаго ряда другихъ, не менѣе характерныхъ для ея общаго развитія, но впервые проявившихся вполнѣ опредѣленно только въ его дѣятельности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, никому изъ русскихъ писателей не удавалось такъ глубоко заглянуть въ самую глубь нашего народно-національнаго духа, какъ это сдѣлалъ Л. Н. Толстой своимъ художественнымъ творчествомъ.

Можно съ увѣренностью сказать, что ни въ Россіи, ни вообще въ міровой литературѣ нѣтъ въ настоящее время писателя, пользующагося такой широкой, всеобщей извѣстностью, какъ великій творецъ „Войны и Мира“. Болѣе того, едва-ли найдется на протяженіи всего 19 вѣка въ міровой литературѣ писатель, который оказалъ-бы такое огромное вліяніе на своихъ современниковъ, какъ Л. Н. Толстой. Трудно сказать, гдѣ болѣе извѣстно имя Л. Толстого, гдѣ болѣе прислушиваются къ каждому его слову

и изучаютъ его, — у насъ въ Россіи или въ другихъ странахъ. Сочиненія Л. Толстого много лѣтъ подрядъ расходятся у насъ въ громадномъ количествѣ экземпляровъ, критическая литература о немъ поражаетъ своей обширностью и разнообразіемъ, біографическіе матеріалы разрослись до небывалыхъ размѣровъ, если принять во вниманіе, что писатель живъ и продолжаетъ работать. Все это свидѣтельствуетъ о самомъ широкомъ интересѣ русскихъ читателей къ его личности и творчеству. Но то-же замѣчается и на Западѣ, и въ Америкѣ. Когда около половины 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія одинъ очень распространенный американскій журналъ сдѣлалъ опросъ своихъ многочисленныхъ читателей, кто, по ихъ мнѣнію, наиболѣе великій писатель, подавляющее большинство (90%) назвало Льва Толстого. Извѣстный французскій писатель Флоберъ сравниваетъ его съ Шекспиромъ, а критикъ Матью Арнольдъ считаетъ Л. Толстого самой крупной величиной въ области современной литературы. Л. Толстой достигъ высшей славы, какая выпадала когда-либо на долю человѣческаго генія.

IV.

Чѣмъ объясняется эта превосходящая все извѣстное намъ до сихъ поръ въ этой области всемірная слава „великаго писателя земли русской“?

Отвѣта на этотъ вопросъ нужно искать, какъ въ особенностяхъ его духовной личности,—о чемъ рѣчь будетъ итти ниже,—такъ и въ содержаніи его художественно-философскаго творчества. Болѣе полувѣка (55 лѣтъ) неустанно работаетъ Л. Н. Толстой на литературномъ поприщѣ. Вся его дѣятельность, по вѣрному опредѣленію его русскаго біографа г. Андреевича (Е. Соловьевъ), „представляетъ собою не что иное, какъ коренной пересмотръ представленій нашего ума, стремленій нашей воли, правилъ нашего личнаго поведенія и формъ нашего общежитія... Передъ лицомъ своего сознанія и совѣсти онъ провелъ едва-ли не всѣ вопросы, интересующіе и мучащіе современнаго человѣка—о наукѣ и искусствѣ, о любви, о семейной жизни, объ общественной дѣятельности, о правдѣ и неправдѣ нашего времени, о пищѣ и развлеченіяхъ, и по каждому псводу высказалъ свой приговоръ, часто суровый и прямолинейный, всегда оригинальный и глубокомысленный, подсказанный ему огромнымъ жизненнымъ опытомъ и настойчивымъ, добивающимся до корня дѣла умомъ“. Л. Толстой, такимъ образомъ, какъ-бы сконцентрировалъ въ своемъ художественно-философскомъ творчествѣ все то, что такъ или иначе образуетъ жизнь современнаго человѣчества, что останавливаетъ на себѣ его вниманіе, волнуетъ и мучитъ его мысль и вчуство.

Но, отвѣчая своей литературной дѣятельностью наболѣвшимъ запросамъ современнаго культурнаго общества всего міра, онъ въ то-же время

болѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ его литературныхъ сверстниковъ или послѣдующихъ нашихъ писателей, выразилъ въ своемъ художественномъ творчествѣ и основные запросы и стремленія русскаго интеллигентнаго человѣка и съ небывалой до него глубиной, искренностью и полнотой развилъ въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ тѣ самыя черты, которыя красной нитью проходятъ въ дѣятельности современныхъ ему и предшествовавшихъ русскихъ писателей. Такимъ образомъ, Л. Н. Толстой, болѣе, чѣмъ кто-либо другой, является русскимъ писателемъ, мощно выразившимъ въ своихъ произведеніяхъ основныя свойства нашей литературы, а значитъ, и нашего національнаго духа. Въ этомъ колоссальномъ, по своимъ духовнымъ дарованіямъ, человѣкѣ таинственнымъ образомъ объединились всѣ главнѣйшія исконныя свойства русской народно-національной стихіи и въ то же время тѣ черты, которыя постепенно выработала въ своей психологіи русская интеллигенція въ лицѣ ея благороднѣйшихъ представителей. Такъ что безъ преувеличенія можно повторить о немъ слова Достоевскаго объ А. С. Пушкинѣ: Толстой—это наше все. Въ человѣческомъ обществѣ, какъ и въ мірѣ органической и неорганической природы, изрѣдка выникаютъ своего рода самородки; въ нихъ, „какъ солнце въ малой каплѣ водъ“, отражается съ поразительной полнотой и глубиной духовная сущность той націи, къ которой принадлежитъ этотъ избранникъ. Если онъ при этомъ одаренъ творческимъ талантомъ, онъ воплощаетъ въ своихъ созданіяхъ существеннѣйшія свойства духа своего народа, становится выразителемъ его внутренняго міра. Нечего, конечно, говорить о томъ, насколько цѣнны эти національные самородки, своего рода духовные избранники націи, воплощающіе въ себѣ и своихъ твореніяхъ ея духовную сущность. Въ нихъ кристализуется народно-національная психія, безъ знанія которой невозможно понять и оцѣнить ту или другую народность. Безконечно возрастаетъ интересъ къ творчеству такого лица, которое, воплощая въ себѣ сокровенныя свойства народнаго духа, въ то-же время создаетъ своими твореніями широкую, всемірную славу, останавливая на себѣ пытливое вниманіе всего культурнаго міра. Анализируя творчество такого писателя, мы тѣмъ самымъ опредѣляемъ міровую цѣнность духовнаго уклада той націи, которая выдвинула его изъ своихъ нѣдръ. Вотъ почему изученіе Л. Н. Толстого для насъ, русскихъ, представляетъ болѣе глубокій интересъ, чѣмъ изученіе какого-либо другого писателя: постигая сущность созданныхъ имъ образовъ и картинъ жизни, мы не только выполняемъ обязательную для всякаго сознательнаго человѣка задачу національнаго самопознанія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, приходимъ къ непоколебимому убѣжденію въ томъ, насколько „всечеловѣчны“ основныя черты нашей національной психологіи. А разъ это такъ, то, значитъ, и нація, надѣленная такими черта-

ми,—великая нація, которой суждено внести свою, быть можетъ, не малую лепту въ сокровищницу міровой культуры. Таковы тѣ конечные, лестные для нашего національнаго чувства выводы, къ которымъ мы неминуемо придемъ, изучивъ литературную дѣятельность Л. Н. Толстого.

V.

Существуетъ довольно распространенное мнѣніе, нерѣдко повторяемое въ печати, о томъ, что въ литературной дѣятельности Л. Толстого нужно различить два совершенно противоположные во всѣхъ отношеніяхъ періода: первый, когда онъ былъ, будто-бы, только художникомъ, и второй, когда художественное творчество отошло на задній планъ, и онъ почти всецѣло отдался философскимъ исканіямъ. Насколько велика разница въ формахъ литературной дѣятельности Л. Толстого въ эти два періода, настолько-же рѣзко, будто-бы, отличается она и по своему содержанію; Л. Толстой перваго періода не имѣетъ, говорятъ нѣкоторые его критики, въ идейномъ отношеніи ничего общаго съ Л. Толстымъ—мыслителемъ; это точно два различные человѣка, между которыми въ этомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, въ главнѣйшихъ пунктахъ, нѣтъ никакихъ точекъ соприкосновенія. Нѣтъ, однако, ничего ошибочнѣе такого утвержденія. Внимательное изученіе художественнаго и религіозно-философскаго творчества Л. Толстого съ полной очевидностью показываетъ, какъ онъ, при всемъ кажущемся различіи двухъ періодовъ его дѣятельности, въ сущности, всегда оставался вѣренъ себѣ; Толстой—мыслитель, такъ захватившій весь міръ своими религіозно-философскими исканіями и безпощадной, всесокрушающей критикой различныхъ сторонъ жизни человѣчества конца XIX вѣка, весь коренится въ Толстомъ—художникѣ перваго періода (отъ „Дѣтства“ до „Исповѣди“). Тамъ, въ поэтическихъ созданіяхъ, обезсмертившихъ его имя, безъ труда можно усмотрѣть зачатки его позднѣйшаго жизнепониманія.

VI.

Сдѣланными выше общими замѣчаніями о характерѣ и значеніи литературной дѣятельности гр. Л. Н. Толстого опредѣляются, до нѣкоторой степени, и основныя задачи изслѣдованія его художественнаго творчества. Разбирая его произведенія, необходимо отмѣчать въ нихъ, помимо общихъ художественныхъ достоинствъ и значенія для пониманія историческаго хода развитія русской жизни, также и тѣ стороны ихъ, которыя создали ему міровую славу, то общечеловѣческое, вѣчное, которое съ полной ясностью сказывается въ каждомъ его художественномъ созданіи, начиная съ „Дѣтства, Отрочества и Юности“. Имѣя, затѣмъ, въ виду, что Л. Толстой есть на-

иболѣе полное выраженіе русскаго національнаго духа, и что эти особенности его натуры нашли себѣ яркое выраженіе въ его художественномъ творчествѣ, изслѣдователю этого послѣдняго необходимо также выдѣлять въ его произведеніяхъ эту чисто-національную стихію, и тогда изученіе Л. Толстого будетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, служить и дѣлу національнаго русскаго самопознанія, а значитъ,—и самосознанія. Въ третьихъ, при анализѣ его произведеній нельзя упускать изъ виду отмѣченнаго выше единства его литературной дѣятельности, а потому слѣдуетъ, гдѣ это окажется возможнымъ, при разборѣ его художественнаго творчества перваго періода („Дѣтство, Отрочество и Юность", „Утро помѣщика", „Казаки", военные разсказы, „Война и Миръ" и отчасти „Анна Каренина", стоящая на рубежѣ двухъ эпохъ) указывать, въ чемъ заключается неразрывная, органическая связь съ его позднѣйшимъ міровоззрѣніемъ. Наконецъ, такъ какъ въ художественномъ творчествѣ Л. Толстого очень силенъ субъективный элементъ, приходится всякій разъ, при разборѣ отдѣльныхъ произведеній, считаться съ этой особенностью и опредѣлять его степень и размѣры, чтобы тѣмъ безошибочнѣе установить ихъ общее историко-литературное значеніе.

VII.

Освѣщая многостороннюю художественную дѣятельность Толстого, критика останавливалась, главнымъ образомъ, на разъясненіи созданныхъ имъ характеровъ и картинъ жизни, интересуясь болѣе всего тѣми глубокими нравственно-философскими проблемами, постановка и разрѣшеніе которыхъ является отличительной чертой его поэтическаго творчества. Но очень немногіе изъ писавшихъ о Толстомъ пытались выяснить отличительныя особенности его художественнаго генія, ту таинственную творческую силу, благодаря которой создавались чудные узоры его произведеній. Даже представители такъ называемой эстетической критики едва касались этого вопроса, ограничиваясь двумя-тремя мимолетными замѣчаніями. Болѣе другихъ интересовались этимъ пр. Овсянико-Куликовскій, авторъ монографіи: „Л. Н. Толстой, какъ художникъ", и Д. С. Мережковскій въ своемъ изслѣдованіи: „Левъ Толстой и Достоевскій". Но ни у того, ни у другого, ни у обоихъ вмѣстѣ мы не найдемъ болѣе или менѣе полной характеристики художественнаго таланта Л. Толстого. Между тѣмъ, выясненіе этого вопроса является далеко не безразличнымъ для того, кто хочетъ уяснить себѣ художественное творчество „великаго писателя земли русской": вѣдь, тѣ или иныя особенности поэтическаго таланта писателя опредѣляютъ, въ значительной степени, и особенности его произведеній, и дать себѣ отчетъ въ первыхъ зачастую значитъ понять надлежащимъ образомъ писателя.

Вотъ почему, прежде чѣмъ перейти къ анализу богатаго литературнаго наслѣдія Л. Н. Толстого, необходимо опредѣлить существенныя черты его художественнаго генія.

Какъ извѣстно [1]), одной изъ главнѣйшихъ особенностей духовной организаціи поэта является чрезвычайно развитая впечатлительность, отзывчивость, связанныя со способностью удерживать въ памяти болѣе или менѣе продолжительное время воспринятыя впечатлѣнія. Эти черты, безъ которыхъ немыслимо реально-художественное творчество, въ высшей степени присущи таланту Льва Толстого. Первая изъ нихъ (впечатлительность, могущая, въ данномъ случаѣ, быть отождествленной съ наблюдательностью) развита въ значительной мѣрѣ у многихъ выдающихся писателей, но рѣдко кто изъ нихъ обладаетъ такой колоссальной способностью сохранять въ памяти все воспринимаемое, какъ Л. Толстой. Зная, что память не удержитъ всего необходимаго матеріала, даваемаго для творчества впечатлѣніями отъ окружающей жизни, писатели пользуются разнаго рода пріемами, чтобы удержать его въ своей „литературной кладовой". Отсюда всевозможныя замѣтки, записи, рисунки и т. п. способы, имѣющіе цѣлью прійти на помощь художественному запоминанію, особенно въ области разнаго рода мелкихъ подробностей, играющихъ такую важную роль въ яркости впечатлѣнія отъ поэтическаго образа. Толстому, насколько извѣстенъ процессъ его творчества, не приходится прибѣгать къ такого рода способамъ удержанія впечатлѣній, нужныхъ для художественнаго воспроизведенія поэтическихъ домысловъ: необычайная память, повидимому, безъ всякихъ съ его стороны усилій сохраняетъ множество мельчайшихъ подробностей наблюдаемой жизни и при томъ такихъ, которыя, какъ нельзя болѣе, пригодны для художественнаго воспроизведенія дѣйствительности. Отмѣчая эту черту творческой личности Л. Толстого, одинъ изъ критиковъ справедливо замѣчаетъ: „Толстой помнитъ всѣ жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности посекундно, какъ если-бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались по его волѣ передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ всѣ необходимыя ему подробности" [2]). Такимъ образомъ, благодаря указанной сейчасъ особенности таланта Толстого, въ его распоряженіи имѣется неисчерпаемый запасъ впечатлѣній, дающихъ богатѣйшій матеріалъ для художественнаго творчества.

Въ этомъ отношеніи Л. Толстой напоминаетъ своимъ талантомъ другого выдающагося художника русскаго слова—И. С. Тургенева. Какъ и

---

[1]) См. наши „Чтенія по новѣйшей русской литературѣ", вып. I, введеніе.

[2]) Андреевскій. Литературные очерки. СПБ. 1902 г. с. 229.

этотъ послѣдній, онъ всегда опирается въ своемъ художественномъ творчествѣ на впечатлѣнія дѣйствительной жизни, которыя, повидимому, должны быть совершенно ясны и отчетливы: по его собственному признанію, онъ терпѣть не можетъ писать „по слухамъ".

VIII.

Какого сорта эти впечатлѣнія, какой группы предметовъ или явленій они касаются, иначе говоря, что наиболѣе привлекаетъ творческое воображеніе нашего писателя, какія стороны его внутренняго или окружающаго міра служатъ темой его творчества?

Частью личныя признанія Толстого, частью обширные біографическіе матеріалы, опубликованные его друзьями и почитателями, не позволяютъ сомнѣваться въ томъ, что, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, Толстой въ въ своемъ творчествѣ исходилъ отъ себя, точкой отправленія его творческой мысли была его собственная личность и тѣ душевныя исканія, которыми полна его жизнь съ молодыхъ годовъ. Въ подтвержденіе этого достаточно будетъ указать на то, что цѣлый рядъ дѣйствующихъ лицъ въ разныхъ произведеніяхъ Толстого представляютъ собою не что иное, какъ воспроизведеніе внутренняго міра автора, а порою и внѣшнихъ событій изъ его жизни. Для тѣхъ, кто сколько-нибудь знакомъ съ біографіей Л. Толстого, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что всѣ главные герои его произведеній перваго періода, въ значительной мѣрѣ, отражаютъ въ себѣ духовный міръ самого автора въ различныя эпохи его жизни, а въ изображенныхъ тамъ событіяхъ часто не трудно бываетъ узнать тѣ или другіе моменты его личной жизни. Въ этомъ, какъ нельзя болѣе, сказывается субъективный элементъ толстовскаго творчества. Этой стороной своего таланта Л. Толстой сближается съ писателями субъективнаго характера, наиболѣе яркимъ примѣромъ которыхъ можетъ служить у насъ Лермонтовъ.

Но субъективизмъ—только одна сторона творческой личности Льва Толстого. Столь же могущественна въ немъ способность къ поэтическому воспроизведенію внѣшняго по отношенію къ себѣ міра, при томъ въ самыхъ разнообразныхъ его проявленіяхъ.

Трудно рѣшить, какое творчество могущественнѣе развито у Л. Толстого: субъективное или объективное,—съ такой чрезвычайной полнотой и разнообразіемъ проявляется и то, и другое въ его созданіяхъ. Такъ же могущественны въ немъ обѣ разновидности объективнаго творчества: способность, съ одной стороны, объединять въ художественные образы многочисленныя и разнообразныя впечатлѣнія внѣшняго міра и, съ другой—работать при помощи такъ называемаго построительнаго воображенія. Если,

напримѣръ, мастерская обрисовка казачьяго быта въ повѣсти: „Казаки“ представляетъ собою, по преимуществу, плодъ творческой работы перваго рода, то, конечно, душевный міръ Наташи изъ „Войны и Мира“ въ его свободныхъ проявленіяхъ въ различные періоды ея жизни, начиная съ дѣтства и кончая зрѣлымъ возрастомъ, или-же поражающее своей глубиной и правдивостью вскрытіе тайниковъ души Анны Карениной есть результатъ удивительнаго по своей силѣ художественнаго прозрѣнія, угадыванія, или, что то-же, построительнаго воображенія.

Изъ сказаннаго видно, что Л. Толстой какъ бы объединяетъ въ себѣ двухъ писателей: субъективнаго и объективнаго. Раскрывая передъ читателемъ всю глубину своего великаго духа, онъ въ то-же время даетъ поразительную по своему захвату картину окружающей дѣйствительности.

IX.

Попытаемся теперь опредѣлить болѣе точно рамки объективнаго творчества Л. Н. Толстого.

Воспроизводя внѣшній по отношенію къ себѣ міръ, поэты могутъ въ своемъ творчествѣ итти въ двухъ направленіяхъ: одни изъ нихъ тяготѣютъ къ обрисовкѣ внутренняго міра человѣческой личности, раскрытіе котораго самого по себѣ, независимо отъ явленій окружающей соціальной жизни, является главнѣйшей задачей ихъ творчества; другіе интересуются не столько человѣкомъ самимъ по себѣ, какъ личностью, независимо отъ окружающихъ условій (an und für sich), сколько той культурной атмосферой, которая его окружаетъ, и тѣмъ, какъ эта атмосфера, различныя идейныя и общественно-политическія теченія, отражаются на отдѣльной личности; этихъ послѣднихъ занимаетъ личность не сама по себѣ, а, главнымъ образомъ, какъ продуктъ тѣхъ или иныхъ общественно-бытовыхъ условій. Наиболѣе яркимъ примѣромъ творчества перваго рода можетъ служить Шэкспиръ или-же Достоевскій; представителемъ поэтовъ второй группы является, напримѣръ, Тургеневъ въ своихъ романахъ, Гончаровъ, Островскій и мн. др. Конечно, такое раздѣленіе не исключаетъ возможности объединенія въ лицѣ одного поэта обоихъ отмѣченныхъ сейчасъ направленій съ замѣтнымъ, однако, преобладаніемъ того или другого изъ нихъ.

Всмотрѣвшись въ дѣятельность Льва Толстого, станетъ очевиднымъ, что онъ является однимъ изъ представителей перваго изъ разсмотрѣнныхъ только что направленій. Въ его творчествѣ господствующее мѣсто принадлежитъ человѣческой личности, какъ таковой, раскрытію жизни человѣческаго духа въ самыхъ разнообразныхъ его проявленіяхъ. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой примыкаетъ къ такъ называемымъ міровымъ писателямъ,

какъ Шекспиръ, Гете, Байронъ и др. Но тогда какъ у этихъ писателей въ отдѣльномъ характерѣ изъ сложной субстанціи человѣческаго духа обыкновенно выдвигается одна какая-нибудь черта ихъ духа, способность или страсть, въ художественной разработкѣ которой и состоитъ главная задача писателя, Левъ Толстой даетъ намъ внутренній міръ человѣка въ цѣломъ, обрисовываетъ его во всей полнотѣ. При этомъ необходимо имѣть въ виду одну важную особенность художественной манеры Толстого. Сосредоточивая свое вниманіе на человѣческой личности, онъ не только погружается въ тонкости психологическаго анализа, но и слѣдитъ за тѣмъ, какъ она проявляетъ себя въ жизни, какъ реагируетъ на тѣ или другія жизненныя положенія. Поэтому, давая широкую и разнообразную картину внутренняго міра человѣческой личности an und für sich, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, выводитъ чрезвычайное разнообразіе жизненныхъ условій, въ которыя приходится попадать человѣку, и которыя такъ или иначе отражаются на его внутреннемъ мірѣ.

X.

Новѣйшій изслѣдователь творчества Л. Н. Толстого, Д. С. Мережковскій, путемъ искуснаго анализа отдѣльныхъ сценъ и различныхъ художественныхъ деталей въ произведеніяхъ Л. Толстого, приходитъ къ выводу, что творцу „Войны и Мира“ наиболѣе удается вскрыть и художественно воспроизвести такія стороны человѣческой психологіи, которыя коренятся въ его тѣлесной, физической природѣ. „Чѣмъ ближе Л. Толстой,—говоритъ онъ,—къ тѣлу или къ тому, что соединяетъ тѣло съ духомъ—къ животно-стихійному, „душевному человѣку“, тѣмъ вѣрнѣе и глубже его психологія или, точнѣе, психофизіологія“. Дѣйствительно, нельзя не признать вмѣстѣ съ г. Мережковскимъ, что Л. Толстой является величайшимъ мастеромъ въ раскрытіи и воспроизведеніи тѣхъ сторонъ человѣческаго духа, которыя болѣе или менѣе коренятся въ нашей стихійной, тѣлесной природѣ; его кропотливый, порою удивительно мѣткій анализъ нѣкоторыхъ подробностей въ творчествѣ Л. Толстого, какъ нельзя болѣе, подтверждаетъ это. Но уже никоимъ образомъ нельзя согласиться съ другимъ его утвержденіемъ, будто по мѣрѣ того, какъ Л. Толстой „переноситъ свои изслѣдованія въ область независимой, отвлеченной отъ тѣла духовности..., психологія его становится сомнительной“. Характерно, что г. Мережковскій, столь полно и разнообразно аргументировавшій первую свою мысль, въ этомъ случаѣ ограничивается голословнымъ утвержденіемъ или-же общими туманными разсужденіями объ отдѣльныхъ характерахъ, созданныхъ Л. Толстымъ. Уже это одно указываетъ, настолько трудно г. Мережковскому обосновать свое второе положеніе. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, ибо нельзя сколько-нибудь убѣди-

тельно аргументировать завѣдомо ложное утвержденіе. Въ самомъ дѣлѣ, припомнимъ такіе созданные Л. Толстымъ художественные образы, какъ княжна Марья Болконская и ея братъ Андрей, Пьеръ Безухій, Левинъ съ его душевными муками, даже Николенька Иртеньевъ, князь Нехлюдовъ и Оленинъ,—неужели-же наиболѣе возвышенные моменты ихъ духовной жизни, чуждые всякаго вліянія „животной“ природы человѣка, оказываются „сомнительными“, съ точки зрѣнія художественной правды, фальшиво изображенными? Конечно, нѣтъ, и это потому, что Л. Толстой является одинаково несравненнымъ мастеромъ, изображаетъ-ли онъ тѣ стороны человѣческаго духа, которыя коренятся въ его физической природѣ, или воспроизводитъ благороднѣйшія движенія „независимой, отвлеченной отъ тѣла духовности“.—

Все сказанное выше о томъ какъ изображаетъ Л. Толстой человѣческую личность, дѣлаетъ понятнымъ тотъ огромный интересъ, какой представляютъ его произведенія для читателя: унося его въ міръ высшихъ, глубочайшихъ вопросовъ человѣческаго духа, раскрывая передъ нимъ сокровенные его тайники, они въ то-же время и съ такой-же глубиной вводятъ его въ кругъ внѣшнихъ условій жизни и обнаруживаютъ ихъ сущность, часто скрытую отъ глазъ поверхностнаго наблюдателя.

XI.

Чтобы покончить съ важнѣйшими особенностями творческой мысли Л. Н. Толстого, необходимо остановиться еще на двухъ особенностяхъ его духовной личности: на колоссальномъ умѣ и не менѣе колоссальномъ скептическомъ анализѣ.

Чтобы не быть голословными, приведемъ одинъ-два примѣра, подтверждающихъ присутствіе въ немъ рѣдкаго по своей силѣ ума. Въ 1882 г. Л. Толстой написалъ статью о вредѣ денегъ. Статья эта, не внося собою ничего новаго въ область экономической науки, представляетъ, по отзывамъ ученыхъ спеціалистовъ, повтореніе теоріи и аргументаціи, подробно разработанной въ свое время экономической школой физіократовъ. Но дѣло въ томъ, что Л. Толстой совершенно не былъ знакомъ съ ихъ политико-экономическимъ ученіемъ и пришелъ къ своимъ выводамъ вполнѣ самостоятельно! Невольно вспоминается по этому поводу отзывъ одного извѣстнаго московскаго профессора—экономиста (А. И. Чупровъ): „Что за удивительная способность мысли что за сила природная живетъ въ мозгу этого человѣка! Своимъ умомъ, въ одиночку, не имѣя понятія объ экономической наукѣ, продѣлать всю ея эволюцію до XVIII вѣка и подвести ей именно тотъ итогъ, который былъ исторически подведенъ... Это неслыханно! Это сверхъестественная голова! Это единственный, чудовищный феноменъ!“ Та-же колоссальная

сила ума, хотя и не въ столь яркой степени, проявилась и ранѣе, въ періодъ созданія „Войны и Мира“, когда Левъ Толстой предпринималъ свои неудачные экскурсы въ область философіи исторіи. Во второй части введенія въ первый выпускъ нашихъ „Чтеній“ мы говорили о томъ, что процессъ художественнаго творчества есть только особый методъ мышленія, и, конечно, цѣнность его, при прочихъ равныхъ условіяхъ, будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ сильнѣе и глубже умъ художника. Понятно, что рѣдкій по своей силѣ умъ Л. Толстого не могъ не отразиться въ его художественномъ творчествѣ, значительно увеличивая его положительныя стороны.

Что касается до скептическаго анализа, то эта черта очень ярко проявляется въ литературной дѣятельности Л. Толстого съ первыхъ шаговъ его на писательскомъ поприщѣ вплоть до настоящаго времени, безжалостно разрушая всѣ иллюзіи и кумиры русскаго общества и, вообще, культурнаго человѣчества второй половины XIX вѣка.

XII.

Заканчивая одинъ изъ своихъ военныхъ разсказовъ („Севастополь въ маѣ 1855 года“), Л. Толстой писалъ: „Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда“. Эти слова съ полной справедливостью можно было бы поставить эпиграфомъ ко всей литературной дѣятельности Л. Н. Толстого. Все его художественнное творчество, какъ и религіозно философскія исканія, отличаются неустанными поисками правды—истины и правды—справедливости. И въ этихъ своихъ поискахъ Л. Толстой всегда былъ искренъ и правдивъ. Эта глубокая искренность творчества Л. Толстого, такъ захватывающая читателя, отражается и на его стилѣ, который такъ-же своеобразенъ, какъ и все въ немъ.

Десятки страницъ можно было-бы заполнить примѣрами неудачныхъ стилистическихъ построеній, заимствованныхъ изъ произведеній Л. Толстого. Если въ „Дѣтствѣ, Отрочествѣ и Юности“, „Утрѣ помѣщика“, „Казакахъ“ и другихъ произведеніяхъ ранней поры его творчества можно еще порою подмѣтить нѣкоторые слѣды обычной стилистической отдѣлки со стороны автора, то, позднѣе, не исключая и такихъ величайшихъ созданій его генія, какъ „Война и Миръ“ и Анна Каренина“, слогъ его сочиненій, если къ нему примѣнить обычный мастшабъ, представляется мѣстами въ высокой степени несовершеннымъ. Особенно непріятно рѣжетъ ухо обиліе однородныхъ придаточныхъ предложеній, нанизанныхъ другъ на друга, и повтореніе однихъ и тѣхъ-же словъ и оборотовъ рѣчи. Для иллюстраціи сказаннаго возьмемъ одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ: „досадуя на жену за то,

что сбывалось то, чего онъ ждалъ, именно то, что въ минуту пріѣзда, тогда когда у него сердце захватывало отъ волненія при мысли о томъ, что съ братомъ, ему приходилось заботиться о ней вмѣсто того, чтобы бѣжать тотчасъ-же къ брату,—Левинъ ввелъ жену въ отведенный имъ номеръ", и т. п. Чѣмъ объясняется эта странность въ творчествѣ Л. Толстого? Чтобы понять ее, необходимо имѣть въ виду, что Л. Толстой, отличающійся такой глубокой искренностью въ своемъ творчествѣ, вообще относится съ отвращеніемъ къ изящно, красиво построенной рѣчи,—ему чуется въ ней нѣкоторая искусственность. Онъ точно боится, что внѣшняя отдѣлка стиля внесетъ нѣчто фальшивое въ его созданія. Съ другой стороны, онъ неустанно стремится къ тому, чтобы передать малѣйшіе оттѣнки своей мысли, и не опасается лишній разъ повторить одно и то-же слово или добавить лишнее придаточное предложеніе, если только это, по его мнѣнію, поможетъ лучше уяснить то, что онъ хочетъ сказать. Къ такому выводу приводитъ насъ, между прочимъ, слѣдующее замѣчаніе, высказанное однажды Л. Толстымъ: „разница между мной и Пушкинымъ та, что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ-ли она замѣчена и понята читателемъ, а я какъ бы пристаю къ читателю съ этою художественною подробностью, пока ясно не растолкую ея". Но если слогъ Л. Толстого не блещетъ стилистическими достоинствами, а мѣстами даже грѣшитъ противъ общепринятыхъ правилъ языка, какой удивительной силой, ясностью, точностью и простотой поражаетъ онъ читателя! Чѣмъ-то непосредственнымъ, стихійно-могучимъ вѣетъ отъ его порою неуклюже построенныхъ періодовъ, и невольно забываешь это отсутствіе привычной вылощенности и изящества языка, весь захваченный глубокой искренностью и силой поэтическаго таланта автора.

XIII.

Изъ сдѣланной выше краткой характеристики творческихъ силъ Толстого можно видѣть, что въ лицѣ этого писателя передъ нами колоссальный поэтическій талантъ, равный которому едва-ли найдется не только въ русской, но и въ западно-европейской литературѣ. Точно чтобы показать всю мощь поэтическаго генія человѣчества, природа создала дивный талантъ „великаго писателя земли русской".

Этотъ талантъ покажется еще болѣе необычайнымъ, если мы обратимъ вниманіе на то, какъ онъ проявилъ себя впервые въ словесномъ творчествѣ.

Знакомясь съ исторіей творчества выдающихся писателей, безъ труда можно замѣтить, что потребность въ писательствѣ почти всегда начинаетъ

проявляться въ очень раннемъ возрастѣ. Чѣмъ сильнѣе талантъ, тѣмъ раньше и неудержимѣе проявляется онъ. Вспомнимъ хотя-бы дѣтскіе и юношескіе годы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Алексѣя Толстого, Некрасова: всѣ они очень рано, часто въ дѣтствѣ, начинаютъ проявлять склонность къ писательству и пробовать на этомъ поприщѣ свои силы. То-же самое извѣстно и о выдающихся поэтахъ Запада. На ряду съ этимъ, замѣчается еще одна особенность начинающихъ писателей: какъ-бы ни были они оригинальны по складу своего поэтическаго мышленія, первые шаги въ области художественнаго творчества, почти всегда, носятъ на себѣ отпечатокъ вліянія того или другого писателя или литературнаго направленія. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; наоборотъ, было-бы странно, скорѣе, обратное явленіе: эта вольная или невольная подражательность является прямымъ слѣдствіемъ одной изъ основныхъ особенностей человѣка, отмѣченнаго печатью поэтическаго таланта,—чрезвычайной впечатлительности, способности легко поддаваться различнымъ вліяніямъ. Только съ годами, по мѣрѣ роста собственной творческой личности поэта, мало по малу исчезаетъ это подчиненіе чужому литературному вліянію, и опредѣляется индивидуальный писательскій обликъ. Таковъ обычный ходъ развитія поэтическаго таланта у громаднаго большинства писателей.

Но Левъ Толстой, внесшій такъ много своего, самобытнаго въ сокровищницу міровой литературы, и здѣсь оказался въ высшей степенн самобытнымъ: только въ 24 года создаетъ онъ первое свое произведеніе, біографическую повѣсть „Дѣтство“. Мы ничего не знаемъ о его литературныхъ опытахъ до этого времени; по всей вѣроятности, ихъ и не было [1]).

---

[1]) Къ такого рода заключенію приводятъ насъ слѣдующія два соображенія. Во-первыхъ, на этотъ счетъ отсутствуютъ какія-бы то ни было указанія въ многочисленныхъ біографическихъ данныхъ о жизни знаменитаго писателя, рисующихъ ее съ рѣдкой полнотой: во-вторыхъ, не находимъ мы объ этомъ никакихъ намековъ или указаній и въ первыхъ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ („Дѣтство, отрочество и юность“), являющихся, до нѣкоторой степени, художественной біографіей автора. Правда, въ „Дѣтствѣ“ разсказывается о томъ, какъ Николенька сочинилъ стихи къ именинамъ бабушки, но самое повѣствованіе о томъ, какъ эти стихи сочинялись, какихъ усилій стоили они маленькому автору, свидѣтельствуютъ о томъ, что, мы имѣемъ здѣсь дѣло не столько съ пробужденіемъ поэтическаго таланта, сколько съ одной изъ безчисленныхъ дѣтскихъ фантазій, отнюдь не указывающей на присутствіе у ея обладателя поэтическихъ задатковъ (см. главу XVI—„Стихи“). Не можетъ быть, чтобы писатель, такъ много почерпнувшій изъ своихъ личныхъ впечатлѣній и настроеній матеріала для своихъ первыхъ повѣстей (объ этомъ см. ниже), обошелъ совершенно молчаніемъ такую важную, значительную подробность своей жизни, какъ первое пробужденіе поэтическаго творчества. Заподозрить автора въ желаніи скрыть эту подробность своей поэтической біографіи нѣтъ никакихъ основаній, ибо онъ открылъ читателю гораздо болѣе интимныя стороны своей дѣтской психологіи. Ос-

Такимъ образомъ, Толстой, въ силу какихъ-то таинственныхъ особенностей развитія своего таланта, избѣжалъ обычныхъ для начинающихъ писателей „пробъ пера“ и только тогда довѣрилъ бумагѣ свои творческія думы, когда онѣ стали носить печать уже зрѣлаго таланта.

Быть можетъ, рѣшенія этой загадки нужно искать въ необычайно развитомъ самоанализѣ Толстого, который помогалъ ему обнаруживать недостатки его первыхъ поэтическихъ замысловъ, разрушалъ ихъ кажущееся обаяніе и тѣмъ побуждалъ ихъ творца сохранять ихъ въ своей душѣ, гдѣ они все росли и совершенствовались, пока, наконецъ, требовательный авторъ не призналъ ихъ достойными увидѣть свѣтъ.

XIV.

Разсмотрѣнной только что особенностью творчества Толстого, въ значительной степени, объясняется и другая его оригинальная черта сравнительно съ огромнымъ большинствомъ иностранныхъ и русскихъ писателей— отсутствіе даже въ первыхъ его произведеніяхъ вліянія какого-бы то ни было поэта. По крайней мѣрѣ, это вліяніе никѣмъ еще не установлено, несмотря на усиленный интересъ къ Толстому всего образованнаго міра. Воздѣйствіе Руссо, о которомъ мы будемъ имѣть случай говорить позднѣе, здѣсь не можетъ быть принимаемо въ расчетъ, такъ какъ рѣчь идетъ о поэтическихъ вліяніяхъ, слѣды которыхъ легко устанавливаются у всякаго начинающаго писателя. Въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, сказалась самобытность, оригинальность творчества Л. Толстого, къ которому сплошь и рядомъ непримѣнимы установленные литературной критикой законы художественнаго развитія.

Въ одномъ только отношеніи Левъ Толстой напоминаетъ намъ многихъ другихъ писателей въ ихъ первыхъ шагахъ на литературномъ поприщѣ: первые свои литературные опыты онъ посвящаетъ поэтическому самоопредѣленію, съ помощью художественнаго творчества хочетъ проникнуть въ свою душу, разобраться въ ней, изучить свой собственный внутренній міръ въ его прошломъ и настоящемъ. Это обычный путь многихъ начинающихъ авторовъ. Съ особенной силой онъ бросается въ глаза у субъективныхъ писателей, но далеко не чуждъ и объективнымъ. Для примѣра можно сослаться на Лермонтова и его „Демона“ и юношескія драмы, гдѣ поэтъ стремился изобразить свой духовный міръ и пережитыя въ молодости настроенія. То-

---

тается предположить, что въ тотъ періодъ жизни, который охватывается первыми тремя біографическими повѣстями, Толстой не принимался за словесное творчество. То-же самое приходится сказать и объ остальномъ періодѣ его жизни, вплоть до 1852 года, когда были написаны его первыя появившіяся въ печати произведенія.

же самое мы видимъ у Пушкина въ его „Кавказскомъ плѣнникѣ“, о которомъ онъ самъ говоритъ, что здѣсь читатель найдетъ „тайный голосъ его души“, у Гоголя въ его отроческой идилліи „Двѣ рыбки“, гдѣ онъ изобразилъ себя и умершаго брата Ивана, у Гончарова, дебютировавшаго „Сномъ Обломова“, гдѣ, послѣ изслѣдованія г. Ляцкаго [1]), приходится также признать не мало субъективныхъ чертъ, и у многихъ другихъ.

XV.

Первыя извѣстныя намъ произведенія Толстого, въ большой степени носящія на себѣ отпечатокъ субъективнаго творчества, относятся къ 1852 году. Не безынтересной представляется касающаяся ихъ хронологическая дата, которую первый біографъ нашего писателя (нѣмецъ Р. Левенфельдъ) нашелъ въ его дневникѣ. Оказывается, что первая повѣсть („Дѣтство“) 9-го іюля этого года была совершенно закончена и отослана въ Петербургъ въ редакцію „Современника“. Затѣмъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ быстро слѣдуютъ одно за другимъ „Утро помѣщика“, „Набѣгъ“ и „Отрочество“, 18-го октября набрасывается планъ „Кавказскихъ разсказовъ“, передѣланныхъ позднѣе въ „Казаковъ“, а менѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ, обдумывается „Юность“ и вскорѣ (25 ноября) создаются первыя главы этой повѣсти.

Таковы точныя хронологическія данныя о первыхъ шагахъ Толстого, какъ писателя. Они ясно показываютъ, какой неисчерпаемый родникъ творческихъ силъ таился въ его душѣ, и если онъ ни въ чемъ не проявлялся внѣшнимъ образомъ до сихъ поръ, то это свидѣтельствуетъ только о томъ, какъ тщательно вынашивалъ Толстой первые плоды своей художественной мысли. Однако, хотя „Отрочество“ и „Юность“ были начаты въ 1852 году, окончательная отдѣлка ихъ относится къ болѣе позднему времени: повѣсть „Отрочество“ помѣчена въ изданіи сочиненій Толстого 1854-мъ годомъ, а „Юность“—1857-мъ, что и указываетъ на время ихъ окончанія.

„Дѣтство, Отрочество и Юность“.

I.

По замыслу автора, повѣсть „Дѣтство, отрочество и юность“ должна была представлять собою часть большого задуманнаго имъ романа „Исторія четырехъ эпохъ“, въ которомъ онъ, по свидѣтельству Левенфельда, имѣлъ въ виду изобразить въ формѣ личныхъ воспоминаній духовное раз-

[1]) Ляцкій. И. А. Гончаровъ. Крит. оч. СПБ. 1904.

витіе ребенка, мальчика, юноши и взрослаго человѣка.[1]) Замыселъ этотъ, однако, остался невыполненнымъ: ни вторая часть „Юности", ни изображеніе жизни взрослаго человѣка, въ задуманномъ видѣ, никогда не были написаны. Не представляя собою законченнаго цѣлаго, „Дѣтство, отрочество и юность" является, тѣмъ не менѣе, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній русской литературы, имѣющимъ во многихъ отношеніяхъ большую цѣнность.

Но прежде чѣмъ перейти къ разбору этого произведенія, необходимо разобраться въ одной его особенности, вносящей нѣкоторое осложненіе и вслѣдствіе этого неизбѣжную неясность и путаницу въ общую его оцѣнку, какъ она дѣлается нѣкоторыми критиками. Мы имѣемъ въ виду субъективный и, вообще, біографическій элементъ, которымъ богаты и другія произведенія Л. Толстого. Пока не была извѣстна біографія Л. Толстого, вопросъ объ этомъ элементѣ въ его первыхъ повѣстяхъ мало тревожилъ критиковъ, которые подчасъ его рѣшали прямо отрицательно. Такъ, пр. О. Ф. Миллеръ (въ своей книгѣ „Русскіе писатели послѣ Гоголя", часть 2-я), разбирая „Дѣтство, отрочество и юность", утверждаетъ, что „эти повѣсти біографическаго характера не имѣютъ, несмотря на то, что по живости изложенія и по глубинѣ психологическаго анализа онѣ производятъ впечатлѣніе автобіографіи". Это было написано въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка. Съ тѣхъ поръ появилось о Толстомъ множество біографическихъ свѣдѣній, и для всякаго, интересующагося его творчествомъ, очевиденъ субъективно-біографическій характеръ его первыхъ повѣстей.

Посмотримъ-же, прежде всего, какъ отразился этотъ элементъ на изображеніи второстепенныхъ лицъ „Дѣтства, отрочества и юности".

II.

Въ настоящее время, благодаря свѣдѣніямъ, исходящимъ отъ членовъ семьи Толстого, можно съ точностью установить, кто былъ первообразомъ того или иного лица этихъ повѣстей. Такъ, подъ видомъ отца Николеньки изображенъ не отецъ писателя, а его пріятель А. М. Исленьевъ, дѣдъ жены Льва Николаевича. Карлъ Ивановичъ, по всей вѣроятности, есть художественный портретъ гувернера-нѣмца Ѳ. И. Россель, занимавшагося воспитаніемъ будущаго писателя послѣ переѣзда осиротѣвшей семьи въ Москву. Матери Толстой помнить не могъ, ибо она скончалась, когда ему истекъ второй годъ. Ея образъ возсозданъ, какъ полагаетъ новѣйшій изслѣдователь

---

1) Указаніе на это есть и въ „Отрочествѣ", въ главѣ „Мечты", гдѣ мы находимъ слѣдующее мѣсто: „я увѣренъ въ томъ, что ежели мнѣ суждено прожить до глубокой старости, *и вамъ мой догонитъ мой возрастъ*" и т. д.

творчества нашего писателя пр. Овсянико-Куликовскій, путемъ свободнаго творчества, быть можетъ, по семейнымъ преданіямъ и воспоминаніямъ другихъ лицъ. Гувернантка Мими и ея дочь Катенька—перенесены въ повѣсть изъ семейства Исленьевыхъ, и т. д.

Уже изъ этихъ указаній ясно, что искать полной, фактической правды въ этихъ повѣстяхъ невозможно; здѣсь на каждой страницѣ перепутывается дѣйствительность съ вымысломъ, поэзія съ правдой; провести между ними границу чрезвычайно трудно. Отразившаяся здѣсь фактическая дѣйствительность прошла черезъ призму творческаго воображенія автора и соединилась въ одно цѣлое съ плодами его воображенія.

Другое дѣло внутренній міръ самого писателя, насколько онъ отразился въ образѣ Николеньки. Тому, кто знакомъ, хотя-бы поверхностно, съ нравственно-философскими сочиненіями Толстого, начиная съ 80-хъ годовъ, легко догадаться, что Николенька Иртеньевъ есть самъ авторъ съ его сложнымъ и оригинальнымъ душевнымъ міромъ.

III.

Въ этомъ не трудно убѣдиться путемъ самаго не сложнаго анализа. Во второй части повѣсти есть небольшая глава (XIX), подъ заглавіемъ „Отрочество“, гдѣ мы находимъ какъ бы сводъ тѣхъ отвлеченныхъ умствованій, которыми былъ занятъ въ этомъ возрастѣ Николенька. Оказывается, передъ его сознаніемъ возникаютъ такіе вопросы, какъ о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души. Эти умствованія, отнюдь не являясь типичными для людей, склонныхъ къ философской мысли, ни тѣмъ болѣе для того круга, къ которому принадлежалъ герой повѣсти, какъ нельзя болѣе характерны для своеобразнаго ума Толстого, надѣленнаго въ высокой степени склонностью къ такъ называемымъ „проклятымъ“ вопросамъ, разрѣшить которые не дано уму человѣческому. Какъ нельзя болѣе свойственно, затѣмъ, чрезвычайно развитому самоанализу Толстого является слѣдующее мѣсто той-же главы: „Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей. Я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думаю, и такъ далѣе. Умъ за разумъ заходилъ“... Однимъ изъ могучихъ, никогда не угасающихъ свойствъ духовнаго облика Толстого является также его неуклонное стремленіе къ постановкѣ моральныхъ вопросовъ и разрѣшенію ихъ путемъ личнаго самоусовершенствованія. Черта эта сказывается во всѣ періоды его жизни и съ особой силой проявляется въ его нравственно-философскихъ сочиненіяхъ. Это свойство тоже очень ярко высту-

паетъ и въ Николенькѣ Иртеньевѣ чуть-ли ни съ первыхъ страницъ „Дѣтства“. Въ началѣ оно сказывается въ видѣ чрезвычайной моральной чуткости, проявляющейся въ частыхъ самоупрекахъ, какъ, напримѣръ, по поводу дурного обращенія съ Карломъ Ивановичемъ или же по поводу фразы „любимъ, какъ родную мать“, въ стихотвореніи, сочиненномъ ко дню именинъ бабушки. Позднѣе это чувство растетъ и получаетъ опредѣленныя формы въ ясно выраженномъ стремленіи къ самоусовершенствованію. Такъ, на первой страницѣ повѣсти „Юность“ мы читаемъ о томъ, какъ дружба героя повѣсти съ Нехлюдовымъ открыла ему новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношеніе, сущность котораго состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка въ стремленіи къ нравственному усовершенствованію. И это убѣжденіе, какъ видно изъ послѣдующихъ главъ повѣсти, герой пытается провести въ жизнь [1]).

Кромѣ отмѣченныхъ параллелей въ личности Иртеньева и его творца, обращаетъ на себя вниманіе, въ ряду другихъ схожихъ чертъ, особенно сильно проявляющаяся потребность въ глубокомъ религіозномъ чувствѣ. Этой чисто органической религіозностью натуры Льва Толстого объясняется его упорное исканіе „вѣры“, завершившееся, послѣ долгихъ, мучительныхъ поисковъ, созданіемъ его религіозно-философской системы. Врожденное сильное религіозное чувство должно было, конечно, мощно заявлять о себѣ и въ молодые годы въ формѣ искренняго, всѣмъ существомъ своимъ, а не только по внѣшности, исповѣданія того вѣроученія, которому слѣдовала родная семья. Это во всей силѣ мы и замѣчаемъ у Николеньки. Вспомнимъ хотябы описаніе исповѣди, главу, гдѣ изображается юродивый Гриша, и то впечатлѣніе, которое производитъ на мальчика его религіозный экстазъ, и т. д. Наконецъ, укажемъ еще на одну черту Л. Толстого, отобразившуюся и въ Иртеньевѣ: Это—страхъ смерти, съ такой поражающей силой и правдой воспроизведенный въ томъ мѣстѣ „Дѣтства“, гдѣ описываются впечатлѣнія ребенка, вызванныя смертью матери и видомъ ея въ гробу. Позднѣе, въ зрѣлые годы, проблемма смерти глубоко безпокоила нашего автора и отразилась въ его художественномъ творчествѣ, пока онъ не нашелъ ея рѣшенія въ своихъ религіозно-философскихъ построеніяхъ.

[1]) На это мы находимъ указанія въ нѣсколькихъ мѣстахъ „Юности“. Напримѣръ, въ третьей главѣ („Мечты“) онъ излагаетъ цѣлую программу своего образа жизни, основанную на идеѣ самоусовершенствованія; то же стремленіе ясно видно и въ V главѣ, когда Иртеньевъ пишетъ себѣ „росписаніе обязанностей и занятій на будущій годъ“, и въ VI, VII и VIII-й главахъ (Исповѣдь. Поѣздка въ монастырь, Вторая исповѣдь); наконецъ, „моральнымъ порывомъ“ къ усовершенствованію заканчивается „Юность“: Иртеньевъ „рѣшился снова писать правила жизни“ и твердо былъ убѣжденъ, что уже никогда не будетъ дѣлать ничего дурного, ни одной минуты не проведетъ праздно и никогда не измѣнитъ своимъ правиламъ.

Приведенныхъ параллелей между личностью автора „Дѣтства, отрочества и юности“ и Николенькой Иртеньевымъ достаточно для того, чтобы убѣдиться, насколько близокъ образъ героя разсматриваемыхъ повѣстей по своей психологіи къ автору. Можно сказать съ полной увѣренностью, что въ лицѣ его Толстой изобразилъ, до нѣкоторой степени, самого себя.

IV.

Это обиліе несомнѣннаго субъективнаго элемента въ образѣ Иртеньева, въ связи съ подробностями біографическаго свойства, разсѣянными въ обрисовкѣ другихъ дѣйствующихъ лицъ, въ глазахъ нѣкоторыхъ изслѣдователей обезцѣниваетъ „Дѣтство, отрочество и юность“, какъ произведеніе, рисующее опредѣленный періодъ въ жизни русскаго общества. Такъ, пр. Д. Н. Овсянико-Куликовскій, одинъ изъ наиболѣе глубокихъ истолкователей художественнаго творчества нашего писателя, въ своей книгѣ „Л. Н. Толстой, какъ художникъ“ (изданіе 2-е, 1905 года), склоненъ свести эти повѣсти на степень „семейной хроники“, а Толстого признать въ нихъ художественнымъ мемуаристомъ. По его словамъ, „портретность“ выведенныхъ здѣсь образовъ „отнимаетъ у этихъ образовъ значеніе и интересъ бытовыхъ. Исключительная, одна на всю Россію, личность графа Толстого такъ ясно сквозитъ въ нихъ и такъ импонируетъ намъ, что мы рѣшительно не можемъ воспринимать ихъ въ качествѣ бытовыхъ типовъ“. Вслѣдствіе той-же причины эти повѣсти, по его мнѣнію, лишены и общечеловѣческаго значенія: изображенные здѣсь характеры „слишкомъ портреты, чтобы быть общечеловѣческими художественными обобщеніями“ [1]). Въ одномъ только отношеніи онъ признаетъ за ними права на безсмертіе: эти повѣсти, по его словамъ, заключаютъ въ себѣ „портреты великаго человѣка, которымъ не перестанутъ интересоваться отдаленныя поколѣнія во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и при

[1]) Хотя эти выводы кажутся нѣсколько неожиданными для читателя послѣ утвержденія автора о томъ, что все, созданное Толстымъ на почвѣ семейной хроники, отлично обобщаетъ и исчерпываетъ окружающую автора въ дѣтствѣ великосвѣтскую дѣйствительность, и что внутренній міръ Иртеньева есть „спеціально психологія русской великосвѣтской помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ“, тѣмъ не менѣе они являются окончательными въ главѣ, гдѣ идетъ рѣчь объ этихъ повѣстяхъ, и заключаютъ въ себѣ, повидимому, послѣдній выводъ автора изъ его анализа.

Мы остановились на изложеніи взгляновъ на роль субъективнаго элемента въ „Дѣтствѣ, Отрочествѣ и Юности“ одного изъ новѣйшихъ изслѣдователей творчества Толстого, ибо они показываютъ, какое осложненіе вноситъ этотъ элементъ въ оцѣнку историко-литературнаго значенія этихъ повѣстей. Даже такой осторожный, вдумчивый и всегда логически-послѣдовательный критикъ, какъ пр. Овсянико-Куликовскій, начинаетъ путаться въ своемъ анализѣ и въ конечномъ выводѣ.

томъ портреты, написанные не посторонней рукой, а самимъ Л. Н. Толстымъ и исполненные съ тѣмъ мастерствомъ рисунка и глубиною и тонкостью психологическаго анализа, которыя такъ свойственны ему, какъ художнику".

Нельзя не согласиться, что повѣсть „Дѣтство, отрочество и юность" уже по тому одному пройдетъ „вѣковъ завистливую даль", что она рисуетъ портретъ въ молодые годы одного изъ величайшихъ людей, какого когда-либо видѣло человѣчество.

V.

Но только-ли въ этомъ заключается ея значеніе, и дѣйствительно-ли „портретность" лишаетъ ее всякаго интереса въ бытовомъ и общечеловѣческомъ отношеніи? Съ этимъ мнѣніемъ невозможно согласиться и вотъ въ силу какихъ соображеній.

Говоря о „портретности", Д. Н. Овсянико-Куликовскій имѣетъ въ виду образъ Иртеньева, проходящій черезъ всѣ три повѣсти, но мы знаемъ, что этимъ свойствомъ отличаются и другія, второстепенныя дѣйствующія лица. Начнемъ, прежде всего, съ нихъ и посмотримъ, въ какой мѣрѣ они могутъ быть названы портретами. Выше были приведены справки о томъ, кто изъ дѣйствительно существовавшихъ лицъ изображенъ Толстымъ въ этихъ повѣстяхъ. По этимъ справкамъ можно судить о томъ, какъ, въ сущности, свободно обращался онъ со своими впечатлѣніями, отнюдь не слѣдуя рабски дѣйствительности. Онъ не затрудняется перенести въ изображеніе родной семьи посторонніе образы, совсѣмъ умалчиваетъ о существованіи нѣкоторыхъ членовъ своего семейства, образъ матери создаетъ почти исключительно путемъ фантазіи, не имѣя непосредственныхъ впечатлѣній изъ дѣйствительности. Такой пріемъ не можетъ быть признанъ характернымъ для того, кто пишетъ мемуары или семейную хронику. Это, скорѣе, тотъ способъ, который характеризуетъ художественно-реальное творчество, когда писатель зачастую кладетъ въ основу создаваемаго имъ образа тѣ или иныя черты наблюдаемаго имъ живого человѣка. Разъ это такъ, если второстепенныя дѣйствующія лица „Дѣтства, отрочества и юности" созданы тѣмъ методомъ, который характеризуетъ реально-художественное творчество, а не писаніе мемуаровъ вообще или семейной хроники въ частности, то мы имѣемъ полное право признавать ихъ не портретами, а художественными обобщеніями дѣйствительности, занимавшей въ данное время автора. Что касается до Николеньки Иртеньева, то портретность этого образа не лишаетъ его большой цѣнности, какъ типичнаго явленія современности. Основаніемъ для такого утвержденія служитъ, прежде всего, несомнѣнное присутствіе въ

этомъ лицѣ, помимо автобіографическихъ чертъ, плодовъ работы творческой мысли автора. Личныя черты писателя послужили какъ бы основными штрихами, художественнымъ контуромъ создаваемаго характера; что же касается до подробностей, дающихъ жизнь и душу образу Николеньки, то онъ, въ значительной мѣрѣ, есть результатъ свободнаго творчества. Къ такого рода заключенію приводитъ насъ простое соображеніе о томъ, что какой бы колоссальной памятью впечатлѣній ни обладалъ писатель, онъ не въ силахъ запомнить съ такой яркостью, какъ это изображаетъ Толстой, всѣхъ подробностей описываемыхъ въ повѣстяхъ событій, а тѣмъ болѣе тѣхъ чувствъ, настроеній и мыслей, которыя приписаны герою повѣсти. Все это, въ значительной мѣрѣ, есть „выдумка“, говоря словами Тургенева, т. е. результатъ свободнаго творчества автора. Вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно, что, въ цѣляхъ художественнаго единства, детальная разработка образа Николеньки должна была вестись такъ, чтобы получалась гармонія съ общей картиной жизни, изображаемой въ повѣстяхъ, такъ сказать, подгоняться къ этой картинѣ: а этого можно было достичь не инымъ путемъ, какъ черпая для этого матеріалъ изъ той же среды, которая служитъ предметомъ изображенія для автора. Отсюда понятно, что и въ образѣ Николая Иртеньева мы найдемъ не мало матеріала для характеристики общаго уклада жизни, изображенной авторомъ.

VI.

Что-же это за жизнь, и что даетъ разсматриваемая повѣсть для пониманія ея?

Ни въ „Дѣтствѣ“, ни въ „Отрочествѣ“, ни въ „Юности“ мы не находимъ сколько-нибудь точной хронологической даты, дающей основаніе отнести изображаемую картину жизни къ тому или другому десятилѣтію прошлаго вѣка. Несмотря, однако, на это, принимая въ соображеніе, что въ основѣ ихъ лежитъ автобіографическій элементъ, можно съ большой долей вѣроятія считать, что передъ нами приблизительно тридцатые и сороковые года XIX столѣтія. Это было время, когда въ русской жизни, послѣ событій 14 декабря 1825 года, господствовалъ удушливый гнетъ политической и общественной реакціи [1]). Русская помѣщичья среда, обезпеченная даровымъ трудомъ крѣпостныхъ массъ, вообще, въ цѣломъ, не отличалась и до этого времени сколько-нибудь широкими общественными и умственными интересами. Когда-же реакція наложила свою желѣзную руку на всѣ стороны духовной жизни тогдашняго русскаго человѣка, даже тѣ немногочисленные про-

[1]) См. объ этомъ первый выпускъ нашихъ „Чтеній“ глава: „Причины появленія „лишнихъ людей“ въ русской жизни“.

блески общественнаго самосознанія, которые кое-гдѣ мерцали въ провинціальной дворянской средѣ въ сердцахъ лучшихъ людей того времени, за немногими исключеніями, почти совсѣмъ погасли. Произведенія Тургенева, рисующія состояніе русскаго общества въ періодъ реакціи 30-хъ и 40-хъ годовъ прошлаго вѣка, даютъ ясное понятіе о томъ, чѣмъ были въ это печальное время даже лучшіе представители русскаго помѣщичьяго круга. Это въ полномъ смыслѣ слова „лишніе люди“, обреченные на безцѣльное прозябаніе, неспособные создать счастье ни себѣ, ни другимъ. Въ лицѣ Гамлета Щигровскаго уѣзда, Чулкатурина, Рудина, Лаврецкаго Тургеневъ далъ исчерпывающую характеристику этого слоя помѣщичьяго общества [1]). Однако это были сравнительно немногіе, скорѣе исключенія, чѣмъ правило; это все-же были лучшіе. Большинство же, масса, какъ это всегда бываетъ въ подобныя эпохи, было лишено даже тѣхъ сторонъ жизни духа, которыя съ большей или меньшей силой проявились у „лишнихъ“ людей. Его жизнь характеризовалась полнымъ погруженіемъ въ мелкіе, будничные интересы, отсутствіемъ всякаго полета мысли.

Эту именно жизнь, жизнь высшаго слоя помѣщичьяго круга, какъ она проходила въ огромномъ большинствѣ семействъ, и психологію этой среды и воспроизводитъ Толстой въ своемъ „Дѣтствѣ отрочествѣ и юности“. Для правильной оцѣнки нарисованной авторомъ картины необходимо имѣть въ виду, что она изображена такъ, какъ она отражалась въ представленіи мальчика, а потомъ отрока и юноши. По тѣмъ чертамъ, которыя были доступны наблюденію героя повѣсти, и по тому, какъ онѣ преломлялись въ его сознаніи, читатель, однако, можетъ составить себѣ довольно опредѣленное понятіе объ этой жизни.

Подобно тому, какъ въ картинѣ дореформенной консервативной помѣщичьей жизни, какъ она отразилась въ творчествѣ Тургенева и, главнымъ образомъ, Гончарова, при внимательномъ взглядѣ на эту картину въ обрисовкѣ Толстого бросается въ глаза отсутствіе у людей всякихъ духовныхъ интересовъ. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характернымъ является то обстоятельство, что нигдѣ въ повѣстяхъ, за исключеніемъ главы, гдѣ описывается семейство Нехлюдовыхъ, не упоминается о томъ, чтобы кто-нибудь (кромѣ Карла Ивановича) читалъ какія-либо книги. Мысль спала, а потому отсутствовала всякая потребность въ духовной пищѣ. Время заполнялось строго размѣреннымъ порядкомъ жизни, установившимся этикетомъ, который возводился чуть-ли не на степень незыблемыхъ законовъ. Оттого-то такіе, повидимому, самые обыденные, заурядные моменты ежедневной жизни, какъ напримѣръ, обѣдъ, обставлялись множествомъ ненужныхъ осложненій и

---

[1]) См. о нихъ тамъ-же.

условностей, излишнихъ и смѣшныхъ съ точки зрѣнія занятаго, дѣлового человѣка и пріобрѣтающихъ глубокій смыслъ и значеніе съ точки зрѣнія тѣхъ, кому нечѣмъ наполнить свою жизнь. Въ семьѣ Иртеньевыхъ это было своего рода „ежедневное семейное радостное торжество... Въ два часа всѣ умытые, одѣтые къ обѣду сидятъ въ гостиной и, весело разговаривая, ждутъ условленнаго часа. Именно въ то время, какъ хрипятъ часы въ офиціантской, чтобы бить два, съ салфеткой на рукѣ, съ достойнымъ, нѣсколько строгимъ лицомъ, тихими шагами входитъ Фока. „Кушанье готово!“ провозглашаетъ онъ громкимъ, протяжнымъ голосомъ, и всѣ съ веселыми, довольными лицами, старшіе впереди, младшіе сзади, шумя крахмальными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идутъ въ столовую и, негромко переговариваясь, разсаживаются на извѣстныя мѣста“, и т. д. Со стороны можно подумать, что тутъ совершается чуть не священнодѣйствіе,—такъ все это величаво, торжественно, исполняется по разъ заведенному порядку. Тоже и въ другихъ случаяхъ. Жизнь неизмѣнно течетъ по разъ заведенному, воспринятому отъ родителей направленію, она вся построена такъ, чтобы наполнять своими мелочами праздное время провинціальнаго богатаго дворянства. Крѣпостной строй и весь покоившійся на немъ укладъ жизни богатаго помѣщика устранялъ отъ этого послѣдняго всякій трудъ, не исключая и сколько-нибудь серьезныхъ занятій хозяйствомъ. Всѣ потребности удовлетворялись цѣлымъ штатомъ крѣпостныхъ слугъ, у которыхъ крѣпостное право, тяготѣвшее надъ цѣлымъ рядомъ народныхъ поколѣній, выработало особую, чисто рабскую преданность господскимъ интересамъ.

Таковъ общій фонъ дореформенной жизни высшаго помѣщичьяго круга, насколько онъ отразился въ разсматриваемой повѣсти Толстого.

VII.

На этомъ фонѣ вырисовываются отдѣльныя подробности, какъ внѣшняго быта этого общественнаго слоя, такъ и его сословной психологіи. Передъ глазами читателя, по мѣрѣ развитія разсказа, все болѣе и болѣе опредѣляются различныя стороны домашняго уклада стараго барства. Вотъ, напримѣръ, сцена разговора отца героя повѣсти съ приказчикомъ, прекрасно характеризующая ходъ хозяйственныхъ дѣлъ у большинства помѣщиковъ. Изъ распоряженій, дѣлаемыхъ Иртеньевымъ своему приказчику Якову, прекрасно видно, что даже въ томъ случаѣ, если помѣщикъ и былъ приблизительно въ курсѣ своихъ хозяйственныхъ дѣлъ, въ концѣ концовъ, онъ все-же зависѣлъ отъ своего приказчика, который, при желаніи, несмотря на господскія распоряженія, могъ повести дѣло по своему усмотрѣнію, умѣя

найти себѣ оправданіе въ глазахъ мало свѣдущаго въ хозяйствѣ помѣщика. Въ одной изъ слѣдующихъ главъ мы находимъ прекрасную картину помѣщичьей охоты, вѣрнѣе, описаніе сборовъ и приготовленій къ ней. И эта картина должна быть признана какъ нельзя болѣе типичной для помѣщичьей жизни, когда охота была почти единственнымъ развлеченіемъ, куда расходовалась не имѣвшая выхода, вслѣдствіе праздной жизни, энергія широкой барской натуры. Въ высокой степени правдиво, затѣмъ, изображеніе отъѣзда изъ деревни, гдѣ писатель, рисуя нѣсколько едва уловимыхъ мелочей, даетъ такую выпуклую, рельефную картину, столь хорошо знакомую всѣмъ, кто знаетъ патріархальную русскую помѣщичью жизнь. Здѣсь уже во всей силѣ сказалось мастерство Толстого производить удивительный художественный эффектъ путемъ подбора въ своей картинѣ, повидимому, не имѣющихъ никакого значенія подробностей. Упоминаніе о туго на-туго подпоясанномъ кушакѣ ѣдущаго съ господами слуги Николая, о томъ, какъ онъ припрыгивая садился на положенныя на сидѣнье шинели и подушки, съ цѣлью обомять ихъ, о ямщикѣ, положившемъ на козлы свой армякъ и вожжи, о разномастныхъ, разбитыхъ почтовыхъ лошадяхъ, отмахивавшихся отъ мухъ хвостами и дремавшихъ отъ скуки или же пощипывавшихъ листья и стебли темнозеленаго папоротника, и многія другія мелочи,—все это, взятое вмѣстѣ, повторяемъ, съ паразительной яркостью встаетъ передъ глазами читателя, чувствующаго глубокую правду нарисованной передъ нимъ картины. Такъ-же типично для стараго дворянскаго быта описаніе дня именинъ бабушки. Здѣсь, опять-таки, при помощи того-же художественнаго пріема, о которомъ только что говорилось, писатель двумя—тремя штрихами заставляетъ жить въ нашемъ воображеніи и сцену поздравленія именинницы членами ея семьи съ домочадцами, и пріѣздъ визитеровъ, и старинный дворянскій балъ съ мазуркой, ужиномъ и неизмѣннымъ гроссфатеромъ. Удивительнѣе всего то, что авторъ сумѣлъ дать яркую картину всего этого, нисколько не внося фальши въ свою основную задачу—изображеніе впечатлѣній и мыслей десятилѣтняго мальчика. Тутъ же, въ этихъ главахъ („Дѣтство“, гл. XIX—XXIII), передъ читателемъ вырастаетъ во весь ростъ цѣлая группа дѣтей высшаго слоя дворянскаго сословія, и каждый выведенный здѣсь мальчикъ или дѣвочка, хотя авторъ говоритъ о нихъ какъ бы мимоходомъ, всего нѣсколько строкъ, ярко опредѣляется въ нашемъ сознаніи съ рѣзко выраженными чертами индивидуальности. Но, вѣроятно, наиболѣе памятна читателямъ этихъ повѣстей глава, начинающая „Отрочество“, подъ заглавіемъ: „Поѣздка на долгихъ“, отрывки изъ которой помѣщаются чуть-ли не во всѣхъ хрестоматіяхъ для средней школы. Здѣсь мощною кистью художника Толстой даетъ намъ столь обычную для недавняго прошлаго картину русской жизни, навѣрно, хорошо знакомую всякому, кому приходилось

лѣтъ 30—40 тому назадъ жить въ провинціи и такимъ-же путемъ добираться изъ глуши въ губернскій или столичный городъ.

VIII.

Сдѣланныхъ сейчасъ указаній и ссылокъ, думается намъ, достаточно для того, чтобы показать, какой богатый матеріалъ даетъ разбираемая повѣсть Толстого для изученія бытовой жизни русскаго провинціальнаго дворянства первой половины XIX вѣка. Но что съ особенной полнотой и яркостью отразилось въ „Дѣтствѣ, отрочествѣ и юности" Л. Толстого, такъ это воспитаніе дѣтей въ дворянской средѣ. Формируя подрастающее поколѣніе, прививая ему опредѣленныя склонности и міровоззрѣніе, воспитаніе это является наиболѣе полнымъ выразителемъ въ повѣстяхъ Толстого общаго строя русской дореформенной помѣщичьей жизни высшаго круга первой половины прошлаго вѣка. Поэтому на немъ слѣдуетъ остановиться подробнѣе.

Русская литература имѣетъ въ своемъ распоряженіи ярко-художественную картину тѣхъ воспитательныхъ вліяній, въ какихъ находился дворянскій ребенокъ въ раннемъ дѣтствѣ въ консервативныхъ помѣщичьихъ семьяхъ первой половины XIX вѣка. Это—знаменитый „Сонъ Обломова", съ рѣдкой полнотой раскрывающій передъ читателемъ всю пагубность этихъ вліяній. Но Гончаровъ сосредоточилъ свое вниманіе, главнымъ образомъ, на условіяхъ развитія ребенка въ раннемъ дѣтствѣ. Л. Толстой своими повѣстями о Николенькѣ Иртеньевѣ прекрасно дополняетъ созданную Гончаровымъ глубоко поучительную картину умственнаго и моральнаго калѣченія подрастающей человѣческой личности, которое слыло, а порою и теперь слыветъ въ мало-культурныхъ слояхъ нашего общества подъ именемъ воспитанія. Онъ изображаетъ намъ ходъ душевнаго развитія русскаго дворянина съ десяти до шестнадцатилѣтняго возраста, т. е. охватываетъ, слѣдуя обычной терминологіи, конецъ дѣтства, отрочество и начало юности (отсюда и заглавіе повѣстей).

При мимолетномъ, бѣгломъ взглядѣ на воспитаніе дѣтей въ семьѣ Иртеньевыхъ, какъ оно изображено Толстымъ, можетъ показаться, что оно, въ общемъ, поставлено довольно правильно: дѣти отданы на попеченіе особыхъ, спеціально приглашенныхъ для этой цѣли лицъ (Карлъ Ивановичъ у мальчиковъ и Мими—у Любочки), которые слѣдятъ за ихъ воспитаніемъ и образованіемъ. Главный надзоръ за дѣтьми и ходомъ ихъ развитія принадлежитъ, однако, родителямъ, и они, посвоему, заботливо относятся къ этому дѣлу. Но стоитъ только внимательнѣе приглядѣться къ этому воспитанію, чтобы увидать его многочисленные крупные недостатки. На первомъ планѣ

въ воспитаніи стоитъ внѣшность, манеры, то, что дѣлаетъ человѣка, по выраженію Николеньки, comme il faut, т. е. вполнѣ свѣтскимъ. На этой внѣшней дрессировкѣ и сосредоточены всѣ заботы родителей и воспитателей. Развитію ума и особенно сердца придается очень мало значенія: Иртеньевъ въ одномъ мѣстѣ прямо заявляетъ, что главною заботою о немъ отца „были не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія". Полагая всю цѣль воспитанія въ подготовкѣ ребенка для праздной свѣтской жизни. родители и воспитатели считаютъ свою задачу выполненной, если забота о внѣшнемъ воспитаніи увѣнчивается успѣхомъ. Имъ и въ голову не приходитъ, что на ихъ обязанности лежитъ развить въ ребенкѣ здоровое нравственное чувство, сильную волю, энергію, любовь и умѣніе трудиться и многія другія положительныя качества, необходимыя для хорошей и счастливой жизни. Лишенный подобныхъ благотворныхъ вліяній, не пріученный ни къ какому производительному труду, исполненіе котораго было-бы радостнымъ для него, нигдѣ не находя отвѣтовъ на тѣ запросы, которые возникали въ его чуткой душѣ, Николенька Иртеньевъ, несмотря на всю ласку, любовь и вниманіе, которыми онъ окруженъ въ родной семьѣ, представляется жалкимъ, душевно безпомощнымъ ребенкомъ. Съ каждымъ годомъ крѣпнетъ его мысль, расширяется ея горизонтъ, возникаютъ все новые вопросы, выводящіе ее за предѣлы того, что дѣлается въ родной семьѣ (см. напримѣръ, „Отрочество", глава III-я: Новый взглядъ), а тѣ, на комъ лежитъ попеченіе о его духовномъ ростѣ, преподносятъ ему только рутинную школьную учебу съ зубреніемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ или же умудряются такъ знакомить его съ исторіей, что этотъ предметъ всегда казался ему самымъ скучнымъ и тяжелымъ.

IX.

При отсутствіи всякой здоровой умственной пищи, ищущая работы мысль Николеньки неминуемо должна была обратиться на безплодное углубленіе въ самого себя, самоанализъ, или-же безпочвенныя отвлеченныя построенія въ родѣ эпикуреизма или стоицизма. Подъ вліяніемъ этихъ домысловъ празднаго ума, бѣдный юноша то забрасываетъ на нѣсколько дней всѣ свои скучные уроки и, лежа на постели, упивается чтеніемъ какого либо романа и ѣдой пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, купленныхъ на послѣдніе гроши карманныхъ денегъ, то истязаетъ себя хлестаніемъ до слезъ тяжелой веревкой по голой спинѣ или же держаніемъ до страшной боли въ вытянутыхъ рукахъ тяжелыхъ томовъ исторіи Татищева. Каковъ результатъ этой блуждающей въ потемкахъ и не находящей себѣ выхода молодой, ищущей работы мысли, объ этомъ съ грустью говоритъ намъ самъ

авторъ устами своего героя, который признаетъ, что изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда онъ „не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка".

Не лучше послѣдствія пренебреженія со стороны воспитателей Николеньки его нравственнымъ развитіемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Надѣленный отъ природы врожденной чуткостью къ вопросамъ морали, не получая отъ своихъ руководителей ничего, что дало-бы въ этомъ отношеніи здоровую пищу его духу, онъ питаетъ его тщетными порывами къ самоусовершенствованію, но, не находя ни въ комъ участія и поддержки, чуть не на каждомъ шагу терпитъ крушеніе своихъ возвышенныхъ плановъ переустройства собственной личности.

X.

Если предоставленный самому себѣ въ области раціональнаго развитія ума и чувства Николенька въ результатѣ пришелъ къ отрицательнымъ для себя итогамъ, то погоня за внѣшнимъ воспитаніемъ и окружавшая среда оказали на него прямо развращающее вліяніе. Это вліяніе особенно ярко сказывается въ періодѣ юности, когда всѣ прежніе нравственные идеалы смѣнились погоней за comme il faut'ностью, въ которой воплощались, по его мнѣнію, всѣ существенныя свойства его круга, стоявшаго выше обыкновенныхъ смертныхъ. „Мое comme il faut,—пишетъ герой Толстого,—состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно выговаривающій по-французски, тотчасъ-же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. „Для чего ты хочешь говорить, какъ мы, когда не умѣешь?" съ ядовитой усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти—длинные, отчищенные и чистые; третье было умѣніе кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки... Comme il faut было для меня не только важною заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ-бы знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, если-бъ онъ не былъ comme il faut".

Мы сказали выше, что въ этомъ раболѣпствѣ передъ comme il faut наиболѣе ярко сказалась сущность воспитанія и вліянія среды, окружавшей Николеньку въ молодости. Дѣйствительно, далѣе итти въ этомъ направленіи невозможно. Мнимой порядочности, основанной на французкомъ выго-

ворѣ и хорошо отточенныхъ ногтяхъ, приносится въ жертву все. Отсутствіе этихъ и подобныхъ качествъ, въ родѣ опредѣленнаго фасона брюкъ и башмаковъ, кладетъ непроходимую пропасть между людьми: герой Толстого прямо заявляетъ, что если-бы его отецъ, мать или братъ не были comme il faut, онъ не имѣлъ-бы съ ними ничего общаго, они для него не существовали-бы. Дѣлая нравственную оцѣнку служенія идолу внѣшней великосвѣтской порядочности, Толстой замѣчаетъ, что „главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut; что достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей.

Среда и воспитаніе достигли своего; изъ Иртеньева, несмотря на врожденное влеченіе къ нравственной чистотѣ и возвышенные порывы духа, на нѣкоторое время вырабатывается типичный великосвѣтскій хлыщъ, плоть отъ плоти и кровь отъ крови окружавшей его среды.

XI.

И только благодаря сближенію съ демократическимъ кругомъ университетской молодежи, Иртеньевъ мало по малу прозрѣваетъ и начинаетъ сомнѣваться въ истинности своего идеала. Почва для этого поворота во взглядахъ Иртеньева была подготовлена тѣми органическими порывами къ нравственному совершенствованію, которые сказывались у него съ раннихъ лѣтъ. Не имѣй онъ отъ природы глубокаго стремленія къ добру и правдѣ, онъ остался бы вѣрнымъ сыномъ своего круга и его взглядовъ, подобно своему брату Володѣ, который слѣдуетъ имъ со спокойной душою, „безъ борьбы, безъ думы роковой“.

Толстой не показалъ намъ, какъ произошелъ переворотъ въ его героѣ, и какое направленіе приняла его жизнь; онъ не исполнилъ обѣщанія разсказать о второй, по его словамъ, болѣе счастливой половинѣ юности Иртеньева. Однако, нельзя не согласиться съ г. Скабичевскимъ, что и безъ этого можно съ большой вѣроятностью представить себѣ дальнѣйшую его судьбу. „Университетъ оторвалъ его отъ родной почвы фатовства и comme il faut'ства; онъ внушилъ ему рядъ разумныхъ идей и стремленій, но... не могъ замѣнить того здороваго воспитанія, котораго не доставало юношѣ въ дѣтствѣ. Не принимая до того времени никакого участія въ реальной жизни окружающихъ его людей труда и борьбы, не зная, что это за люди, онъ вошелъ въ эту жизнь и въ кругъ этихъ людей совершенно постороннимъ... человѣкомъ, съ рядомъ отвлеченныхъ меч-

таній, не имѣющихъ съ этой жизнью ничего общаго“ [1]) Иначе говоря, благодаря „проклятому“ воспитанію и вліянію окружающей среды, Иртеньевъ вступаетъ въ жизнь вывихнутымъ человѣкомъ, неготовымъ къ житейской борьбѣ, къ тому, чтобы внести въ эту жизнь свое свободное творческое начало. Въ мастерской обрисовкѣ тѣхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ сложилась личность Иртеньева, въ разработкѣ того, какъ вліяютъ эти условія на растущую подъ ихъ воздѣйствіемъ человѣческую личность, и какъ она стремится освободиться отъ цѣпей сословной психологіи, и заключается бытовой интересъ „Дѣтства, отрочества и юности“ Толстого.

XII.

До сихъ поръ шла рѣчь о томъ, что даютъ разбираемыя повѣсти въ автобіографическомъ отношеніи, а также о томъ, что можно извлечь изъ нихъ для пониманія жизни аристократическаго помѣщичьяго круга въ тридцатые и сороковые годы прошлаго столѣтія. Если-бы значеніе ихъ исчерпывалось указанными сторонами, онѣ заняли-бы свое мѣсто въ исторіи русской литературы, но отнюдь не могли быть отнесенными къ тѣмъ произведеніямъ, которыя имѣютъ общій интересъ для всего образованнаго человѣчества.

Между тѣмъ, въ „Дѣтствѣ, отрочествѣ и юности“ есть одна сторона, ставящая эти повѣсти въ ряду созданій художественнаго творчества, имѣющихъ міровое значеніе. Какъ извѣстно, къ нимъ принадлежатъ только такія, которыя, при крупныхъ художественныхъ достоинствахъ, затрагиваютъ вопросы, близкіе и дорогіе всему человѣчеству. Сюда относится изображеніе такихъ событій и положеній, которыя повторяются въ жизни человѣчества независимо отъ условій мѣста и времени, сюда-же принадлежитъ раскрытіе различныхъ проблемъ, стоящихъ передъ духовнымъ взоромъ мыслящаго человѣчества, или тайниковъ человѣческаго духа, сюда-же, наконецъ, относится правдивое изображеніе развитія человѣка въ различные періоды его жизни. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи драгоцѣнный матеріалъ даютъ разбираемыя повѣсти Толстого, рисующія психологію человѣка въ періодъ отрочества и юности.

Несмотря на выдающійся интересъ и громадное значеніе въ дѣлѣ формированія человѣческой личности систематическаго, строго научнаго изученія психологіи отрочества и юности, въ этой области сдѣлано чрезвычайно мало. На первомъ планѣ здѣсь должны быть поставлены работы американскаго ученаго, президента кларскаго университета Ст. Голля и его сотрудника Ланкастера, собравшихъ путемъ опроса множества лицъ громадный фактическій матеріалъ и на основаніи его сдѣлавшихъ рядъ цѣнныхъ обобщеній касательно психологіи отроческаго и юношескаго возраста. Эти обоб-

[1]) Скабичевскій. Соч. т. I с 622.

щенія значительно обосновали и расширили научные выводы Ст. Голля касательно психологіи весны человѣческой жизни, высказанные имъ впервые около четверти вѣка тому назадъ.

И вотъ, если сопоставить данныя точной науки съ тѣмъ, что даетъ намъ въ той-же области въ своихъ первыхъ повѣстяхъ Л. Толстой, нельзя не поразиться тѣмъ удивительнымъ проникновеніемъ въ тайники зрѣющаго человѣческаго духа, какое проявилъ здѣсь будущій „великій писатель земли русской". Подобно другому нашему литературному богатырю—Достоевскому, онъ опередилъ своей геніальной художественной интуиціей точную науку, которой только осталось подтвердить сдѣланныя имъ наблюденія. Стоитъ только сопоставить тѣ данныя, какія мы находимъ въ работахъ Ст. Голля и Ланкастера, съ тѣмъ, что даетъ намъ въ своихъ повѣстяхъ Л. Толстой, чтобы убѣдиться, какъ велико значеніе „Дѣтства, отрочества и юности", особенно двухъ послѣднихъ частей этой повѣсти, для пониманія хода душевнаго развитія человѣка.

XIII.

Однимъ изъ характернѣйшихъ признаковъ того, что дѣтство кончилось, и наступила пора отрочества, является, иногда чрезвычайно рѣзко бросающаяся въ глаза, внезапно вырастающая работа мысли, расширеніе умственнаго кругозора. Точно пелена спадаетъ съ глазъ, и то, что раньше не было доступно сознанію, вызываетъ усиленную дѣятельность ума, чувства и воображенія. Жизнь пріобрѣтаетъ совершенно другой смыслъ; сфера бытія ребенка, включавшая въ себя только родную семью да тѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось болѣе или менѣе часто сталкиваться, теперь, точно по мановенію волшебнаго жезла, вдругъ растетъ и расширяется, захватывая въ свои предѣлы все большее и большее число лицъ и явленій.

Этотъ поворотный пунктъ въ психологіи подрастающаго человѣка, знаменующій собою наступленіе отрочества, вполнѣ опредѣленно отмѣченъ Толстымъ. Въ „Отрочествѣ", въ главѣ III (Новый взглядъ), мы находимъ слѣдующія строки: „Случалось-ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни, вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до сихъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, еще неизвѣстной стороною? Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ первый разъ во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества. Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и

даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это; но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ".

Въ связи съ этимъ духовнымъ прозрѣніемъ находится пробужденіе критическаго отношенія къ прежнимъ авторитетамъ, низведеніе ихъ съ той недосягаемой высоты, на которую ставило ихъ дѣтское воображеніе [1]).

Этотъ духовный ростъ, когда мѣсяцъ идетъ за годъ, когда чувствуешь въ себѣ пробужденіе духовныхъ силъ и все растущія богатства духовнаго міра, вызываетъ часто въ душѣ юноши чувство горячей жизнерадостности, возникающее порою совершенно независимо отъ только что пережитаго момента и душевныхъ настроеній. „Отлично жить на свѣтѣ"! восклицаетъ Николенька Иртеньевъ, и ему вторитъ его другъ Димитрій (глава XXVII „Юности"), и это восклицаніе вырывается у обоихъ послѣ разговора, который, казалось, никакъ не могъ ихъ привести къ такому заключенію.

Ясно ощущаемый ростъ духовныхъ силъ очень часто влечетъ за собою самолюбованіе, рисовку, нерѣдко замѣчаемыя у многихъ юношей. Л. Толстой даетъ намъ рядъ примѣровъ, иллюстрирующихъ эту черту молодости. Такъ, герой его повѣсти, въ бесѣдѣ со своимъ лучшимъ другомъ, не можетъ не порисоваться своимъ безкорыстіемъ („Юность", глава XXI), или же, чтобы показать себя передъ товарищами съ болѣе выгодной стороны, онъ давалъ имъ понять, что онъ обѣдаетъ у князя Ивана Ивановича, и что у него есть дрожки (гл. XXXVI. Университетъ). Но особенно характерны въ этомъ отношеніи размышленія Иртеньева послѣ вторичной исповѣди въ монастырѣ. Онъ мечтаетъ: „теперь духовникъ, вѣрно, думаетъ, что такой прекрасной души молодого человѣка, какъ я, онъ никогда не встрѣчалъ въ жизни, да и не встрѣтитъ, что даже и не бываетъ подобныхъ". Мечты очень скоро представляются убѣжденіемъ, и увѣренность въ своихъ прекрасныхъ душевныхъ качествахъ поселяетъ въ душѣ героя потребность похвастаться передъ кѣмъ-нибудь своими добродѣтелями, и такъ какъ подъ рукою не было никого, кромѣ извозчика, онъ „разсказалъ ему все и даже чувство, которое испытывалъ".

Очень часто самолюбованіе, рисовка, выливаются въ уродливыя формы оригинальничанья, которое такъ характерно для многихъ юношей. Л. Толстой прекрасно обрисовалъ и эту черту въ своемъ героѣ: вспомнимъ хотя-бы главу XXVI изъ „Юности" (Я показываюсь съ самой выгодной стороны), гдѣ онъ старается прикинуться равнодушнымъ къ природѣ и хочетъ обратить на себя вниманіе понравившейся ему дѣвушки нелѣпымъ

---

[1]) См. напр. главу IV и XVII „Отрочества".

замѣчаніемъ о комарахъ, являющихся, будто бы, самой пріятной, по его мнѣнію, деталью наблюдаемаго пейзажа.

Очень ярко также въ первомъ произведеніи Толстого выступаетъ еще одна характерная черта юности—необычайный наплывъ различнаго рода стремленій, которыя, такъ сказать, тянутъ человѣка въ различныя стороны, парализуютъ его волю, дѣлаютъ неспособнымъ сконцентрировать энергію и силы на одномъ какомъ-либо дѣлѣ. (См. „Отрочество", гл. IX-я).

Отмѣтимъ еще мастерскую разработку такихъ чертъ психологіи юности, какъ неудержимые порывы къ дѣятельности, къ самоусовершенствованію, нѣсколько даже утрированное чувство дружбы, страстная потребность любви, стремленіе подчинить свою жизнь опредѣленному возвышенному идеалу, неудержимый полетъ фантазіи, наконецъ, скептицизмъ, который доставляетъ порою столько мученій подрастающему человѣку.

На ряду съ этимъ Л. Толстой изображаетъ и настоящія „болѣзни роста", чисто патологическія явленія психологіи молодости, въ большей или меньшей степени связанныя съ духовнымъ ростомъ человѣка. Такъ, въ главѣ XXVI „Юности" герой повѣсти разсказываетъ о томъ, какъ онъ вдругъ ни съ того, ни съ сего, въ первый визитъ свой семьѣ своего друга, началъ распространяться о томъ, какая замѣчательная дача у князя Ивана Ивановича, и что тамъ есть рѣшетка, которая стоитъ 380 тысячъ. По поводу этой неожиданной для него самого лжи Иртеньевъ замѣчаетъ: „для чего я разсказалъ про рѣшетку, стоившую триста восемьдесятъ тысячъ, я рѣшительно не могу дать себѣ отчета... Въ эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желаніе безъ всякой видимой причины лгать самымъ отчаяннымъ образомъ". Эта беззастѣнчивая и при томъ совершенно безцѣльная ложь, какъ констатируютъ американскіе психологи, является характерной чертой юношеской патологіи.

Не менѣе вѣрно отмѣчаетъ Л. Толстой и другую черту юношеской психологіи, черту, столь же патологическую, какъ и только что указанная: это—пробужденіе въ душѣ самыхъ темныхъ, порою преступныхъ желаній, противодѣйствовать которымъ не всегда хватаетъ силъ. Такъ, глава XIV второй части, подъ заглавіемъ „Затменіе", изображаетъ намъ именно такой моментъ духовной жизни героя. По поводу его авторъ говоритъ, что, вспоминая свое отрочество и, въ частности, описываемый въ этой главѣ случай, онъ допускаетъ возможность самаго ужаснаго преступленія безъ цѣли, безъ желанія вредить, но такъ, изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности.

Къ области такихъ-же темныхъ настроеній относится, напримѣръ, и чувство ненависти, которое овладѣваетъ героемъ повѣсти по отношенію къ

его гувернеру St. Jérôm'у и которое, опять-таки, чрезвычайно характерно для психологіи отрочества.

Мы не имѣемъ въ виду исчерпать весь тотъ богатый матеріалъ, который даетъ „Дѣтство, отрочество и юность“ для изученія психологіи молодости, независимо отъ тѣхъ или другихъ бытовыхъ условій, въ которыхъ находится человѣкъ. Мы хотѣли только на нѣсколькихъ примѣрахъ показать, насколько цѣнна эта повѣсть въ общечеловѣческомъ отношеніи, какъ много даетъ она для пониманія той лучшей поры человѣческой жизни, которая не даромъ сравнивается съ весною и можетъ быть названа вторымъ рожденіемъ человѣка. Великій психологъ, которому дано проникать въ сокровенные тайники человѣческаго духа, Л. Толстой, благодаря своему художественному генію, опередилъ точную науку, которой путемъ долгихъ изслѣдованій удалось установить то, что было открыто ему, какъ художнику.

Утро помѣщика.

I.

Въ третьей части „Дѣтства, отрочества и юность“ (въ главѣ XXIII — Юность) есть слѣдующее мѣсто: „когда на прогулкахъ въ деревнѣ я встрѣчалъ крестьянъ и крестьянокъ на работахъ, несмотря на то, что простой народъ не существовалъ для меня, я испытывалъ всегда безсознательное сильное смущеніе и старался, чтобы они меня не видѣли“. Этотъ отрывокъ представляется очень характернымъ для опредѣленія отношенія героя повѣсти, а, значитъ, и самого автора въ первую половину юности къ крѣпостному люду. „Простой народъ не существовалъ“ для него, иначе говоря, онъ не задумывался надъ его положеніемъ, не понималъ его горькой доли, не стремился прійти къ нему на помощь. Это съ перваго раза кажущееся страннымъ равнодушіе къ народу у того, кто впослѣдствіи является однимъ изъ самыхъ горячихъ борцовъ за счастье простого человѣка, находитъ, однако, себѣ удовлетворительное объясненіе въ тѣхъ условіяхъ жизни и вліяніи среды, которыя окружали Л. Толстого въ дѣтствѣ. Деревенская жизнь, которую наблюдалъ будущій великій писатель до десятилѣтняго возраста, не дала ему такихъ впечатлѣній, которыя могли-бы пробудить въ немъ любовь и состраданіе къ народу въ этомъ нѣжномъ возрастѣ. Л. Толстой избѣгъ тѣхъ тяжелыхъ впечатлѣній отъ крѣпостническаго быта, которыя выпали на долю, напримѣръ, Тургенева и Некрасова въ раннемъ дѣтствѣ. Съ другой стороны, его личная жизнь въ деревнѣ была полна, главнымъ образомъ, радостныхъ для него впечатлѣній и не могла открыть глаза на бѣдственное положеніе народа. Атмосфера семейной и общественной жизни, окружавшей его въ дни

отрочества, во время пребыванія въ Москвѣ, была такова, что менѣе всего могла пробудить въ немъ интересъ къ народу и его жизни.

Но вотъ наступаютъ университетскіе годы. Несмотря на то, что Л. Толстой, подобно своему герою Иртеньеву, повидимому, весь погруженъ въ великосвѣтскую жизнь, въ душѣ его совершается напряженная, скрытая отъ посторонняго глаза, работа совсѣмъ иного порядка. Причины этого коренились, конечно, въ особенностяхъ натуры Толстого, не могущей удовлетвориться мишурой свѣтской жизни, натуры, вѣчно ищущей моральнаго смысла жизни; внѣшнимъ толчкомъ послужила, по всей вѣроятности, работа надъ сравненіемъ проекта „Наказа“ Екатерины II съ „L'esprit des lois“ Монтескье, которой молодой студентъ отдался со всѣмъ пыломъ своей увлекающейся натуры, а главнымъ образомъ, изученіе сочиненій Руссо. С. А. Берсъ, братъ жены Л. Н. Толстого, въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ пишетъ, что сочиненія Ж. Ж. Руссо, несомнѣнно, имѣли огромное вліяніе на убѣжденія нашего писателя. „Онъ увлекался и зачитывался ими еще въ ранней молодости“.

Подъ вліяніемъ идей великаго женевца, мысль Толстого обратилась къ простому русскому народу и его тяжелому положенію. Сознавая себя, въ качествѣ владѣльца многочисленныхъ крестьянъ, обязаннымъ прійти имъ на помощь, Толстой рѣшаетъ бросить университетъ и ѣхать въ Ясную Поляну устраивать бытъ своихъ крѣпостныхъ. „Съ какой надеждой на живое, полезное и производительное дѣло ѣхалъ молодой помѣщикъ въ свое имѣніе“, говоритъ о немъ его біографъ Р. Левенфельдъ: „съ какой силой пробуждалось въ немъ завѣтное желаніе сдѣлаться „хорошимъ“ и честно отнестись къ новому дѣлу, которое по рожденію поставлено ему главной задачей его жизни“. Однако, черезъ годъ онъ разочаровывается въ своей дѣятельности и оставляетъ деревню. Біографъ по этому поводу замѣчаетъ: „онъ понялъ теперь, что тетка Ергольская, предохранявшая его отъ блестящихъ надеждъ, была права, когда говорила, что легче найти счастье для самого себя, нежели создать его для другихъ“.

Новое направленіе въ жизни Толстого нашло себѣ отраженіе и въ его творчествѣ въ повѣсти „Утро помѣщика“, представляющей собою отрывокъ изъ задуманнаго, но не оконченнаго романа, подъ заглавіемъ „Русскій помѣщикъ“, гдѣ молодой писатель предполагалъ, повидимому, изобразить, между прочимъ, свою жизнь въ деревнѣ.

II.

Мы привели эту біографическую справку съ цѣлью показать, что повѣсть „Утро помѣщика“, написанная, какъ и „Дѣтство“, въ 1852-мъ году,

въ основѣ своей имѣетъ автобіографическій элементъ, какъ можно предполагать, гораздо въ большей степени, чѣмъ „Дѣтство, отрочество и юность“. Если при созданіи этой повѣсти авторъ былъ отдѣленъ отъ описываемаго періода своей жизни довольно значительнымъ промежуткомъ времени и уже по тому одному, не будучи въ состояніи вспомнить многое изъ пережитаго и наблюдаемаго, заполнялъ эти пробѣлы въ воспоминаніяхъ свободнымъ творчествомъ, то здѣсь крушеніе собственныхъ плановъ и надеждъ было слишкомъ свѣжо въ памяти. Это, конечно, не значитъ, что „Утро помѣщика“ чуждо вовсе творческаго элемента; его только сравнительно меньше, чѣмъ въ разсмотрѣнной выше повѣсти и, наоборотъ, преобладаетъ элементъ автобіографическій. Левенфельдъ прямо говоритъ, что „Утро помѣщика“ есть почти въ каждомъ словѣ описаніе личной жизни Толстого,—Нехлюдовъ—Толстой“.

III.

Въ виду этого при разборѣ „Утра помѣщика“ гораздо съ большимъ правомъ, чѣмъ ранѣе, можетъ возникнуть вопросъ о томъ, представляетъ ли данное произведеніе какой-либо интересъ, независимо отъ біографическаго, иначе говоря, имѣетъ-ли право изслѣдователь пользоваться имъ для какихъ-либо историко-литературныхъ выводовъ и построеній внѣ біографическихъ рамокъ.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ, думается намъ, долженъ быть данъ только положительный. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни обиленъ въ произведеніи того или другого художника слова автобіографическій или-же, вообще, мемуарный элементъ, оно не можетъ быть лишено творческаго начала, коль скоро авторъ облекаетъ его въ художественную форму. А разъ это такъ, то мы имѣемъ право, съ извѣстной, конечно, осмотрительностью, черпать изъ него необходимый матеріалъ наравнѣ съ поэтическими произведеніями, въ большей или меньшей мѣрѣ чуждыми субъективнаго элемента.

Во-вторыхъ, даже субъективная сторона такихъ произведеній является, сплошь и рядомъ, очень цѣнной для того, кто въ литературѣ ищетъ данныхъ для освѣщенія и пониманія той или иной стороны современной поэту жизни. Вѣдь, писатель, какъ бы ни была сильна его индивидуальность, всегда такъ или иначе, даже въ своей личности, не говоря уже о творчествѣ, является выразителемъ своего времени. Благодаря его чуткости и отзывчивости, въ немъ, какъ въ фокусѣ, отражаются идеи и настроенія, переживаемыя обществомъ, и самая его личность въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ является типическимъ явленіемъ современности. Писатель, прежде всего, сынъ своего вѣка и болѣе, чѣмъ кто-либо другой, воспринимаетъ своей

чуткой душой его вѣрованія, надежды и разочарованія и, художественно воспроизводя лично имъ пережитое, въ то-же время изображаетъ болѣе или менѣе характерное явленіе современной жизни.

Таковы, вкратцѣ, тѣ соображенія, которыя даютъ намъ право пользоваться повѣстью „Утро помѣщика“, несмотря на обиліе здѣсь автобіографическаго элемента, какъ такимъ поэтическимъ произведеніемъ, которое можетъ послужить матеріаломъ для освѣщенія жизни русскаго общества въ пятидесятые годы минувшаго вѣка. Разсмотримъ ее въ этомъ отношеніи.

IV.

Въ „Утрѣ помѣщика“ есть двѣ стороны: изображеніе простонародныхъ типовъ и условій крестьянской жизни въ великорусскихъ губерніяхъ въ эпоху крѣпостного права и, параллельно съ этимъ, душевнаго міра героя повѣсти, рѣшившаго посвятить себя народу и потерпѣвшаго, несмотря на всѣ свои усилія, полное пораженіе.

Прежде всего, нѣсколько словъ о томъ, какъ отразилась народная жизнь въ повѣсти Толстого.

Крестьянская жизнь и народные типы изображены въ „Утрѣ помѣщика“, какъ мимолетныя впечатлѣнія барина, посѣщающаго въ праздничное утро своихъ крѣпостныхъ, чтобы узнать ихъ нужды и оказать имъ необходимую помощь. При такомъ методѣ художественнаго воспроизведенія дѣйствительности писателю предстоятъ огромныя трудности: нужно двумя-тремя штрихами набросать цѣлый характеръ, изобразить въ нѣсколькихъ строчкахъ цѣлую картину жизни, не забывая при этомъ, что все это рисуется, какъ наблюденія одного изъ дѣйствующихъ лицъ, которыя должны гармонировать съ общимъ характеромъ наблюдателя. Л. Толстой блестяще справился съ этой задачей. Изображенная въ „Утрѣ помѣщика“ картина крѣпостной народной жизни поражаетъ читателя своей яркостью, полнотою и разнообразіемъ затронутыхъ здѣсь сторонъ. На ряду съ внѣшней стороной хозяйственнаго быта крѣпостного крестьянина обрисована отчасти и его психологія, своеобразныя семейныя и общественныя отношенія. При этомъ необходимо имѣть въ виду, что авторъ чуждъ какой-бы то ни было односторонности: набросавъ, напримѣръ, гнетущую картину безысходной нужды въ хозяйствѣ Чурисенка, онъ черезъ нѣсколько страницъ изображаетъ намъ семью зажиточнаго Дутлова; пробудивъ въ душѣ читателя глубокое состраданіе къ безпомощному Чурисенкѣ и его женѣ, онъ параллельно съ нимъ выводитъ Юхванку-Мудренаго, который никакъ не можетъ вызвать къ себѣ участія, и т. п.

Вниманіе автора наиболѣе, повидимому, привлекаетъ къ себѣ изобра-

женіе народной бѣдности; этому посвящена значительная часть повѣсти.

Удручающее чувство производитъ описаніе избы и дворовыхъ построекъ крѣпостного Чурисенка. Полусгнившій, погнувшійся на бокъ, чуть не до самаго окна вошедшій въ землю съ неровными, закоптѣлыми стѣнами срубъ, мѣстами вовсе лишенный крыши, грязь и смрадъ, множество таракановъ въ красномъ углу, провалившійся въ серединѣ, несмотря на двѣ подпорки, потолокъ—вотъ общее впечатлѣніе отъ его избы. Еще въ худшемъ состояніи находятся его дворовыя постройки. Почти всѣ навѣсы вокругъ двора лишены крыши; нѣкоторые изъ нихъ полузавалились, другіе готовы рухнуть. Въ этихъ развалинахъ, гдѣ въ холодную, сырую погоду нельзя найти пріюта не только человѣку, но и домашнимъ животнымъ, протекаетъ жизнь крѣпостного крестьянина съ его семьею.

Стоитъ только представить себѣ его наружность, чтобы судить о томъ, каково ему живется въ этой обстановкѣ. „По грубости кожи, глубокимъ морщинамъ, рѣзко обозначеннымъ жиламъ на шеѣ, лицѣ и рукахъ, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положенію ногъ, видно было, что вся жизнь его прошла въ непосильной, слишкомъ тяжелой работѣ. Одежда его состояла изъ бѣлыхъ, посконныхъ портокъ, съ синими заплатами на колѣняхъ, и такой-же грязной, расползавшейся на спинѣ и рукахъ рубахи“. Слѣдующій діалогъ даетъ понятіе о томъ, какъ питается семья Чурисенка. „Что, вы уже обѣдали?“ спросилъ баринъ. „Подъ усами Чуриса обозначилась насмѣшливая улыбка, какъ будто ему смѣшно было, что баринъ дѣлаетъ такіе глупые вопросы; онъ ничего не отвѣтилъ.—Какой обѣдъ, кормилецъ? тяжело вздыхая, проговорила баба:—хлѣбушка поснѣдали—вотъ и обѣдъ нашъ.—Нынче постъ голодный, ваше сіятельство,—вмѣшался Чурисъ, поясняя слова бабы.—Хлѣбъ да лукъ—вотъ и пища наша мужицкая. Еще слава-ти, Господи, хлѣбушка то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у нашихъ мужиковъ и хлѣба-то нѣтъ“.

Какъ бы желая дать понять читателю, что причины бѣдственнаго положенія Чуриса коренятся отнюдь не въ немъ самомъ, авторъ отмѣчаетъ его трудолюбіе, а при описаніи его лица говоритъ о его умныхъ глазахъ и спокойной увѣренности въ себѣ, свойственной сильнымъ, энергичнымъ натурамъ. Ужасная сама по себѣ картина разоренія Чуриса производитъ еще болѣе гнетущее впечатлѣніе оттого, что онъ, повидимому, ясно сознаетъ безвыходность своего положенія. Его психологія—психологія безнадежно больного, глубоко убѣжденнаго въ томъ, что ему никогда уже не пользоваться здоровьемъ какъ другіе люди. На вопросъ барина: „отчего вы такъ бѣдны?“ Чурисъ отвѣчаетъ: „Да какимъ-же намъ и быть, какъ не бѣднымъ!“ и въ поясненіе

своей мысли дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній о причинахъ крестьянской бѣдности. На этихъ замѣчаніяхъ можно построить цѣлый трактатъ объ экономическомъ положеніи крѣпостного крестьянина,—такъ они захватываютъ въ корнѣ этотъ вопросъ. Тутъ и все растущая эксплоатація крестьянскаго труда и благосостоянія („псдушныя прибавили, столовый запасъ тоже собирать больше стали“, при межевкѣ крестьянскія навозныя земли въ господскій клинъ отрѣзали), и отсутствіе удобныхъ земель, и разоряющій крестьянъ управляющій, и недостатокъ работоспособныхъ членовъ семьи, и метеорологическіе сюрпризы, лишающіе урожая, и недостаточное количество домашняго скота, потому что его нечѣмъ кормить, и т. д.

Такимъ образомъ, столкнувшись съ народной жизнью и пораженный ея убожествомъ, Л. Толстой сумѣлъ при самомъ мимолетномъ изображеніи ея не только мастерски отмѣтить наиболѣе бросающіяся въ глаза черты, но и многосторонне освѣтить ея сложныя и разнообразныя причины. Въ этомъ отношеніи тѣ мѣста „Утра помѣщика“, гдѣ идетъ рѣчь о народной жизни, смѣло могутъ быть поставлены на ряду съ лучшими страницами „Записокъ охотника“, по глубинѣ, силѣ и правдивости обрисовки быта крѣпостного мужика.

V.

На ряду съ этимъ, мы находимъ въ этой повѣсти множество отдѣльныхъ художественныхъ штриховъ, которые, точно по какому-то волшебству, заставляютъ воскресать передъ нами различныя стороны народной жизни. Такъ, напримѣръ, со всей силой выступаетъ передъ читателемъ въ рядѣ мелкихъ подробностей сложившееся вѣками недовѣріе къ барину мужика, который не можетъ допустить, чтобы тотъ дѣйствительно искренно желалъ ему помочь, не вѣритъ въ его житейскую опытность, знаніе крестьянской нужды и при случаѣ не прочь воспользоваться его добротой и провести его. Еще болѣе данныхъ находимъ мы въ повѣсти для характеристики тяжелаго положенія крестьянской женщины, непосильной работы, выпадающей на ея долю, безобразныхъ семейныхъ отношеній, гдѣ она является страдающимъ лицомъ, наконецъ, тѣхъ мелкихъ дрязгъ, которыя возникаютъ подчасъ среди женской половины семьи.

Мы не станемъ останавливаться болѣе подробно на изображеніи народной жизни, какъ она отразилась въ „Утрѣ помѣщика“. Сдѣланныхъ выше замѣчаній достаточно для того, чтобы видѣть, насколько сумѣлъ Толстой подмѣтить и воспроизвести наиболѣе характерныя черты крѣпостного быта и обусловливаемой имъ народной психологіи.

VI.

Но эта сторона въ повѣсти занимаетъ второстепенное мѣсто. Главнѣйшей задачей ея служитъ изображеніе внутренняго міра Нехлюдова, олицетворяющаго собою автора и пережитое имъ во время пребыванія въ Ясной Полянѣ съ 1846 по 1847 годъ. Остановимся нѣсколько подробнѣе на личности героя повѣсти.

Девятнадцатилѣтній студентъ, проведя лѣтнія вакаціи у себя въ имѣніи, рѣшаетъ бросить университетъ и посвятить себя деревенской жизни. О мотивахъ такого рѣшенія мы узнаемъ изъ его письма, гдѣ онъ, между прочимъ, говоритъ: „Не моя-ли священная и прямая обязанность заботиться о счастіи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу? Не грѣхъ-ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ-за плановъ наслажденія и честолюбія? И зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность?“

Изъ этого отрывка ясно, что Нехлюдовымъ руководило въ его рѣшеніи чисто нравственное побужденіе; сознавая свой долгъ передъ народомъ, онъ рѣшаетъ прійти къ нему на помощь въ его трудной долѣ. Здѣсь, въ этомъ рѣшеніи Нехлюдова, не трудно видѣть отзвукъ того настроенія мысли лучшей части русскаго дворянства, которое впослѣдствіи, послѣ освобожденія крестьянъ, создало особый, хорошо извѣстный русской литературѣ и жизни типъ кающагося дворянина. Зародыши этого настроенія коренятся въ психологіи людей сороковыхъ годовъ. Отголоски его можно видѣть, напримѣръ, въ рѣшеніи Лаврецкаго „пахать землю и стараться какъ можно лучше пахать ее“ или же въ рѣчахъ Райскаго, уговаривающаго Бѣловодову заняться облегченіемъ участи своихъ крѣпостныхъ. Но оба эти образа созданы позднѣе толстовскаго Нехлюдова, такъ что за „Утромъ помѣщика“ остается честь быть первымъ произведеніемъ русской литературы, гдѣ впервые нашла себѣ воплощеніе идея служенія народу на почвѣ улучшенія его экономическаго быта.

И Нехлюдовъ вполнѣ добросовѣстно слѣдуетъ принятому рѣшенію: Онъ болѣе года тщательно изучаетъ теорію и практику сельскаго хозяйства, вникаетъ въ жизнь своихъ крестьянъ, знаетъ нужды каждаго изъ нихъ, всякому, кто дѣйствительно нуждается, стремится прійти на помощь. Все его время строго распредѣлено по днямъ и часамъ съ цѣлью возможно болѣе успѣть въ задуманномъ дѣлѣ. „Воскресеніе... назначено для пріема просителей, дворовыхъ мужиковъ, для обхода хозяйства бѣдныхъ крестьянъ и для поданія имъ помощи съ согласія міра, который собирался вечеромъ каждое воскресеніе и долженъ былъ рѣшать, кому и какую помощь нужно

было оказывать". Словомъ, разработана цѣлая система филантропіи, приспособленная къ условіямъ крестьянскаго быта. За проведеніе ея въ жизнь горячо берется молодой, энергичный, умный человѣкъ, глубоко вѣрящій въ возможность ея осуществленія—и въ результатѣ черезъ годъ терпитъ полное крушеніе. Неудачныя попытки облагодѣтельствовать мужиковъ, о которыхъ говорится въ повѣсти, есть только капля, переполнившая чашу терпѣнія молодого помѣщика, все время испытывавшаго одни огорченія. „Вотъ уже больше года,—думалъ онъ, возвращаясь домой послѣ праздничнаго обхода деревни,—что я ищу счастья на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Развѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько! Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, безпомощность. Я даромъ трачу лучшіе годы жизни". Таковы результаты попытки Нехлюдова-Толстого прійти на помощь обездоленному народу.

VII.

Въ чемъ, спрашивается, причина того, что онъ терпитъ неудачу, несмотря на всѣ усилія достичь благопріятныхъ результатовъ? Толстой не даетъ прямого отвѣта на этотъ вопросъ. Онъ только добросовѣстно изображаетъ фактъ, предоставляя читателю дѣлать тѣ или другія его объясненія. А явленіе, изображенное Толстымъ, въ своей сущности слишкомъ серьезное, слишкомъ близко затрагиваетъ оно русскаго человѣка, чтобы не задуматься глубоко надъ нимъ, не попытаться отыскать его причины. Этимъ объясняется почему почти всѣ критики, писавшіе болѣе или менѣ обстоятельно объ „Утрѣ помѣщика", каждый по своему, рѣшали этотъ вопросъ.

Писаревъ въ статьѣ: „Промахи незрѣлой мысли" находитъ, что главная причина полнаго неуспѣха Нехлюдова заключается не въ Нехлюдовѣ, а въ тѣхъ условіяхъ крестьянскаго быта, при которыхъ ему приходится дѣйствовать, именно въ крѣпостномъ правѣ. „Причина всей нескладицы,—говоритъ онъ,—въ томъ, что Нехлюдовъ... самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается влить вино новое въ мѣха старые. Задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ, когда приходитъ въ соприкосновеніе со старыми формами крѣпостного быта". Повѣсть Л. Толстого, такимъ образомъ, для Писарева была лишнимъ подтвержденіемъ той мысли, что корень всяческаго зла народной жизни лежитъ въ крѣпостномъ правѣ, и невозможно что-нибудь сдѣлать для блага крестьянскихъ массъ, пока онѣ находятся въ рабствѣ у помѣщиковъ.

Иначе смотритъ на дѣло г. Скабичевскій. Разбирая въ статьѣ: „Графъ Л. Н. Толстой, какъ художникъ и мыслитель“ повѣсть „Утро помѣщика“, онъ, съ цѣлью выяснить свою точку зрѣнія на причины неудачи Нехлюдова, цѣлымъ рядомъ примѣровъ обосновываетъ мысль о томъ, что только при самостоятельномъ улучшеніи своего быта возможно развитіе той мужественной энергіи, которая составляетъ необходимое условіе всякаго прогресса; посторонняя-же опека неминуемо приводитъ къ застою и нравственной порчѣ. Въ примѣненіи къ „Утру помѣщика“ эту мысль онъ развиваетъ такимъ образомъ: «Повѣсть гр. Толстого говоритъ: „Вы хотите быть полезными народу? Но для этого, прежде всего, перестаньте принимать на себя роль народныхъ опекуновъ и благодѣтелей; перестаньте смотрѣть на народъ, какъ на несовершеннолѣтнихъ дѣтей, которыя безъ вашихъ заботъ должны погибнуть. Знайте, что какъ ни жалка, ни бѣдна жизнь народа, а все-таки это жизнь, и, какъ всякая естественная жизнь, подлежитъ своему самостоятельному развитію, требуя только тепла, воздуха, свѣта и пищи для того, чтобы расцвѣсти во всемъ своемъ цвѣтѣ. Заботьтесь-же только объ одномъ: чтобы доставить всѣ эти необходимыя условія для жизни и дать ей полный просторъ для развитія“». Итакъ, по мнѣнію г. Скабичевскаго, Нехлюдовъ потому потерпѣлъ пораженіе въ своихъ гуманныхъ начинаніяхъ, что захотѣлъ быть опекуномъ своихъ крестьянъ, вмѣсто того, чтобы предоставить имъ возможность свободно совершенствовать свою жизнь, создавъ для этого только благопріятныя условія.

Существуетъ еще третье объясненіе неудачи Нехлюдова. Оно принадлежитъ барону Дистерло, автору книги: „Графъ Л. Н. Толстой, какъ художникъ и моралистъ“. По мнѣнію этого критика, корень зла лежитъ въ самомъ Нехлюдовѣ, въ характерѣ того чувства, которое его толкнуло на служеніе народу. Въ сущности, по мнѣнію г. Дистерло, у Нехлюдова на первомъ планѣ стоитъ его собственное „я“ и нѣтъ истинной любви къ народу, той любви, которая, по Евангельскому изреченію, горами двигаетъ, способна творить чудеса. Отчего Нехлюдовъ не сдѣлалъ ничего существеннаго для своихъ крестьянъ, разочаровался въ своей дѣятельности и не нашелъ для себя счастья? „Оттого, говоритъ намъ повѣсть, что онъ только мечталъ о красотѣ и счастьѣ самоотверженной любви, но въ дѣйствительности не любилъ этого Чуриса, Юхванку-Мудренаго, Давыдку-Бѣлаго, всѣхъ этихъ живыхъ людей, ради которыхъ онъ, будто-бы, пріѣхалъ въ деревню. Онъ любилъ только свою мечту, свою надуманную роль благотворителя, и потому, когда дѣйствительность оказалась не въ ладу съ его мечтою, когда отъ ея суроваго прикосновенія развѣялись прекрасныя юношескія грезы, онъ почувствовалъ себя несчастнымъ“.

VIII.

Изъ этихъ трехъ объясненій того, почему разлетѣлись прахомъ мечты Нехлюдова, наиболѣе несостоятельнымъ представляется то, которое выдвигаетъ г. Скабичевскій, упрекающій героя повѣсти, что онъ беретъ на себя роль опекуна своихъ крестьянъ, и на этомъ строящій свое объясненіе. Оно теряетъ всякую цѣну, если принять въ соображеніе, что Нехлюдовъ именно не дѣлаетъ этого. Онъ, наоборотъ, заботится только о томъ, чтобы предоставить необходимыя, по его мнѣнію, условія для прогрессивнаго развитія жизни своихъ крестьянъ: онъ заводитъ для нихъ школу, лѣчебницу, помогаетъ тѣмъ или другимъ способомъ нуждающимся и т. д. Онъ настолько чуждъ идеи опекунства надъ народомъ, что, не довѣряя себѣ, прибѣгаетъ къ помощи сельскаго схода, чтобы рѣшить, кто изъ крестьянъ какой помощи заслуживаетъ. Такимъ образомъ, критика г. Скабичевскаго оказывается направленной не по адресу.

Что касается до мнѣнія Писарева, по которому никакія улучшенія въ народной жизни, при всемъ добромъ желаніи помѣщика, невозможны, разъ существуетъ крѣпостное право, то оно, выраженное въ такой категорической формѣ, и справедливо, и ошибочно. Совершенно вѣрно, что никакія *коренныя* преобразованія въ экономическомъ и бытовомъ строѣ крестьянской жизни, столь необходимыя для прогресса Россіи, были невозможны при условіи существованія крѣпостного права. Эта мысль стала аксіомой для всѣхъ, кто былъ близко знакомъ съ тѣмъ, что такое представляло собою у насъ крѣпостное право. Но, вѣдь, Нехлюдовъ и не мечтаетъ о какомъ-нибудь новомъ курсѣ крестьянской жизни, рѣзко отличномъ отъ существующаго. Заставъ дѣла въ неописанномъ разстройствѣ и желая привести ихъ въ порядокъ, онъ хочетъ только поднять благосостояніе мужиковъ, доведенныхъ до разоренія хищническимъ хозяйничаніемъ приказчика Андрея Ильича. А что въ его замыслахъ не было ничего невыполнимаго, можно судить хотя-бы по тому, что бывали помѣщики, у которыхъ крестьяне находились гораздо въ лучшемъ положеніи, чѣмъ въ нехлюдовской деревнѣ. Очевидно, нѣкоторыхъ частичныхъ улучшеній въ положеніи крестьянъ даже при крѣпостномъ правѣ все-же можно былъ достичь, но Нехлюдову это почему-то не удается. Такъ что разсужденіе Писарева, въ основѣ котораго лежитъ совершенно вѣрная мысль, непримѣнимо, однако, къ данному случаю.

IX.

Остается разсмотрѣть приведенное выше мнѣніе г. Дистерло. Оно представляется намъ наиболѣе вѣроятнымъ, потому что, въ значительной мѣрѣ находитъ себѣ обоснованіе въ самой повѣсти.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, необходимо обратить вниманіе на нѣкоторыя мелкія замѣчанія, разбросанныя тамъ и сямъ авторомъ. Что служитъ точкой отправленія въ необычайномъ рѣшеніи Нехлюдова, подчиняясь которому, онъ бросаетъ университетъ, высшее общество, карьеру и ѣдетъ въ деревню занимать ся устройствомъ своихъ крестьянъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ можно найти въ концѣ повѣсти, гдѣ Нехлюдовъ вспоминаетъ ходъ своихъ мыслей, приведшихъ его къ рѣшенію поселиться въ деревнѣ. Безсознательно онъ ищетъ рѣшенія вопроса, въ чемъ для него заключается счастье. Въ ряду другихъ, „ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую онъ ухватился съ наслажденіемъ,—мысль, что любовь и добро есть истина и счастье и одна истина и одно возможное счастье... «Итакъ, я долженъ дѣлать добро, чтобы быть счастливымъ», думалъ онъ, и вся будущность его уже не отвлеченно, а въ образахъ, въ формѣ помѣщичьей жизни рисовалась передъ нимъ". Такимъ образомъ, мечты о личномъ счастьи приводятъ Нехлюдова къ рѣшенію „дѣлать добро". На первомъ планѣ у него, значитъ, личное „я", которое и служитъ точкой отправленія въ его заботахъ о крестьянахъ. Въ дальнѣйшихъ мечтахъ это „я" занимаетъ такое-же господствующее положеніе. Нарисовавъ себѣ программу дѣятельности, которой онъ посвятитъ себя, и тѣ успѣхи, которыхъ онъ достигнетъ, Нехлюдовъ мечтаетъ: „какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду дѣлать это для собственнаго счастья, я буду наслаждаться благодарностью ихъ, видѣть, какъ съ каждымъ днемъ я дальше и дальше иду къ предположенной цѣли". Въ этихъ послѣднихъ словахъ Нехлюдовъ (*я* буду дѣлать это для собственнаго счастья... *я* буду наслаждаться благодарностью ихъ...) особенно ясно выступаетъ скрытая пружина дѣйствій Нехлюдова. Авторъ даетъ понять, что и впослѣдствіи, когда его герой близко столкнулся съ народомъ и, казалось, могъ-бы проникнуться иными чувствами, онъ все-же безсознательно полонъ прежними своими мыслями. Такъ, давши мужику Чурису денегъ для покупки коровы, онъ, уходя изъ избы, зоветъ и его съ собою, потому что „видъ человѣка, которому онъ сдѣлалъ добро, былъ такъ пріятенъ, что ему не хотѣлось скоро разставаться съ нимъ". Черезъ нѣкоторое время, посѣщая зажиточную семью Дутловыхъ, онъ представляетъ себѣ всѣхъ своихъ крестьянъ такъ-же хорошо устроившимися, „и всѣ ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своимъ богатствомъ и счастьемъ". Опять народное благосостояніе не есть само по себѣ цѣль, а только средство доставить себѣ усладу, создать личное счастье.

Такимъ образомъ, во всей дѣятельности Нехлюдова на первомъ планѣ неизмѣнно стоитъ его личное „я". Нехлюдовъ, въ сущности, ничѣмъ не отличается отъ такъ называемыхъ филантроповъ, и вся его дѣятель-

ность есть не что иное, какъ филантропическая затѣя, чуждая въ корнѣ своемъ возвышенныхъ идейныхъ побужденій. Рисуя пораженіе Нехлюдова, Толстой тѣмъ самымъ хочетъ сказать, что тотъ, кто идетъ служить народу не потому, что онъ всѣмъ существомъ своимъ прочувствовалъ всю бѣдственность его положенія, не потому, что у него въ душѣ горитъ святое пламя любви къ ближнему, а только въ силу того, что ему извѣстно, какъ пріятно дѣлать добро и сколько удовольствія доставляетъ оно, тотъ напередъ пусть знаетъ, что изъ его дѣятельности ничего не выйдетъ, и онъ не достигнетъ своей узко личной, эгоистической цѣли.

Такова, повидимому, основная мысль разсматриваемой повѣсти Л. Толстого. Здѣсь уже во всей силѣ проявляется изумительный по своей глубинѣ анализъ Толстого. Онъ обнаруживаетъ намъ скрытыя пружины дѣятельности своего героя, такія пружины, сознавъ присутствіе которыхъ у себя въ душѣ, онъ самъ бы ужаснулся. Онъ показываетъ, какъ порою самыя благородныя человѣческія дѣйствія вытекаютъ изъ невысокихъ этическихъ мотивовъ, и какъ сложна и запутана психологія человѣка, какъ въ ней высокое переплетается съ низкимъ, благородное съ пошлымъ.

Казаки.

I.

Слѣдующимъ крупнымъ произведеніемъ Л. Толстого за „Утромъ помѣщика“ является повѣсть „Казаки“. Вполнѣ законченная только въ 1861-мъ году, она начата въ 1852-мъ и по своему содержанію вполнѣ принадлежитъ къ періоду пребыванія Толстого на Кавказѣ въ 1851—52 г.г. Здѣсь, какъ и въ разсмотрѣнныхъ выше его произведеніяхъ, въ основѣ лежитъ автобіографическій элементъ, а потому, для опредѣленія его размѣровъ, необходимо сдѣлать соотвѣтствующую біографическую справку.

Изъ книги Р. Левенфельда мы узнаемъ, что Л. Толстой, разочаровавшись въ своей дѣятельности на пользу крестьянъ, оставляетъ деревню и живетъ то въ одной, то въ другой столицѣ, предаваясь свѣтскимъ удовольствіямъ и только изрѣдка наѣзжая въ Ясную Поляну, гдѣ въ компаніи братьевъ и друзей продолжаются тѣ-же бурныя развлеченія. Такъ проходитъ нѣсколько лѣтъ. Въ началѣ 1851 года, увлекшись картежной игрой, онъ дѣлаетъ крупный проигрышъ. Чтобы расчесться поскорѣе съ карточнымъ долгомъ и, съ другой стороны, тяготясь свѣтскимъ обществомъ, онъ уѣзжаетъ на Кавказъ, поселяется въ Пятигорскѣ, въ казацкой избѣ, за 5 р. въ мѣсяцъ и ведетъ очень скромный образъ жизни. Сблизившись съ завзятымъ охотникомъ, казакомъ Епишкой, онъ вмѣстѣ съ нимъ ходитъ на

охоту, зарисовывая въ свой альбомъ различные типы и виды, привлекшіе его вниманіе. Вскорѣ, по совѣту одного родственника, занимавшаго видный постъ при генералѣ Барятинскомъ, онъ поступаетъ въ военную службу волонтеромъ и осенью 1852 года зачисляется въ артиллерійскую бригаду, которая была расположена вблизи Кизляра, на лѣвомъ берегу Терека, въ мѣстности, населенной гребенскими казаками. Толстой пробылъ здѣсь до осени 1853 г., близко наблюдая русскихъ солдатъ и казаковъ, „участвуя съ ними и въ стычкахъ, и въ охотахъ, и въ пирушкахъ, и въ попойкахъ, знакомясь и съ семейнымъ очагомъ незатѣйливаго казацкаго хозяйства". Таковы голые факты, сообщаемые біографомъ относительно интересующаго насъ періода жизни Толстого.

II.

Сопоставляя эти данныя съ тѣмъ, что находится въ „Казакахъ", мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ.

Во-первыхъ, внѣшнее положеніе героя повѣсти чрезвычайно напоминаетъ намъ жизнь автора въ этотъ періодъ времени. Такъ, Оленинъ, какъ и Толстой, молодой аристократъ, предававшійся свѣтскому разгулу и проигравшійся въ карты, разочаровавшись въ свѣтской жизни и окружающемъ его обществѣ, бросаетъ Москву и ѣдетъ на Кавказъ, гдѣ поступаетъ въ военную службу; его отрядъ стоитъ въ станицѣ гребенскихъ казаковъ. Здѣсь онъ сближается съ казакомъ-охотникомъ Ерошкой (пятигорскій Епишка), ходитъ вмѣстѣ съ нимъ на охоту; Ерошка, между прочимъ, имѣетъ для охоты дресированнаго коршуна—то же упоминаетъ Левенфельдъ и о Епишкѣ.

Во-вторыхъ, въ основѣ характера Оленина лежатъ тѣ же черты, которыя мы видѣли у Иртеньева и Нехлюдова, и которыя присущи личности Толстого. Напримѣръ, красной нитью черезъ психологію Оленина проходитъ стремленіе къ самоусовершенствованію,—черта, столь характерная для автора. Такъ же, какъ и Нехлюдовъ, Оленинъ создаетъ свою теорію счастья, совершенно аналогичную той, какая приходитъ въ голову герою „Утра помѣщика", являющемуся художественнымъ портретомъ автора. Подобному тому, какъ у Толстого и героевъ его предыдущихъ автобіографическихъ повѣстей, у Оленина мы замѣчаемъ чрезвычайно развитой самоанализъ, и т. д.

Но если присутствіе субъективнаго, автобіографическаго элемента несомнѣнно въ „Казакахъ" Толстого, то, съ другой стороны, на ряду съ нимъ, здѣсь болѣе, чѣмъ въ „Утрѣ помѣщика", очевидно свободное творческое начало. Сказывается оно хотя бы въ томъ, какъ комбинируетъ авторъ свои субъективныя впечатлѣнія. Казакъ Епишка, съ которымъ онъ сошелся въ Пятигорскѣ, подъ именемъ Ерошки, перенесенъ въ станицу гребенскихъ

казаковъ, его жизнь и личность поставлена въ связь съ обитателями ея. Самый сюжетъ повѣсти въ своихъ основныхъ чертахъ не представляетъ собою того, что пережилъ авторъ; въ основѣ его лежитъ разсказъ одного офицера, переданный автору ночью во время дорожной встрѣчи. Наконецъ, насколько субъективный элементъ, въ смыслѣ творческаго воспроизведенія собственнаго внутренняго міра, отошелъ сравнительно съ „Утромъ помѣщика“ въ этой повѣсти на второй планъ, можно судить по тому, какъ много мѣста удѣлено здѣсь авторомъ изображенію общей картины жизни станицы и ея типовъ.

III.

Что даютъ читателю „Казаки“ помимо художественнаго матеріала для біографіи автора?

Съ первыхъ-же главъ повѣсти чувствуется, что авторъ сопоставляетъ передъ читателемъ два глубоко противоположныхъ міра: самобытный народный и, въ лицѣ Оленина и Бѣлецкаго, созданный барской аристократической русской жизнью первой половины XIX вѣка. Оттого „Казаки“ имѣютъ двоякій интересъ: какъ изображеніе русской простонародной жизни, получившей свои особыя характерныя черты на далекой кавказской окраинѣ, и по обрисовкѣ культурнаго представителя аристократическаго общества того времени въ лицѣ Оленина [1]).

Картина казацкаго быта и вырисовывающіеся на общемъ ея фонѣ отдѣльные типы поражаютъ своей художественной полнотой и яркостью. Это, по замѣчанію новѣйшаго истолкователя творчества Толстого (пр. Овсянико-Куликовскій), „высокохудожественныя, граничащія съ геніальностью образы казацкихъ типовъ и картины станичной жизни“. Поэтъ Полонскій, говоря объ этой сторонѣ разсматриваемой повѣсти, замѣчаетъ, что „отъ всего разсказа вѣетъ кавказскимъ воздухомъ. Это не поддѣльный, не подкрашен-

[1]) И та и другая поставленныя авторомъ задачи настолько, въ сущности, обширны, что могли бы каждая въ отдѣльности служить сюжетомъ самостоятельныхъ произведеній. Однако-же Толстой объединяетъ ихъ вмѣстѣ и каждую развиваетъ съ такой полнотой и увлекательностью, что читатель, слѣдя за одной стороной повѣсти, невольно забываетъ о другой и наоборотъ. Это тотъ пріемъ, который мы впослѣдствіи видимъ въ полномъ его развитіи въ „Войнѣ и Мирѣ“ и „Аннѣ Карениной“, гдѣ взаимно переплетается два, а то и больше совершенно различныхъ сюжетовъ. Эта своеобразная особенность творчества Толстого, впервые проявившаяся въ „Казакахъ“, объясняется, быть можетъ, чрезвычайнымъ обиліемъ поэтическаго матеріала, вылившагося въ воображеніи автора въ законченную форму, и возникающаго вслѣдствіе этого стремленія реализировать его въ своихъ произведеніяхъ путемъ объединенія сразу двухъ, а то и нѣсколькихъ отдѣльныхъ поэтическихъ замысловъ

ный, не романтическій Кавказъ, съ романтическими героями. Каждый штрихъ, рисующій тамошнюю природу, вѣренъ, а казаки? Да вы непремѣнно ихъ сами встрѣчали, если только когда-нибудь ломали походы тамъ..., или вы ихъ непремѣнно встрѣтите, если туда поѣдете".

Передъ читателемъ горсть старовѣрческаго русскаго населенія, предки котораго бѣжали изъ Россіи нѣсколько столѣтій тому назадъ. Закинутые судьбой въ плодородную, лѣсистую и богатую всякой растительностью, дичью и рыбой страну, окруженные полудикими магометанскими племенами, съ которыми они вели постоянную партизанскую войну, они выработали своеобразныя формы быта, рѣзко отличныя отъ великорусскаго. „Любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляютъ главныя черты ихъ характера... Живя между чеченцами, казаки перероднились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ... Щегольство въ одеждѣ состоитъ въ подражаніи черкесу. Лучшее оружіе добывается отъ горца, лучшія лошади покупаются и крадутся у нихъ-же... Казакъ большую часть времени проводитъ на кордонахъ, въ походахъ, на охотѣ или рыбной ловлѣ. Онъ почти никогда не работаетъ дома. Пребываніе его въ станицѣ есть исключеніе изъ правила, и тогда онъ „гуляетъ"... Пьянство есть не столько общая всѣмъ склонность, сколько обрядъ, неисполненіе котораго сочлось-бы за отступничество... Женщины, большею частью, и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины... Щегольство, чистота и изящество въ одеждѣ и убранствѣ хатъ составляютъ привычку и необходимость ихъ жизни". Такъ прозаическимъ методомъ характеризуетъ Л. Толстой общія условія быта и жителей той мѣстности, гдѣ развертывается дѣйствіе повѣсти. Намѣченныя здѣсь основныя черты этой своеобразной жизни проходятъ затѣмъ передъ читателемъ въ рядѣ полныхъ художественной правды картинъ станичнаго быта. Такого рода эпизоды, какъ убійство Лукашкой черкеса, переправляющагося ночью черезъ Терекъ (VIII и IX главы), выкупъ тѣла убитаго его братомъ (глава XXI), описаніе праздничнаго веселья въ станицѣ (XXXV глава), сборы противъ абрековъ и схватка съ ними (главы XL и XLI) и мн. др.— все это прямо художественные перлы, гдѣ не знаешь чему больше удивляться: поразительной-ли яркости и силѣ изображенія, захватывающей читателя, или чрезвычайной простотѣ художественной манеры Толстого, чуждаго погони за какими бы то ни было эфектами, умѣющаго путемъ изображенія двухъ-трехъ, повидимому, незначительныхъ подробностей оживить картину въ воображеніи читателя.

Наиболѣе, однако, интереса въ обрисовкѣ гребенскихъ казаковъ представляютъ простонародные типы, выведенные авторомъ въ повѣсти на об-

щемъ фонѣ станичной жизни. Три изъ нихъ особенно заслуживаютъ вниманія: это—Ерошка, Лука и Маріанна, къ разсмотрѣнію которыхъ мы теперь и переходимъ.

IV.

Ерошка, этотъ старый 70-и лѣтній казакъ-охотникъ, представляетъ огромный интересъ по тѣмъ своеобразнымъ, съ перваго разу кажущимся непримиримымъ чертамъ, которыя сумѣлъ открыть Толстой въ его сложной, глубокой психологіи.

Въ разговорѣ въ день перваго знакомства съ Оленинымъ Ерошка такъ аттестуетъ себя въ прошломъ: „Не зналъ ты меня въ мое золотое времячко... Ерошка по всему полку гремѣлъ. У кого первый конь, у кого шашка-гурда (самая лучшая) къ кому выпить пойти, съ кѣмъ погулять? Кого въ горы послать Ахметъ-хана убить? Все Ерошка! Потому что я настоящій джигитъ былъ. Пьяница, воръ, табуны въ горахъ отбивалъ, пѣсенникъ; на всѣ руки былъ. Нынче ужъ и казаковъ такихъ нѣту... Меня мало по станицамъ, въ горахъ-то знали. Кунаки-князья пріѣзжали. Я, бывало, со всѣми кунакъ. Татаринъ—татаринъ; армяшка—армяшка; солдатъ—солдатъ; офицеръ—офицеръ. Мнѣ все равно, только бы пьяница былъ“. Таковъ Ерошка въ молодости, по его собственному признанію. Какъ бы опасаясь, что читатель можетъ принять эти слова за хвастовство, Толстой въ одной изъ слѣдующихъ главъ замѣчаетъ, что Ерошка говорилъ о своей молодости сущую правду: онъ, дѣйствительно, былъ первый молодецъ во всей станицѣ. Онъ воплощалъ въ себѣ идеалъ казака, выработанный въ окружающей его средѣ общимъ складомъ своеобразной станичной жизни.

Теперь Ерошка не тотъ. Семьдесятъ лѣтъ сдѣлали свое дѣло, несмотря на поразительную крѣпость его организма. Сравнительная физическая слабость не позволяетъ ему, какъ въ старину, наслаждаться всевозможными опасностями и темными дѣлами казацкой жизни. Большую часть своего времени теперь онъ проводитъ на охотѣ въ лѣсу, гдѣ по суткамъ питается однимъ кускомъ хлѣба и ничего не пьетъ, кромѣ воды. Зато, вернувшись въ станицу, онъ кутитъ съ утра до вечера, чаще всего на чужой счетъ, точно чуя, гдѣ происходитъ попойка. На ряду со склонностью погулять, главнымъ образомъ, на чужой, счетъ у Ерошки мы замѣчаемъ и другія несимпатичныя черты: онъ бываетъ склоненъ къ лести и лжи изъ-за личныхъ выгодъ, не брезгаетъ брать на себя оборудованіе грязныхъ, съ нравственной точки зрѣнія дѣлъ, (XI-я глава), занимается попрошайничествомъ и порой даже заблаговременно обдумываетъ, что бы выманить поинтереснѣе для себя у податливаго на этотъ счетъ человѣка (см. начало XVI-й главы). Всѣ эти

отрицательныя свойства Ерошки довольно рельефно выступаютъ въ повѣсти. Съ другой стороны, воплощая въ себѣ въ молодости цѣлый рядъ достоинствъ, съ точки зрѣнія окружавшаго его быта и являясь, такимъ образомъ, наиболѣе яркимъ выраженіемъ его, Ерошка, естественно, долженъ былъ проникнуться понятіями своей среды, по крайней мѣрѣ тѣми, которыя наиболѣе вытекаютъ изъ общаго строя казацкой жизни. И дѣйствительно, мы видимъ, что на многое онъ смотритъ ея глазами. Взять хотя-бы для примѣра его отношеніе къ Лукашкѣ, къ которому онъ питаетъ большую симпатію, потому что видитъ въ немъ настоящаго казака, джигита.

Однако, благодаря природному уму, одаренному способностью къ здравому, независимому разсужденію, онъ не сдѣлался рабомъ традиціонныхъ взглядовъ своего сословія; его индивидуальная личность не подавлена ихъ гнетомъ.

Въ первое свое знакомство съ Оленинымъ (глава XI) онъ говоритъ: „Нашъ народъ анаѳемскій, глупый народъ; они васъ не за людей считаютъ... А помоему, хоть-ты и солдатъ, а все же человѣкъ, тоже душу въ себѣ имѣешь... За то-то меня наши и не любятъ“... Таково отношеніе Ерошки къ выросшей на почвѣ религіознаго отщепенства нетерпимости его земляковъ къ русскимъ. Еще свободнѣе относится онъ къ религіознымъ вѣрованіяхъ своей среды. По поводу требованій старообрядческихъ „уставщиковъ“ не ѣсть и не пить съ человѣкомъ другой вѣры и угрозы, что за это придется „сковород-ы лизать“, онъ замѣчаетъ: „Я такъ думаю, что все одна фальшь, что уставщики говорятъ“, и какъ-бы въ подтвержденіе своего мнѣнія ссылается на своего покойнаго кунака, войскового старшину, который говорилъ, что „все это уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, трава вырастетъ на могилкѣ,—вотъ и все“. Тутъ ужъ подрываніе самыхъ „основъ“—отрицаніе загробной жизни.

Эта духовная независимость Ерошки есть одна изъ характернѣйшихъ его чертъ. Благодаря ей, онъ создалъ свое замѣчательное міросозерцаніе, отъ котораго, несмотря на присутствіе въ немъ нѣкоторыхъ наносныхъ отрицательныхъ чертъ, вѣетъ философской глубиной и нравственной чистотою.

Прежде всего, его отношеніе къ природѣ, которую онъ любитъ глубокой, нѣжной любовью и тонко понимаетъ ея красоты. Этотъ гуляка, съ перваго разу какъ-будто не особенно чистый въ нравственномъ отношеніи человѣкъ, вотъ какъ разсуждаетъ: „Что дома-то сидѣть! Только нагрѣшишь, пьянъ надуешься. То-ли дѣло, на зорьки выйдешь, мѣстечко выберешь... и сидишь... дожидаешься. Все то ты знаешь, что въ лѣсу дѣлается. На небо взглянешь—звѣздочки ходятъ... Кругомъ поглядишь—лѣсъ шелыхается... Слушаешь, какъ тамъ орлы молодые запищатъ“... и т. д. Въ этихъ

тыхъ, безыскусственныхъ словахъ чуется то-же глубокое чувство природы, какое отличаетъ, напримѣръ, тургеневскаго Касьяна съ Красивой Мечи, способность слиться съ природой, дышать съ ней одной жизнью. Чѣмъ-то пантеистическимъ вѣетъ отъ его разсужденій на охотничьи темы: „Нынче весной такъ-то подошелъ табунъ важный... Ужъ хотѣлъ стрѣлять. Коли она фыркнетъ на своихъ же поросятъ. „Бѣда, молъ, дѣтки: человѣкъ сидитъ!“ и запрещали всѣ прочь по кустамъ“... Оленинъ шутя спрашиваетъ, какъ это свинья могла сказать поросятамъ, что человѣкъ сидитъ. На это Ерошка отвѣчаетъ: „А ты какъ думалъ? Ты думалъ, онъ дуракъ, звѣрь-то? Нѣтъ, онъ умнѣй человѣка, даромъ, что свинья прозывается. Она все знаетъ... Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хотетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она свинья, а все она не хуже тебя, такая-же тварь Божія. Эхъ-ма! Глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!—повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался“.

Тутъ не только сліяніе съ природой, но и глубокое проникновеніе въ ея жизнь, готовность, по крайней мѣрѣ, теоретическая, признать право пользоваться жизнью за всякимъ живымъ существомъ. И опять приходитъ въ голову Касьянъ съ его упрекомъ охотнику-автору за убійство коростеля и дальнѣйшими его разсужденіями: „грѣхъ ее убивать... и пускай она (дичь) живетъ на землѣ до своего предѣла“... Живи Ерошка въ мирной земледѣльческой средѣ, онъ, несомнѣнно, проникся-бы такими-же высокими гуманными началами, какъ и Касьянъ, ибо въ душѣ его есть вполнѣ подходящая для этого почва. Это,—по всей вѣроятности, чисто врожденное, не заглохшее, несмотря на множество очерствляющихъ сердце впечатлѣній чувство жалости, состраданія. Разсказываетъ онъ, какъ однажды видъ плывущей по Тереку пустой дѣтской колыбели вызвалъ у него цѣлый рой мыслей о томъ, какъ ограбленъ вражескій аулъ, „ребеночка убилъ какой чортъ, взялъ за ножки да объ уголъ. Развѣ не дѣлаютъ такъ-то? Эхъ, души нѣтъ въ людяхъ! И такія мысли пришли, жалко стало“. Еще болѣе рельефно то-же чувство состраданія сказывается въ слѣдующемъ маленькомъ эпизодѣ. Видитъ Ерошка, какъ ночныя бабочки летятъ на колеблющееся пламя свѣчи. „Сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, мѣста много,—приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.—Сама себя губишь, а я тебя жалѣю“.

V.

Такимъ образомъ, изъ сказаннаго выше о Ерошкѣ видно, что въ немъ заключается какая-то нераздѣльная смѣсь порочныхъ и возвышенныхъ чертъ. Первыя есть результатъ вліянія среды, того общаго уклада

станичной жизни, подъ воздѣйствіемъ котораго онъ все время жилъ; вторыя являются слѣдствіемъ врожденныхъ особенностей его натуры, уцѣлѣвшихъ въ немъ до глубокой старости, несмотря на многія неблагопріятныя условія его безпокойной жизни.

Однако и въ этихъ условіяхъ были свои стороны, благопріятствовавшія развитію положительныхъ качествъ міровоззрѣнія Ерошки. Въ отличіе отъ своихъ одностаничниковъ, онъ не имѣетъ накакого хозяйства, онъ, что называется, пролетарій, но только безъ горькаго сознанія своей нищеты и безпомощности, человѣкъ съ обезпеченнымъ пропитаніемъ и завиднымъ чувствомъ независимости. Находясь въ постоянномъ общеніи съ различными народностями, онъ сумѣлъ, въ значительной степени блогодаря этому, освободится отъ мертвящаго своей узостью взгляда на людей, исповѣдуемаго его земляками, и развилъ въ себѣ широкую, гуманную терпимость не только по отношенію къ людямъ, но и ко всему живому. У него прогляцываетъ та „всечеловѣчность“, отмѣчая наличность которой у Пушкина, Достоевскій признавалъ ее пророческимъ явленіемъ въ томъ смыслѣ, что она присуща великорусскому племени, и у Пушкина проявилась только въ полномъ своемъ развитіи. Пр. Овсянико-Куликовскій, имѣя въ виду совокупность положительныхъ свойствъ Ерошки, находитъ, что въ немъ нашли себѣ художественное обобщеніе возвышенныя стороны народнаго духа, и потому Ерошка—народный великорусскій типъ. „Это обобщеніе говоритъ намъ,—замѣчаетъ онъ,—что не мы одни, люди, причастные европейской цивилизаціи..., способны шевелить мозгами, критически относиться къ вѣками установившимся и господствующимъ въ окружающей средѣ нравственнымъ и инымъ понятіямъ, питать высшія чувства, напримѣръ, жалости и состраданія. Въ народѣ, не взирая на всѣ неблагопріятныя условія, сохраняется природная энергія мысли и свѣжесть чувства, которыя ждутъ—не дождутся живительныхъ лучей просвѣщенія, чтобы расцвѣсть и дать сочный плодъ“. И Толстой однимъ изъ первыхъ русскихъ писателей сумѣлъ открыть этотъ типъ, и, главное, съ поразительной правдой и глубиной воспроизвести его внутренній міръ, гдѣ чуднымъ образомъ переплетаются черты совершенно различнаго порядка, образуя вмѣстѣ чрезвычайно сложный и любопытный характеръ Ерошки.—

VI.

Если дядя Ерошка представляетъ глубокій интересъ для читателя сложностью своей духовной организаціи, которая такъ мастерски раскрыта авторомъ, то Лукашка занимаетъ насъ, какъ яркое воплощеніе казацкихъ нравовъ и станичнаго быта. Это, пожалуй, тотъ-же Ерошка въ молодости, но въ немъ нѣтъ той самостоятельности мысли, которая дѣлала Ерошку

духовно-свободнымъ. Лукашка вполнѣ живетъ идеалами своей среды; ему не приходитъ въ голову даже малѣйшее сомнѣніе въ нихъ. Это—казакъ-джигитъ, цѣлью жизни котораго является борьба со врагомъ. Она одна захватываетъ его всецѣло, наполняетъ все его существо, всегда стоитъ на первомъ планѣ. Вспомните тѣ мѣста повѣсти, гдѣ изображается пребываніе Лукашки на кордонѣ, убійство переплывающаго Терекъ врага, схватка съ абреками: чувствуется, что онъ весь принадлежитъ своему дѣлу, что оно наполняетъ все его существо. Остальное—кутежи въ станицѣ, даже любовь къ Маріанкѣ—нѣчто второстепенное. Этимъ и объясняется сравнительная сдержанность его чувства къ невѣстѣ. Неудача здѣсь, въ любовныхъ дѣлахъ, не нанесетъ ему чувствительнаго ущерба, потому что онъ, сознательно или безсознательно, не даетъ простора своему чувству, любитъ сдержанно. Вообще, невольно любуешься этимъ бравымъ молодцомъ-казакомъ, безъ труда понимаешь его несложный душевный міръ, но, несмотря на его внѣшнюю привлекательность и молодечество, не чувствуешь къ нему такой симпатіи, какъ къ дядѣ Ерошкѣ, ибо отъ него вѣетъ нѣкоторой односторонностью, черствостью, такъ сказать, догматичностью, прозой.

Вполнѣ подъ стать Лукашкѣ его невѣста Маріанка, которая, сама этого не желая, чаруетъ своей красотой Оленина, теряющаго совсѣмъ голову отъ любви къ ней. Чѣмъ-то стихійнымъ, мощнымъ, какъ окружающая ее кавказская природа и жизнь, полная неустанной борьбы, вѣетъ отъ этой красавицы-казачки. Давая общую характеристику станичнаго быта, авторъ говоритъ о гребенской женщинѣ, что она, въ сущности, является главной и почти единственной работницей въ домѣ, что все хозяйство пріобрѣтено ею и держится ея трудами и заботами. „Постоянный мужской тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ и поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера“. Воплощеніемъ этихъ свойствъ гребенской женщины и является Маріанка. Наиболѣе проявляется ея личность въ отношеніяхъ къ Лукашкѣ, на анализѣ которыхъ мы вкратцѣ и остановимся.

Молодецъ собою, храбрецъ, первый казакъ въ станицѣ, Лукашка обнаруживаетъ большое вниманіе и расположеніе къ Маріанкѣ. Съ ея стороны онъ встрѣчаетъ полную взаимность: его одного изъ всѣхъ казаковъ отмѣтила она своимъ расположеніемъ. Но на первомъ планѣ у нея не страсть, даже не увлеченіе, трезвое, здравое, спокойное отношеніе къ своему чувству. Переживая въ первый разъ, въ пору расцвѣта всѣхъ силъ, могущественнѣйшее изъ человѣческихъ чувствъ, она не теряетъ подъ вліяніемъ его головы, хорошо зная, что въ ея жизни первое мѣсто будутъ занимать не сладкія рѣчи и пламенное чувство, а матеріальная сторона суще-

ствованія. Имѣя въ виду именно эту сторону жизни, которая у нея на первомъ планѣ, разъ дѣло идетъ объ устройствѣ своей судьбы въ будущемъ, она не прочь разстаться съ Лукашкой и выйти замужъ за Оленина. Вся эта грубая, мѣщанская, несложная психологія Маріанки лишаетъ ея образъ всякаго внутренняго обаянія; остается одна внѣшняя красота, самобытная, могучая, какъ та природа и жизнь, которыя ее вырастили, но все же лишенная той возвышенной одухотворенности, обаятельной женственности, которыя такъ чаруютъ насъ, напримѣръ, въ героиняхъ Тургенева.

И въ такомъ глубоко правдивомъ освѣщеніи обаятельнаго съ перваго момента образа Маріанки сказалась уже знакомая намъ въ высшей степени цѣнная черта таланта Толстого проникать въ самую глубь изображаемыхъ характеровъ и выводить оттуда наружу сокровенныя свойства человѣка, замаскированныя порою совсѣмъ отъ глазъ посторонняго наблюдателя.

Мы не будемъ останавливаться на второстепенныхъ народныхъ типахъ въ разбираемой повѣсти Толстого. Такіе образы, какъ хорунжиха, мать Маріанки, ея отецъ, мать Лукашки, Назарка и др.—все это хотя и мимолетно проходящія въ повѣсти лица, но они ярко выступаютъ въ воображеніи читателя, прекрасно дорисовывая тотъ общій укладъ жизни, который нашелъ себѣ полное художественное выраженіе въ лицѣ дяди Ерошки, Лукашки и Маріанки.

Народные типы въ „Казакахъ“ являются, до извѣстной степени, „новымъ словомъ“ въ русской художественной литературѣ. „Что мы знали до Толстого,—говоритъ по этому поводу г. Венгеровъ,—о такъ называемыхъ «дѣтяхъ природы»? Въ лучшемъ случаѣ это были созданныя по рецепту Руссо величавые дикари Купера, романтическія черкешенки Пушкина, почти столь-же романтически разукрашенныя Тамара и Бела Лермонтова“. Толстой впервые изобразилъ эти таинственно-привлекательные для насъ характеры безъ романтическаго налета, во всей ихъ первобытной простотѣ, не затушевывая однѣхъ чертъ и не раздувая чрезмѣрно другихъ. Въ этомъ и заключается историко-литературное и художественное значеніе картины простонародной жизни, нашедшей себѣ изображеніе въ „Казакахъ“ Толстого.

Кромѣ воспроизведенія быта и типовъ казачьей станицы, авторъ, какъ было указано выше, имѣлъ въ виду еще и другую цѣль: сопоставленіе съ этимъ міромъ представителя культурнаго общества, который выросъ въ условіяхъ жизни русской дворянской среды половины прошлаго столѣтія. Такимъ лицомъ въ „Казакахъ“ является Олениннъ, къ анализу котораго мы теперь и переходимъ.

VII.

Во второй главѣ авторъ въ небольшомъ очеркѣ знакомитъ насъ съ личностью героя, какой она представляется при началѣ повѣсти. Это

24-хъ лѣтній молодой человѣкъ, получившій домашнее воспитаніе, числящійся, но не служащій въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ, никогда ничего не дѣлавшій, успѣвшій уже промотать половину своего значительнаго состоянія. Рано лишившись родныхъ, „онъ съ 18 лѣтъ чувствовалъ себя совершенно свободнымъ, ни отъ кого и ни отъ чего независимымъ человѣкомъ. Для него не было никакихъ ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ... Онъ былъ то, что называется „молодой человѣкъ“ въ московскомъ обществѣ“.

Изъ за этой краткой, сжатой характеристики передъ нами выступаетъ знакомый еще съ пушкинскаго Онѣгина типъ русскаго дворянина, обезпеченнаго даровымъ трудомъ крестьянъ, не имѣющаго никакой моральной связи ни съ народомъ, ни съ родиной, ни съ какими-бы то ни было идеями, могущими объединять людей, осмысливать ихъ существованіе. Но если Онѣгинъ, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ найти въ жизни свою точку, очень скоро разочаровался, то Оленинъ не только не былъ скучающимъ, разочарованнымъ и резонерствующимъ молодымъ человѣкомъ, но, наоборотъ, постоянно чѣмъ-нибудь увлекался. Въ этихъ увлеченіяхъ, какъ нельзя больше, отражалось вліяніе понятій того круга, къ которому онъ принадлежалъ по рожденію и воспитанію. Но стоило только ему, отдавшись какому-либо увлеченію, почувствовать приближеніе труда и борьбы, обыденной житейской борьбы, „онъ инстинктивно торопился оторваться отъ чувства или дѣла и возстановить свою свободу“. Онъ уже бросался въ омутъ свѣтской жизни, начиналъ служить, занимался хозяйствомъ, музыкой, наполнялъ свой внутренній міръ любовью къ женщинамъ, но все это не могло почему-то захватить его.

Это объясняется, однако, отнюдь не пустотой Оленина и происходящей отсюда неспособностью его найти себѣ удовлетвореніе даже въ томъ, что наполняетъ существованіе многихъ лицъ его круга. Скорѣе, наоборотъ. Въ немъ была самостоятельность, самобытность мысли; не даромъ, по словамъ автора, онъ жилъ всегда своеобразно, питая безсознательное отвращеніе къ битымъ дорожкамъ (глава XXIII). Онъ чувствовалъ въ себѣ большой запасъ духовныхъ силъ, но не считалъ себя способнымъ надѣть первый попавшійся хомутъ и въ немъ работать до конца жизни. „Онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ,—на искусство-ли, на науку-ли, на любовь-ли къ женщинѣ, или на практическую дѣятельность“. Свѣтская жизнь съ ея пустотой, бездѣльемъ, фальшью людскихъ отношеній, въ концѣ концовъ, отталкиваетъ его отъ себя. Какое впечатлѣніе производила она на него, мы

можемъ судить по тому омерзительному чувству, какое пробуждается въ Олениңѣ, когда онъ въ одномъ письмѣ вспоминаетъ о столичномъ обществѣ: „какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки,—писалъ онъ,—вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Какъ только представятся мнѣ... эти гостиныя, эти женщины... эти неестественно улыбающіяся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этотъ лепетъ гостиныхъ, обязанный быть разговоромъ и не имѣющій никакихъ правъ на это,—мнѣ становится невыносимо гадко. Представляются мнѣ эти тупыя лица..., эти усаживанія и пересаживанья..., эта вѣчная сплетня, притворство; эти правила—кому руку, кому кивокъ, кому разговоръ, и, наконецъ, эта вѣчная скука въ крови, переходящая отъ поколѣнія къ поколѣнію (и все сознательно, съ убѣжденіемъ въ необходимости)“.

Въ душѣ Оленина идетъ сложная работа мысли и чувства; инстинктивная неудовлетворенность жизнью и средой принимаетъ все болѣе и болѣе сознательныя формы, и вотъ созрѣваетъ желаніе ѣхать на Кавказъ, чтобы стряхнуть съ себя бремя великосвѣтской среды и созданныхъ ею мертвящихъ формъ жизни. Почему онъ остановился именно на Кавказѣ, отвѣтъ на это, до нѣкоторой степени, мы находимъ въ разсказѣ „Рубка лѣса“, гдѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, служащихъ на Кавказѣ, объясняетъ, почему онъ выбралъ для службы этотъ край: „въ Россіи, вѣдь, существуетъ престранное преданіе про Кавказъ, будто это какая-то обѣтованная земля для всякаго рода несчастныхъ людей... Въ Россіи воображаютъ Кавказъ какъ-то величественно, съ вѣчными дѣвственными льдами, бурными потоками, съ кинжалами, бурками, черкешенками“... Это „преданіе“, какъ извѣстно, воцарилось на Руси еще со времени появленія въ свѣтъ „Кавказскаго Плѣнника“, когда по словамъ Бѣлинскаго, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдѣлался для русскихъ завѣтною страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзіи. Вслѣдъ за другими „вѣчными скитальцами“ въ родной землѣ, мечтавшими найти себѣ удовлетвореніе на столь привлекательномъ по разсказамъ Кавказѣ, отправляется туда и Олениңъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ подъѣзжалъ къ Кавказу, все отраднѣе становилось у него на душѣ. Его все болѣе и болѣе охватывало совершенно новое чувство свободы отъ всего прошлаго; ему казалось, что онъ совершенно разорвалъ съ нимъ всякія связи и можетъ теперь зажить иной, новой жизнью.

VIII.

Но Олениңъ ошибался. Это прошлое продолжаетъ жить въ немъ, и вся исторія Оленина есть, въ сущности, какъ это вѣрно отмѣчено пр. Овсянико-Куликовскимъ, борьба выдающейся личности, ищущей своихъ путей

въ жизни и широкаго человѣческаго идеала, съ гнетомъ узкой сословной психологіи, въ немъ-же заложенной, стало-быть, борьба съ самимъ собою. Присутствіе этого гнета особенно наглядно проявляется въ томъ мѣстѣ повѣсти, гдѣ авторъ изображаетъ намъ душевное состояніе Оленина при появленіи его московскаго знакомаго, князя Бѣлецкаго. На Оленина такъ и пахнуло послѣ первыхъ-же сказанныхъ имъ фразъ атмосферой московскаго свѣта, отъ котораго онъ бѣжалъ на далекій Кавказъ. „Досаднѣе-же всего ему было то, что онъ не могъ, рѣшительно не былъ въ силахъ рѣзко оттолкнуть отъ себя этого человѣка изъ того міра, какъ будто этотъ старый, бывшій его міръ имѣлъ на него неотразимыя права". Оленину казалось, что стоитъ ему уѣхать изъ Москвы, поселиться вдали отъ цивилизаціи, опроститься, и онъ найдетъ душевный миръ и счастье. Но нельзя вливать новаго вина въ мѣха старые, а такими старыми мѣхами оказался самъ Оленинъ, жаждущій новой жизни и не могущій отрѣшиться отъ устоевъ старой. Основнымъ устоемъ ея является эгоизмъ, борьба съ которымъ все время идетъ въ душѣ Оленина. Прослѣдить развитіе этой борьбы значитъ показать одну изъ существеннѣйшихъ сторонъ внутренняго міра Оленина.

IX.

Уѣзжая на Кавказъ, читаемъ мы въ повѣсти, „онъ любилъ... только себя одного и не могъ не любить, потому что ждалъ отъ себя одного хорошаго и не успѣлъ еще разочароваться въ самомъ себѣ". Но вотъ трехмѣсячная походная жизнь, встрѣча съ самыми разнообразными людьми, сближеніе съ природой, разговоры съ Лукашкой—все это постепенно, повидимому, подготовляетъ переворотъ въ убѣжденіяхъ Оленина. Говоримъ „повидимому", потому что авторъ, къ сожалѣнію, не показалъ намъ, какіе факты подготовили поворотъ въ міросозерцаніи Оленина. Онъ останавливается только на томъ моментѣ его жизни, когда передъ его сознаніемъ впервые ясно стала мысль о необходимости иного отношенія къ жизни.

Это случилось на охотѣ, когда его охватило обаяніе безыскуственной природы, и онъ, такъ сказать, слился съ ней и сталъ жить одной общей жизнью, стараясь представить себѣ, что чувствуютъ окружающія его живыя существа. Это множество живыхъ существъ, которыми полонъ былъ лѣсъ, и изъ которыхъ каждое жило своей особой, самостоятельной жизнью, наводитъ его на мысль, что въ сущности, онъ не болѣе, какъ незамѣтная часть окружающаго его огромнаго Божьяго міра, и что если онъ считаетъ себя чѣмъ-то особеннымъ, отличнымъ отъ всѣхъ существомъ, то съ полнымъ правомъ можетъ это дѣлать и каждый изъ множества комаровъ, жужжащихъ около него въ древесной тѣни. Это первый шагъ въ разрушеніи того обаянія, которымъ была

окружена въ глазахъ Оленина его собственная личность, подъ вліяніемъ эгоистическихъ разсужденій. Ему стало ясно, что онъ, „просто такой-же комаръ, или такой-же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него". Такъ же, какъ они, какъ всѣ живыя существа, онъ доживетъ до положеннаго ему предѣла, потомъ умретъ, и „только трава вырастетъ".

Однако, разсуждаетъ онъ дальше, „все-таки надо жить, надо быть счастливымъ, потому что я только одного желаю—счастья"... Какъ же надо жить, чтобы завоевать себѣ счастье, и почему этого счастья не было до сихъ поръ? ставитъ оно себѣ вопросъ. Онъ вспомнилъ свою прошлую жизнь, „и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ, въ сущности, ему для себя ничего не было нужно... И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. Счастье вотъ что,—сказалъ онъ самъ себѣ,—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ".

Высказавъ эту новую, неожиданную для самого себя мысль, Олениннъ тотчасъ-же создаетъ разумное ея обоснованіе въ слѣдующемъ логическомъ построеніи. Всякому человѣку свойственно стремиться къ личному счастью; разъ эта потребность присуща всѣмъ людямъ, она, стало быть, законна. Обыкновенно человѣкъ удовлетворяетъ ее эгоистическимъ путемъ, добиваясь богатства, славы, удобствъ жизни, раздѣленной любви и т. п. Но часто случается, что достичь всего этого невозможно. Какой-же отсюда выводъ? „Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна". Нужно, значитъ, выбирать такія средства къ достиженію счастья, которыя не зависятъ отъ внѣшнихъ условій, а такими средствами являются любовь, самоотверженіе. Таковъ ходъ внутренней работы въ душѣ Оленина, приведшей его къ выводу о необходимости строить свое счастье альтруистическимъ путемъ.

Итакъ, чисто головнымъ путемъ, безъ участія сердца, рѣшаетъ онъ дѣлать добро, итти по пути самоотверженія.

Тѣмъ не менѣе, это рѣшеніе не остается мимолетнымъ. Оно такъ наполняетъ все существо Оленина, что онъ все ищетъ случая примѣнить на дѣлѣ свою теорію счастья и вдругъ рѣшаетъ подарить Лукашкѣ своего коня. Осуществивъ свое рѣшеніе, онъ приходитъ въ неописанный восторгъ и не можетъ удержаться, чтобы не разсказать своему денщику не только о подаркѣ лошади, но и зачѣмъ подарилъ, и всю свою новую теорію счастья. Все это указываетъ на то, какъ сильно былъ захваченъ Олениннъ своимъ новымъ настроеніемъ.

Однако это не должно приводить насъ къ заключенію, будто Олениннъ совершенно переродился духовно и сталъ другимъ человѣкомъ. Его теорія

счастья не есть результатъ работы всѣхъ сторонъ его духа; въ выработкѣ ея не принимала участія важная сторона внутренняго „я“ человѣка—область чувства. Оттого духовное перерожденіе не охватило всего его существа, и рѣшеніе жить самопожертвованіемъ остается въ силѣ только до тѣхъ поръ, пока оно не затрагиваетъ его ближайшихъ интересовъ.

X.

Наиболѣе сказывается это въ исторіи его отношеній къ Маріанкѣ. Онъ долго не хочетъ дать себѣ отчета въ своемъ чувствѣ къ ней. Ему кажется, что онъ любитъ ее такъ-же, какъ красоту горъ и неба, олицетвореніе всего прекраснаго природы, и старается раздуть въ себѣ привязанность къ ея жениху Лукашкѣ. Но стоило ему только нѣсколько сблизиться съ ней на вечеринкѣ у Бѣлецкаго, и его посѣщаютъ уже другія мысли: „все пустяки, что я прежде думалъ: и любовь, и самоотверженіе, и Лукашка. Одно есть счаетье: кто счастливъ, тотъ и правъ“, и онъ цѣлуетъ Марьянку, невѣсту другого. Съ этого времени отношенія къ Марьянкѣ стали другія. Онъ уже признается себѣ, что стоитъ ему немного, „дать себѣ поводья“, и онъ могъ бы безумно въ нее влюбиться. Но ему кажется, что все это пройдетъ, и онъ вновь вернется къ старой жизни. Онъ опять отдается мечтамъ о самопожертвованіи, которыя онъ даже заноситъ въ свой дневникъ. Но дѣйствительность опять разбиваетъ эти мечты. Случай вновь предоставилъ ему возможность сблизиться съ Маріанкой, и жажда эгоистичнаго счастья, хотя-бы и основаннаго на несчастьи другихъ, всецѣло захватываетъ Оленина. „Самоотверженіе все это вздоръ, дачь,— пишетъ онъ, — это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью. Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ, когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ... Не для другихъ, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь другихъ“. И онъ предлагаетъ Маріанкѣ быть его женою, прельщая ее богатствомъ и положеніемъ и не обращая вниманія на то, что она сговорена съ Лукашкой, котораго она любитъ и пользуется взаимностью.

Такъ печально для Оленина оканчивается его попытка развить въ себѣ способность любить людей, основать свое счастье на ихъ благополучіи. Слишкомъ сильна была старая закваска эгоизма, себялюбія, обильно вскормленныхъ дореформеннымъ аристократическимъ строемъ жизни, выросшимъ на крѣпостномъ правѣ.

XI.

Такое же пораженіе терпитъ Олениннъ и въ попыткѣ зажить новою

жизнью, отрѣшившись отъ всего того, что такъ ненавистно стало ему въ его прежнемъ существованіи. Вначалѣ все какъ будто идетъ на ладъ. Московскія воспоминанія совсѣмъ затушевались, „старая жизнь была стерта, и началась новая, совсѣмъ новая жизнь, въ которой еще не было ошибокъ“ (гл. XI). Онъ такъ вжился въ станичный обиходъ, что прошлое ему представлялось чѣмъ-то совершенно чуждымъ. Онъ былъ убѣжденъ, что никогда не пожалѣетъ о томъ, что бросилъ прежнюю жизнь и устроился совсѣмъ на новый ладъ. „Онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ себя здѣсь болѣе и болѣе свободнымъ и болѣе человѣкомъ“. Сравнивая себя съ окружающими его, какъ ему казалось, прекрасными, сильными и свободными людьми, ему становилось стыдно и грустно, что онъ не такой, какъ они, и мысль о томъ, чтобы бросить все, приписаться въ казаки и жить ихъ жизнью, не разъ приходила ему въ голову. И однако-же онъ не рѣшался сдѣлать этого, какъ-бы предчувствуя, что онъ не можетъ жить вполнѣ жизнью Ерошки и Лукашки. Тѣмъ не менѣе, мысль объ опрощеніи продолжаетъ жить въ немъ, вопреки внутреннему затаенному сознанію недостижимости для него этого опрощенія. Все разгорающееся чувство къ Маріанкѣ, разрушившее иллюзіи самоотверженія, открыло, наконецъ, ему глаза и на его мечты опроститься. Подводя итогъ этимъ мечтамъ и попыткамъ ихъ осуществить, Оленинъ пишетъ: „Я пробовалъ отдаться этой жизни и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, негармоническаго, уродливаго прошлаго“.

Такимъ образомъ, и здѣсь, въ стремленіи Оленина зажить новою жизнью, надъ нимъ, точно какое-то проклятіе, тяготѣетъ прошлое, иначе говоря, тѣ привычки, взгляды и понятія, та сословная психологія, которую онъ впиталъ въ себя съ молокомъ матери и освободиться отъ которой выше его силъ. И Оленинъ, сознавая свою полную безпомощность обновить свою жизнь и возродиться духовно, покидаетъ станицу и ѣдетъ въ крѣпость, вѣроятно, съ цѣлью выйти въ отставку и уѣхать съ Кавказа, ибо то, что влекло его сюда—перспектива новой жизни, теперь не существуетъ для него.

XII.

Есть свѣдѣніе, идущее отъ біографа Толстого, что онъ предполагалъ написать вторую часть „Казаковъ“, чтобы показать дальнѣйшую судьбу своего героя. Но этотъ замыселъ остался неосуществленнымъ, и продолженія „Казаковъ“ мы не имѣемъ.

Но Оленинъ и безъ того ясенъ намъ. Какъ литературный типъ, онъ стоитъ въ близкомъ родствѣ съ пушкинскимъ Алеко, этимъ ро-

доначальникомъ русскаго опрощенія. Конечно, ни о какомъ литературномъ вліяніи или заимствованіи тутъ не можетъ быть и рѣчи,—слишкомъ различно трактованіе характеровъ своихъ героевъ и всей окружающей ихъ обстановки и лицъ у обоихъ писателей,—но все-же оба они, въ сущности, воплощаютъ въ нихъ одну и ту-же мысль, которая на протяженіи чуть не цѣлаго вѣка съ большей или меньшей ясностью проходитъ въ сознаніи русской интеллигенціи: это мысль о необходимости освободиться отъ лжи, фальши и искусственности своей жизни и о томъ, что спасеніе отъ всего этого нужно искать въ нѣдрахъ народнаго быта, не утратившаго простоты, правды и своеобразной первобытной красоты. Но извѣдать счастье этой новой жизни, говорятъ намъ образы Алеко и Оленина, достоинъ только тотъ, кто способенъ сбросить съ себя ветхаго человѣка, не только возродиться, но и переродиться духовно. Но если Пушкинъ вмѣстѣ со своимъ Алеко видитъ созерцаемый имъ цыганскій бытъ только въ подкупающемъ поэтическомъ ореолѣ, то Л. Толстой сумѣлъ отдѣлить себя отъ личности своего героя, смотрящаго на казачій бытъ глазами „больного цивилизаціей“ человѣка, видящаго въ немъ однѣ обаятельныя стороны, и показалъ намъ этотъ бытъ и созданные имъ характеры во всей наготѣ и правдѣ.

Одинъ изъ выдающихся нашихъ критиковъ 50—60-хъ годовъ прошлаго вѣка—П. Анненковъ, разбирая характеръ Оленина, называетъ этотъ типъ отжившимъ и перешедшимъ въ исторію. Съ этимъ мнѣніемъ, однако, невозможно согласиться. Воплощая въ себѣ черты своего времени, Оленинъ въ то-же время заключаетъ въ себѣ и нѣчто болѣе цѣнное, чѣмъ матеріалъ для характеристики опредѣленной полосы изъ жизни русскаго дворянства. Въ его личности есть черты, близкія и понятныя всякому культурному, мыслящему человѣку.

Какъ мы ни цѣнимъ культуру, но мы не можемъ не видѣть въ ея современномъ направленіи цѣлаго ряда отрицательныхъ сторонъ. Одной изъ нихъ является наша оторванность отъ природы и простоты жизни, утрата первобытной свѣжести и энергіи, отсутствіе цѣльности натуры. И всегда съ большей или меньшей силой, въ болѣе или менѣе обширномъ кругу лицъ, выросшихъ въ культурныхъ условіяхъ, проявляется и будетъ проявляться исканіе сближенія съ природой и безыскусственной жизнью, стремленіе стряхнуть съ себя отрицательныя стороны цивилизаціи. И оттого Оленинъ близокъ и понятенъ современному культурному человѣку, который чуетъ въ немъ частичку своей собственной больной души, измученной противорѣчіями культурной жизни.

Такимъ образомъ, въ „Казакахъ“ мы видимъ художественное изображеніе такого явленія въ жизни образованнаго общества, которое оказы-

вается характернымъ для всей современной культуры. Отсюда понятно, какое крупное значеніе имѣетъ эта повѣсть, какъ художественное произведеніе, рисующее не только извѣстный моментъ изъ жизни русскаго общества, но и явленіе, близкое и понтное всякому образованному человѣку. Мы будемъ видѣть дальше, что Толстой еще не разъ вернется къ вопросу опрощенія, пока, наконецъ, не разрѣшитъ его кореннымъ образомъ въ своемъ философскомъ ученіи.

Военные разсказы.

I.

Среди произведеній Л. Н. Толстого, относящихся къ началу его литературной дѣятельности, видное мѣсто занимаютъ военные разсказы, явившіеся результатомъ непосредственныхъ впечатлѣній боевой жизни на Кавказѣ и въ Крыму, во время достопамятной осады Севастополя. Сюда относятся такія произведенія, какъ „Набѣгъ“, „Рубка лѣса“ и особенно „Севастополь въ декабрѣ 1854-го, въ маѣ и августѣ 1855 года“. Нѣкоторые критики относятъ къ этой группѣ произведеній Л. Толстого и разсмотрѣнную выше повѣсть „Казаки“, но такая точка зрѣнія не можетъ быть признана правильной, ибо въ „Казакахъ“ изображеніе военной жизни имѣетъ второстепенный, подчиненный хврактеръ,—на первомъ планѣ тамъ противопоставленіе двухъ міровъ: самобытнаго народнаго и міра, созданнаго барской аристократической русской жизнью начала XIX, вѣка тогда какъ въ перечисленныхъ выше разсказахъ центральное мѣсто занимаютъ военныя событія и, главнымъ образомъ, тѣ душевныя состоянія, которыя переживаютъ въ самомъ центрѣ этихъ событій люди различныхъ общественныхъ группъ.

Хотя военные разсказы Л. Н. Толстого являются плодомъ непосредственныхъ впечатлѣній автора отъ переживаемыхъ имъ событій, тѣмъ не менѣе въ нихъ нѣтъ въ такой значительной степени субъективнаго элемента, какъ это мы наблюдали въ разсмотрѣнныхъ выше произведеніяхъ, гдѣ то или другое дѣйствующее лицо въ большей или меньшей степени, отражало психологію самого автора въ различные періоды его жизни. Грандіозныя, страшныя событія, непосредственнымъ наблюдателемъ и участникомъ которыхъ пришлось быть Л. Толстому на бастіонахъ Севастополя, какъ-то заслонили отъ его художественнаго созерцанія его собственный внутренній міръ, бывшій отправнымъ пунктомъ поэтическаго творчества въ разобранныхъ нами произведеніяхъ, и сосредоточили его вниманіе не столько на немъ самомъ, сколько на томъ, что довелось ему наблюдать вокругъ себя.

Военные разсказы Л. Толстого должны быть отнесены къ замѣчательнымъ явленіямъ русской литературы второй половины XIX в. Выдающіяся достоинства ихъ были единодушно оцѣнены крупнѣйшими тогдашними литераторами, какъ Некрасовъ, Панаевъ, Чернышевскій и др. Такъ, Некрасовъ писалъ Л. Толстому о разсказѣ „Севастополь въ маѣ 1855 г.“: „Онъ всегда будетъ свидѣтельствовать о силѣ, сохранившей способность къ такой глубокой и трезвой правдѣ среди обстоятельствъ, въ которыхъ не всякій-бы сохранилъ ее... Эта именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда—правда, которой со смертью Гоголя такъ мало осталось въ русской литературѣ. Эта правда въ томъ видѣ, въ какомъ вносите вы ее въ нашу литературу, есть нѣчто у насъ совершенно новое... О солдатѣ, вѣдь, наша литература донынѣ ничего не сказала, кромѣ пошлости“.

Что-же новаго внесъ въ родную литературу Л. Толстой своими разсказами изъ военной жизни?

II.

Война въ ея различныхъ проявленіяхъ не разъ и до Л. Толстого давала матеріалъ для художественнаго творчества русскихъ писателей. Но всѣ они съ большимъ или меньшимъ искусствомъ и художественной правдой останавливались на изображеніи общей, такъ сказать, стихійной картины войны или отдѣльныхъ ея моментовъ; иногда эта общая картина служила фономъ, на которомъ вырисовывались героическіе подвиги отдѣльныхъ лицъ. Короче говоря, предшественники Толстого, не исключая и такихъ корифеевъ художественнаго слова, какъ Пушкинъ (Полтава), Гоголь (Тарасъ Бульба), Лермонтовъ (Бородино), останавливались на чисто внѣшней, бьющей въ глаза сторонѣ военныхъ событій, обходя молчаніемъ будничныя картины войны, не углубляясь въ психологію незамѣтныхъ, сѣрыхъ ея героевъ. Человѣческая личность, ея душевныя переживанія какъ то становились незамѣтными, исчезали въ изображеніи военныхъ событій у предшественниковъ Толстого. У нихъ на первый планъ выступало общее, поглощавшее своей сложностью и страшнымъ величіемъ все, что касается отдѣльной заурядной личности и ея психологіи.

Сильный своимъ анализомъ, Л. Толстой, изображая военныя событія, останавливается, въ противоположность своимъ предшественникамъ, на вскрытіи психологіи отдѣльной человѣческой личности, захваченной потокомъ военныхъ событій. „Онъ всюду съ нею,—какъ удачно замѣчаетъ по этому поводу одинъ изъ его критиковъ (бар. Дистерло),—и на полѣ битвы, и въ ложементѣ, и въ солдатской казармѣ, и въ офицерской квартирѣ, и на городскомъ бульварѣ, и въ лазаретѣ;

онъ показываетъ ее и въ моментъ опасности, подъ градомъ непріятельскихъ пуль и гранатъ, и въ моментъ отдыха, гдѣ-нибудь у горящаго костра,—показываетъ, что́ она ощущаетъ и думаетъ, какъ веселится въ свободную минуту, какъ шутитъ подъ свистящими пулями, какъ мучительно иногда боится, какъ отдается тщеславному чувству, мечтамъ о наградахъ, о славѣ, какъ спокойно и просто совершаетъ подвиги мужества и великодушія и какъ мелочно, грубо и зло вздоритъ изъ-за какого-нибудь проиграннаго въ карты рубля..., какъ человѣкъ втыкаетъ штыкъ въ другого человѣка, какъ гранаты и бомбы рвутъ на части его тѣло, какъ падаетъ онъ въ грязь и кровь свалки, какъ стонетъ—раненый, какъ умираетъ—убитый"... Разсмотримъ подробнѣе, какія-же личности привлекаютъ вниманіе Л. Толстого въ этой своеобразной обстановкѣ, и какія черты ихъ душевнаго міра изображаетъ онъ въ своихъ военныхъ разсказахъ.

Дѣйствующія лица этой группы его произведеній сами собою распадаются на двѣ категоріи: представителей народа и образованнаго класса общества. Остановимся вначалѣ вкратцѣ на первыхъ.

III.

Для характеристики простого русскаго солдата особенно много матеріала даетъ намъ серія разсказовъ изъ севастопольской обороны. Передъ нами открываются здѣсь безконечно прекрасныя стороны народнаго духа, недоступныя взору поверхностнаго наблюдателя. Припомнимъ хотя-бы сцену посѣщенія раненыхъ въ лазаретѣ (первый разсказъ) или-же чуждый всякаго тщеславія истинный героизмъ, проявляемый этими незамѣтными героями на севастопольскихъ бастіонахъ, или, наконецъ, незлобивое, полное добродушнаго юмора отношеніе ко врагу во время перемирія—и мы невольно вмѣстѣ съ авторомъ преклонимся передъ безсознательнымъ, чисто органическимъ величіемъ народнаго духа, проникнутаго глубоко лежащей, по мнѣнію Толстого, въ душѣ каждаго русскаго человѣка любовью къ родинѣ. Много разъ послѣ Л. Толстого воспроизводились въ нашей художественной литературѣ типы русскаго солдата, и рисовались положительныя стороны его, но за авторомъ „Севастопольскихъ разсказовъ" навсегда останется слава писателя, впервые заглянувшаго въ душу стараго дореформеннаго солдата и открывшаго въ ней такіе возвышенные и чистые элементы, которыхъ тщетно станетъ искать въ себѣ современный культурный человѣкъ.

IV.

На ряду съ простыми солдатами, въ военныхъ разсказахъ Л. Толстого выведенъ цѣлый рядъ офицерскихъ типовъ различнаго рода оружія. Какъ

и при изображеніи солдатъ, авторъ не даетъ намъ сколько-нибудь полной характеристики ихъ; онъ ограничивается мимолетной обрисовкой ихъ въ отдѣльные немногочисленные моменты боевой жизни. И однако-же они, какъ живые, стоятъ передъ нами,—такова сила могущественнаго художественнаго таланта Л. Толстого! Нельзя не отмѣтить еще одной особенности изображеннаго Л. Толстымъ офицерскаго общества: тогда какъ выведенные имъ солдатскіе типы, въ значительной степени, близки другъ къ другу по своимъ духовнымъ особенностямъ, среди изображеннаго имъ офицерства мы находимъ гораздо болѣе разнообразія, разновидностей отдѣльныхъ образовъ.

Но есть черты, которыя присущи почти имъ всѣмъ, за немногими исключеніями: это ихъ отношеніе къ переживаемымъ кровавымъ событіямъ войны. Изображая ихъ съ этой стороны, авторъ какъ-бы противополагаетъ въ лицѣ ихъ культурное общество народной массѣ,—мотивъ, красной нитью проходящій черезъ позднѣйшее творчество Л. Толстого. Въ самомъ дѣлѣ, если образы простыхъ солдатъ и ихъ отношеніе къ войнѣ приводятъ читателя къ выводу, что чувство, которое заставляетъ ихъ стойко переносить всѣ ужасы совершающихся вокругъ кровавыхъ событій, чуждо всякой позорной трусости или показной храбрости, мелочности, тщеславія, карьеризма, то совсѣмъ къ иному выводу прійдется прійти, вникнувъ въ душевный міръ выведеннаго Л. Толстымъ русскаго офицерства.

Припомнимъ хотя-бы центральную фигуру второго изъ севастопольскихъ разсказовъ—штабсъ-капитана Михайлова, выраженіе лица котораго, по словамъ автора, изобличало простодушіе, разсудительность, честность и склонность къ порядочности. И, несмотря на столь лестную рекомендацію автора, Михайловъ за нѣсколько часовъ до того, какъ итти на бастіонъ, чуть не на вѣрную смерть, предается мечтамъ о томъ, какъ онъ получитъ чинъ капитана, а то и майора, „потому что много перебито да и еще вѣрно много перебьютъ... въ эту компанію“, лебезитъ и заискиваетъ передъ группой офицеровъ, которыхъ считаетъ „аристократами“, и испытываетъ огромное удовольствіе, когда ему удается, на глазахъ у прочей публики, пройтись съ ними нѣсколько разъ по бульвару. Или вотъ адъютантъ Калугинъ, который, по опредѣленію автора, былъ „самолюбивъ, одаренъ деревянными нервами, то, что называютъ храбръ, однимъ словомъ“. Но ещ езадолго до того, какъ прійти на самое опасное мѣсто бастіона, онъ испытываетъ неоднократные приступы паническаго страха, заставляющіе его временами совсѣмъ терять голову. Правда, онъ очень скоро умѣетъ совладать съ собою и въ глазахъ другихъ кажется чуть не выдающимся храбрецомъ, ибо умѣетъ при въѣздѣ на бастіонъ принять молодцоватую „казацкую“ посадку или-же безъ толку высовывается въ присутствіи другихъ въ амбразуры и вылѣзаетъ на банкеты, но побудительными мотивами этой показной, аффекти-

рованной храбрости является исключительно тщеславіе, желаніе блеснуть, надежда на награды, наконецъ, прелесть риска, но отнюдь не глубокое чувство служебнаго долга или безпредѣльной любви къ родинѣ. Такъ, возвращаясь съ бастіона, Калугинъ предается такимъ размышленіямъ: „я очень доволенъ! Отличное дѣло: я и живъ, и цѣлъ, представленія будутъ отличныя и ужъ непремѣнно золотая сабля. Да, впрочемъ, я и стою ея", и т. д. Можно было-бы значительно увеличить число примѣровъ, иллюстрирующихъ настроеніе офицеровъ, изображаемыхъ Л. Толстымъ въ его военныхъ разсказахъ,—для этого нужно было-бы только прослѣдить шагъ за шагомъ за душевнымъ состояніемъ дѣйствующихъ лицъ этой группы въ разбираемыхъ разсказахъ Л. Толстого, который въ цѣломъ рядѣ мелкихъ, какъ-бы мимолетныхъ штриховъ даетъ богатѣйшій матеріалъ для характеристики настроеній русскаго офицера въ указанномъ направленіи. Но уже и изъ сказаннаго ясно видна основная точка зрѣнія Л. Толстого на то, какъ проявляютъ себя на войнѣ простой русскій человѣкъ, рядовой, сѣрый солдатъ, и члены такъ называемаго культурнаго общества. Здѣсь уже глубже, чѣмъ въ „Казакахъ", выступаетъ непримиримая, съ точки зрѣнія Л. Толстого, противоположность склада нетронутаго культурой народнаго духа и цивилизованнаго общества. Впослѣдствіи, въ такихъ произведеніяхъ, какъ „Война и Миръ", „Анна Каренина" и др., эта противоположность выступитъ гораздо ярче и сильнѣе. Отсюда ясна неразрывная связь художественнаго творчества Толстого съ его міровоззрѣніемъ, основныя черты котораго опредѣлились еще въ началѣ его литературной дѣятельности.

V.

Гораздо въ болѣе слабой степени, чѣмъ противоположеніе народа и интеллигенціи, выступаетъ въ севастопольскихъ разсказахъ другая черта міровоззрѣнія Л. Толстого—это отрицательное отношеніе къ войнѣ, какъ къ такому явленію жизни, которое рѣзко противорѣчитъ основнымъ свойствамъ этической природы человѣка. Очевидно, въ это время, какъ и позднѣе, въ періодъ созданія „Войны и Мира", мысль о страшномъ противорѣчіи войны и нравственнаго сознанія человѣка только намѣчалась въ міровоззрѣніи Л. Толстого. Однако-же она мѣстами довольно рельефно, хотя и мимолетно, выступаетъ въ его военныхъ разсказахъ.

Вотъ, напримѣръ, сцена перемирія, мастерски обрисованная Л. Толстымъ во второмъ его разсказѣ изъ севастопольской обороны. На нашихъ и французскихъ укрѣпленіяхъ выставлены бѣлые флаги, и толпы народа съ обѣихъ сторонъ высыпали въ расположенную между ними цвѣтущую долину и „съ жаднымъ и благосклоннымъ любопытствомъ стремятся однѣ къ дру-

гимъ". И офицеры и рядовые солдаты, забывъ ожесточенную вражду къ противнику, мирно, безъ малѣйшей вражды, бесѣдуютъ другъ съ другомъ, шутятъ, обмѣниваются бездѣлушками на память, закуриваютъ другъ у друга трубки. И для читателя, какъ и для автора, становится яснымъ, что эти люди, въ сущности, не питаютъ другъ къ другу никакой вражды, относятся одинъ къ другому по-человѣчески, по-братски. Эта мирная картина вызываетъ у автора слѣдующія горькія размышленія. „И эти люди,—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго, вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?" Но,—грустно замѣчаетъ онъ,—„бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь, и слышатся стоны и проклятія". Въ другихъ мѣстахъ севастопольскихъ разсказовъ при мимолетныхъ замѣчаніяхъ автора, обрисовывающаго окружающую природу, невольно чувствуется контрастъ между этой всеобщей матерью и тѣми ужасами, которые творятъ люди другъ надъ другомъ, но все это не болѣе, какъ случайныя, еще не успѣвшія отлиться въ сознательную форму настроенія. Еще тогда, въ юности, на севастопольскихъ бастіонахъ, когда пришлось столкнуться лицомъ къ лицу съ кровавымъ призракомъ войны, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ переживаемыхъ событій зародилась въ душѣ Л. Толстого искра сомнѣнія въ законности, съ моральной точки зрѣнія, братоубійственной вражды народовъ. И только черезъ много лѣтъ, въ концѣ XIX вѣка, „великій писатель земли русской" развилъ эти мысли во всей полнотѣ и силѣ въ своихъ религіозно-философскихъ сочиненіяхъ. Однако, севастопольскіе разсказы все же служатъ первымъ этапомъ его много лѣтъ работавшей въ этомъ направленіи мысли.

Война и Миръ.

I.

Дѣлая краткій обзоръ творчества Л. Толстого и выясняя его значеніе, мы подошли къ разбору величайшаго произведенія русскаго художественнаго слова, достойнаго занять мѣсто въ ряду лучшихъ созданій міровой литературы, его знаменитаго историческаго романа, вѣрнѣе,—эпопеи: „Война и Миръ". Прошло со времени появленія въ печати этого дивнаго созданія русскаго художественнаго генія около четырехъ десятилѣтій, въ теченіе которыхъ цѣлый рядъ критиковъ пытался подвергнуть его анализу и вскрыть

его значеніе. Составилась обширная критическая литература, посвященная выясненію значенія этой величайшей эпопеи русской жизни начала XIX вѣка. Почти всѣ болѣе или менѣе видные представители нашей литературной критики освѣщали съ той или другой стороны знаменитое произведеніе Л. Толстого,—и однако же мы до сихъ поръ не имѣемъ ни одного сколько-нибудь обстоятельнаго разбора этого произведенія, въ которомъ были-бы выяснены—не то, что всѣ, но, по крайней мѣрѣ, важнѣйшія его особенности. Въ этомъ отношеніи „Война и Миръ“, къ сожалѣнію, раздѣляетъ участь другихъ первоклассныхъ произведеній русской литературы, какъ „Евгеній Онѣгинъ“, „Ревизоръ“, „Мертвыя души“, „Герой нашего времени“, которыя, къ нашему стыду, до сихъ поръ еще не нашли себѣ полной и всесторонней оцѣнки въ нашей историко-литературной критикѣ. Объясняется это, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи „Войны и Мира“, въ значительной степени, тѣмъ, что написать разборъ этого произведенія, который охватилъ хотя-бы важнѣйшія его стороны, дѣло далеко не легкое, требующее отъ изслѣдователя громадной работы и обширной, разносторонней подготовки. Критикъ, принявшійся за этотъ сложный трудъ, будетъ прямо пораженъ тѣмъ неисчерпаемымъ множествомъ самыхъ разнообразныхъ вопросовъ и массой различныхъ типовъ, характеровъ и теченій жизни, которые вереницей толпятся передъ нашимъ сознаніемъ, когда мы пытаемся дать себѣ отчетъ, что-же представляетъ собою необозримая картина жизни, развернутая передъ читателемъ чародѣемъ-авторомъ въ его замѣчательномъ произведеніи.

Въ самомъ дѣлѣ, всмотритесь въ эту огромную, безконечную панораму жизни, которая открывается передъ нами, когда мы страницу за страницей поглощаемъ романъ-эпопею Л. Н. Толстого: духъ захватываетъ отъ этого поразительнаго богатства и разнообразія впечатлѣній! „Ничего подобнаго не представляетъ намъ ни одна литература“, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ критикъ (Страховъ). Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденнаго ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтлѣнія—все есть въ этой картинѣ“. Эта-то чрезвычайная сложность и разнообразіе жизни, нашедшей себѣ отраженіе въ „Войнѣ и Мирѣ“, въ значительной степени увеличиваютъ трудность работы критика, поставившаго себѣ цѣлью сдѣлать полный и всесторонній разборъ этого произведенія. Само собою разумѣется, въ нашемъ краткомъ обзорѣ художественнаго творчества Л. Толстого мы никоимъ образомъ не можемъ претендовать на исчерпывающую

полноту критическихъ замѣчаній о „Войнѣ и Мирѣ“; мы ограничимся только указаніемъ главнѣйшихъ особенностей этого романа-эпопеи и выясненіемъ его общаго значенія.

Предварительно, однако, нѣсколько чисто фактическихъ справокъ, относящихся къ исторіи созданія „Войны и Мира“; справки эти помогутъ выяснить нѣкоторыя важныя особенности разбираемаго произведенія.

II.

Созданіе „Войны и Мира“ стоило автору, по его собственному свидѣтельству, пяти лѣтъ упорнаго, тяжелаго труда. О степени этого труда можно составить нѣкоторое понятіе уже по одному тому, что романъ передѣлывался и переписывался авторомъ семь разъ. Еще болѣе опредѣленное представленіе объ огромной затратѣ творческихъ силъ при созданіи „Войны и Мира“ можно составить по тѣмъ письмамъ, которыми обмѣнивался въ это время Л. Толстой со своимъ другомъ, извѣстнымъ поэтомъ А. Фетомъ. Такъ, въ одномъ изъ нихъ, отъ 17 ноября 1864 года, въ самый разгаръ усиленной работы надъ „Войной и Миромъ“, мы читаемъ: „Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія, очень большого, и обдумать милліоны возможныхъ сочиненій для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну милліонную,—ужасно трудно“. Въ другомъ, позднѣйшемъ письмѣ Л. Толстой писалъ: „Коли можно было-бы $^1/_{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только $^1/_{1000}$. Все-таки, это сознаніе, что могу, составляетъ счастье нашего брата“. Наконецъ, еще позднѣе, за нѣсколько дней до выхода въ свѣтъ начала романа, озаглавленнаго тогда „Тысяча восемьсотъ пятый годъ“, Л. Толстой писалъ, что все, напечатанное прежде, онъ считаетъ только пробою пера.

Эти краткія, мимолетныя признанія какъ нельзя болѣе убѣдительно свидѣтельствуютъ о томъ, какого могучаго напряженія творческой мысли стоило Л. Толстому созданіе „Войны и Міра“ даже въ самомъ началѣ работы.

III.

Трудность авторской задачи, въ значительной степени, еще увеличивалась оттого, что нужно было постоянно заботиться о томъ, чтобы не погрѣшить противъ исторіи, а для этого пришлось перечитать и изучить огромное множество не только историческихъ сочиненій русскихъ и западно-

европейскихъ авторовъ, но и пересмотрѣть не мало сырого, рукописнаго матеріала въ видѣ различныхъ мемуаровъ, семейныхъ хроникъ и т. п. По собственному признанію автора, вездѣ, гдѣ говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, онъ не выдумывалъ. а пользовался историческими матеріалами, изъ которыхъ у него во время работы образовалась цѣлая библіотека. При этомъ нужно имѣть въ виду, что выраженіе „историческія лица“ слѣдуетъ понимать очень широко, ибо многія изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа имѣютъ въ своей основѣ то или другое лицо, дѣйствительно существовавше. Такъ, по свидѣтельству П. Бирюкова, новѣйшаго біографа нашего автора, составившаго свою книгу по еще неизданнымъ матеріаламъ, полученнымъ имъ отъ Л. Н. Толстого, въ „Войнѣ и Мирѣ“ „не трудно угадать полное художественное изображеніе его родителей въ лицѣ графа Николая Ильича Ростова и княжны Маріи Болконской“, а „начиная со стараго графа Ильи Андреевича и кончая воспитанницей Соней, почти у каждаго члена семьи Ростовыхъ есть соотвѣтствующій дѣйствительности типъ въ семейной хроникѣ Толстыхъ“. Точно такъ-же ясны и обитатели „Лысыхъ Горъ“, въ образахъ которыхъ нашли себѣ отраженіе предки автора по матери изъ рода Волконскихъ.

IV.

Приведенныя нами фактическія справки, относящіяся къ созданію „Войны и Мира“, съ одной стороны, и съ другой—колосальный художественный талантъ автора даютъ намъ право уже a priori признать высокую цѣнность разбираемаго произведенія въ историческомъ отношеніи. На этой сторонѣ „Войны и Мира“ мы прежде всего и остановимся.

Л. Н. Толстой въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Нѣсколько словъ по поводу книги «Война и Миръ»“, напечатанной имъ въ 1868 году и носящей, по замыслу автора, характеръ предисловія къ этому произведенію, но почему-то не перепечатываемой въ позднѣйшихъ изданіяхъ его сочиненій, даетъ намъ нѣкоторыя руководящія указанія къ опредѣленію характера историческаго элемента „Войны и Мира“. При объективной оцѣнкѣ художественнаго произведенія всегда чрезвычайно важной представляется точка зрѣнія на него самого автора, а потому мы и остановимся, прежде всего, на выясненіи взглядовъ самого Л. Толстого на историческій элементъ въ „Войнѣ и Мирѣ“.

Предвидя упреки, которые ему сдѣлаетъ критика за своеобразное, не всегда согласное съ разсказами историковъ изображеніе Александровской эпохи, ея современниковъ и дѣятелей, Л. Толстой дѣлаетъ очень вѣрныя замѣчанія о различіи метода въ изображеніи прошлаго у историка и художника, вытекающемъ изъ различія задачъ, которыя ставитъ себѣ тотъ и другой.

Изображая то или другое лицо, историкъ, по словамъ Л. Толстого, сосредоточиваетъ свое вниманіе только на тѣхъ чертахъ его личности и дѣятельности, которыя опредѣляютъ его мѣсто въ исторіи, совершенно игнорируя остальныя. Онъ „будетъ неправъ, ежели будетъ пытаться представить историческое лицо во всей его цѣльности, во всей сложности отношеній ко всѣмъ сторонамъ жизни", ибо это задача художника, для котораго „не можетъ и не должно быть героевъ, а должны быть люди". Совершенно то-же приходится сказать и относительно изображенія историкомъ и художникомъ слова не только историческихъ дѣятелей, но и цѣлыхъ эпохъ. Характеризуя ихъ, историкъ невольно становится нѣсколько одностороннимъ, ибо останавливаетъ свое вниманіе на фактахъ наиболѣе яркихъ, бросающихся въ глаза и, по большей части, упускаетъ изъ виду тотъ общій тонъ настроенія общественной массы, который, въ значительной степени, и создаетъ характеръ эпохи. Наоборотъ, художникъ, для котораго на первомъ планѣ стоитъ вѣрность картины въ цѣломъ, пожалуй, сосредоточитъ свое вниманіе на томъ, что совершенно обходитъ молчаніемъ историкъ, и что, съ точки зрѣнія ходячаго мнѣнія объ извѣстной эпохѣ, совсѣмъ не представляется ни важнымъ, ни существеннымъ.

Такова основная точка зрѣнія Л. Толстого на задачи художественнаго изображенія прошлаго.

Какъ же онъ осуществилъ ее въ своемъ романѣ-эпопеѣ, удалось-ли ему схватить то, что называется духомъ времени, и воспроизвести его въ яркихъ, художественныхъ образахъ?

Остановимся сначала на разборѣ мнѣній объ этомъ критиковъ, писавшихъ объ исторической сторонѣ „Войны и Мира".

V.

Наиболѣе рѣзко и безапелляціонно выразилось отрицательное отношеніе къ историческому элементу „Войны и Мира" въ слѣдующемъ краткомъ замѣчаніи Тургенева, высказанномъ имъ вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ этого произведенія. „Романъ Толстого вещь удивительная, но самое слабое въ немъ именно то, чѣмъ восторгается публика: историческая сторона и психологія. Исторія его—фокусъ, битье тонкими мелочами по глазамъ. Гдѣ характерная черта эпохи? Гдѣ историческая окраска? Фигура Денисова нарисована прекрасно, но она хороша была-бы въ качествѣ арабески на заднемъ фонѣ, но этого задняго фона нѣтъ".

Мнѣніе такого авторитетнаго человѣка, какъ Тургеневъ, высказанное при томъ столь категорически, не нашло, однако, себѣ серьезныхъ послѣдователей между многочисленными критиками, пытавшимися разбирать эпопею

Толстого. Только въ самое послѣднее время, уже въ наши дни, это мнѣніе старается развить и обосновать одинъ изъ видныхъ представителей современной литературы—Д. С. Мережковскій въ большой двухтомной монографіи: „Л. Толстой и Достоевскій". Поставивъ себѣ, кажется, задачей развѣнчать Л. Толстого, онъ, выясняя особенности его творчества и міровоззрѣнія, попутно (2-я глава второй части 1-го тома) разбираетъ вопросъ о томъ, насколько велика цѣнность „Войны и Мира", какъ произведенія, рисующаго историческую эпоху. Духовный міръ всякаго человѣка, говоритъ Мережковскій, „не только въ отвлеченныхъ мысляхъ, но и въ самыхъ жизненныхъ чувствахъ", состоитъ изъ множества всякихъ вліяній, наслоеній, какъ прошлаго, такъ, главнымъ образомъ, современной окружающей насъ культуры, являющейся той атмосферой, которой, какъ тѣло воздухомъ, дышитъ все наше духовное существо. Писатель, если онъ хочетъ быть вѣрнымъ дѣйствительности, какъ справедливо утверждаетъ Мережковскій, не долженъ пренебрегать этой „атмосферой", внѣ которой поэтическій образъ становится мертвымъ. Между тѣмъ, Л. Толстой, по мнѣнію Мережковскаго, пренебрегъ ею: „никто изъ художниковъ такъ не вылущиваетъ, не обнажаетъ внутренняго человѣческаго ядра изъ внѣшней культурно-исторической скорлупы, какъ онъ". Г. Мережковскаго поражаетъ „скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски въ его произведеніяхъ" и въ частности, въ „Войнѣ и Мирѣ". Только иногда, изрѣдка, точно спохватившись, вводитъ онъ ту или другую подробность историческаго быта: „кое гдѣ мелькаютъ напудренный парикъ, лосины, плотно обтягивающія ляжки гвардейскаго поручика, старый князь Болконскій обращается къ дочери—„сударыня" и однажды графиня Ростова, восхищаясь письмомъ сына Николушки, восклицаетъ: „что за штиль!". Внутренняя, домашняя обстановка Александровскаго вельможи, по словамъ г. Мережковскаго, характеризуется только одной подробностью: „стекляныя сѣни съ двумя рядами статуй въ нишахъ"—и только. Это отсутствіе исторической окраски, въ концѣ концовъ, по мнѣнію критика, приводитъ читателя къ впечатлѣнію, „будто-бы всѣ изображаемыя событія, несмотря на ихъ знакомый историческій обликъ, происходятъ въ наши дни, всѣ описываемыя лица, несмотря на портретность,—наши современники.... Воздухъ, которымъ дышимъ мы въ „Войнѣ и Мирѣ" и въ „Аннѣ Карениной"—одинъ и тотъ-же; и здѣсь, и тамъ одинаковая, столь знакомая намъ атмосфера второй половины XIX вѣка".

Такова сущность аргументаціи г. Мережковскаго, попытавшагося обосновать и развить взглядъ Тургенева на изображеніе Л. Толстымъ исторической эпохи начала XIX столѣтія. Хотя въ основу своихъ разсужденій г. Мережковскій кладетъ приведенное выше мнѣніе Тургенева, повидимому, вполнѣ соглашаясь съ нимъ, однако, незамѣтно для себя, взявъ его мысль,

онъ безъ всякихъ оговорокъ развиваетъ ее такой аргументаціей, которая прямо противоположна мнѣнію Тургенева. Такъ, послѣдній не придаетъ (неизвѣстно почему) никакого значенія мелкимъ художественнымъ штрихамъ, заимствованнымъ изъ изображаемой эпохи, считая ихъ фокусомъ, битьемъ мелочами по глазамъ, а г. Мережковскій сѣтуетъ, что этихъ „фокусовъ“ слишкомъ мало.

Но если никоимъ образомъ нельзя согласиться съ мнѣніемъ Тургенева, будто мелкіе художественные штрихи, при томъ еще выбранные съ такимъ изумительнымъ мастерствомъ, какъ это мы находимъ у Л. Толстого, не охватываютъ насъ атмосферой прошлаго,—ибо то, что называется характеромъ эпохи, ея духомъ, колоритомъ, и слагается изъ едва уловимыхъ мелочей,—то, съ другой стороны, утвержденіе г. Мережковскаго, будто Л. Толстой оголяетъ человѣка отъ культурно-историческихъ вліяній и только изрѣдка вводитъ ту или иную подробность историческаго быта, представляется еще въ большей степени рискованнымъ. Когда вы читаете аргументацію Мережковскаго, она оказывается построенной такъ, что кажется, будто авторъ добросовѣстно собралъ воедино всѣ „историческія пятнышки и черточки“, разсѣянныя въ 4 томахъ „Войны и Мира“, и сгруппировалъ ихъ въ нѣсколькихъ строкахъ, не упуская изъ виду даже такой мелочи, какъ сдѣланное „однажды“ замѣчаніе старухи Ростовой: „что за штиль!“ и т. п., и что онѣ имѣютъ ничтожную художественную цѣнность.

Дѣйствительно, Л. Толстой, перенося въ „Войнѣ и Мирѣ“ центръ тяжести на раскрытіе и изображеніе общечеловѣческихъ свойствъ своихъ героевъ, не удѣляетъ преимущественнаго мѣста обрисовкѣ различныхъ сторонъ окружающаго ихъ быта. Въ этомъ отношеніи его художественная задача значительно отличается отъ той, которую ставили себѣ, напримѣръ, Гончаровъ и Островскій, дающіе рѣдкую, по своей полнотѣ, картину духовнаго міра своихъ героевъ, какъ слѣдствіе окружающихъ культурно-бытовыхъ условій. Съ другой стороны, самый художественный методъ Л. Толстого въ этомъ отношеніи нѣсколько иной чѣмъ, напр., у Гончарова. Тогда какъ послѣдній тщательно вырисовываетъ множество мельчайшихъ бытовыхъ подробностей, Л. Толстой примѣняетъ тотъ способъ художественнаго изображенія бытовой дѣйствительности, которымъ такъ мастерски пользовался позднѣе А. П. Чеховъ: онъ ограничивается изображеніемъ немногихъ чертъ ея, но черты эти выбраны съ такимъ изумительнымъ мастерствомъ, что онѣ моментально зажигаютъ въ вашемъ воображеніи цѣлую картину прошлой жизни, чрезвычайно яркую и колоритную; отъ каждой детали ея на васъ такъ и вѣетъ той самой „исторической окраской“, существованія которой почему-то никакъ не хотѣлъ признать Тургеневъ. Вспомнимъ, хотя-бы, главу, гдѣ изображается смерть отца Пьера, графа Безухаго (XX глава первой части).

Мимолетныя упоминанія о раздѣленной колоннами и аркой комнатѣ, обитой персидскими коврами, о высокой, краснаго дерева кровати съ шелковыми занавѣсками, о вольтеровскомъ креслѣ, объ огромномъ кіотѣ съ образами въ золоченныхъ шатахъ и т. д.—все это возсоздаетъ передъ нами въ выпуклыхъ, яркихъ, хотя и не многочисленныхъ чертахъ обстановку спальни вельможи того времени. Подобнаго рода мелкихъ штриховъ, воскрешающихъ въ воображеніи читателя картину прошлаго, не мало разбросано и въ другихъ мѣстахъ „Войны и Мира“. Не обременяя читателя, они, безъ вся кихъ чрезмѣрныхъ усилій съ его стороны, окутываютъ выведенныхъ авторомъ лицъ атмосферой изображаемой исторической эпохи и дѣлаютъ ихъ живыми людьми, дѣтьми своего вѣка.

Изъ сдѣланныхъ выше критическихъ замѣчаній о мнѣніи Тургенева и Мережковскаго относительно недостатковъ въ изображеніи исторической эпохи въ „Войнѣ и Мірѣ“, видно, насколько несостоятельно это мнѣніе, и какъ поэтому слаба аргументація, стремящаяся обосновать его.

VI.

На ряду съ этимъ, въ русской критикѣ существ другое мнѣніе, ставящее очень высоко разбираемое нами произведеніе Толстого, между прочимъ, потому, что въ немъ нашла себѣ удивительно яркое и полное отраженіе Александровская эпоха со всѣми ея характерными чертами въ жизни высшаго общества того времени. Такъ, проф. О. Миллеръ въ своихъ извѣстныхъ лекціяхъ „Русскіе писатели послѣ Гоголя“ говоритъ, что „по книгѣ гр. Толстого положительно можно-бы выучиться исторіи затронутой имъ поры“, а новѣйшій изслѣдователь художественнаго творчества Л. Толстого пр. Овсянико-Куликовскій находитъ, что „Война и Миръ“ изображаетъ намъ „живьемъ взятыхъ людей того времени“.

Какое-же изъ этихъ двухъ мнѣній является наиболѣе правильнымъ, на чьей сторонѣ истина? Какъ, въ концѣ концовъ, относиться къ „Войнѣ и Миру“, какія есть объективныя основанія для того, чтобы согласиться съ мнѣніемъ О. Миллера и Овсянико-Куликовскаго, признающихъ за этимъ произведеніемъ Л. Толстого большую цѣнность, какъ за правдивой исторической картиной, рисующей жизнь русскаго общества въ началѣ XIX столѣтія?

Единственно правильный способъ отвѣтить на этотъ вопросъ—это прибѣгнуть къ тому пріему, которымъ воспользовался проф. Кирпичниковъ въ своей статьѣ „Московское общество въ изображеніи Грибоѣдова и Л. Толстого“ (см. его „Очерки по исторіи новой русской литературы“). Задавшись цѣлью опредѣлить, насколько вѣрно отразилась историческая дѣйствительность въ романѣ Л. Толстого, онъ, на основаніи обширной литературы ме-

муаровъ, дневниковъ, писемъ и т. п. Александровской эпохи, набрасываетъ картину жизни общества того времени и сопоставляетъ ее съ тѣмъ, что даетъ намъ въ этомъ отношеніи „Война и Миръ“. При такомъ методическомъ пріемѣ устраняется сама собою всякая возможность субъективной точки зрѣнія, ибо изслѣдователю приходится имѣть дѣло съ чисто объективными, фактическими данными. И вотъ къ какому выводу приходитъ проф. Кирпичниковъ, а вмѣстѣ съ нимъ и читатель, ознакомившись съ тѣми матеріалами, которыми пользовался для своей статьи авторъ: „всякій, кто хоть нѣсколько знакомъ съ литературой мемуаровъ того времени и хоть поверхностно слѣдитъ за русскими историческими журналами, постоянно наталкивается на факты, подтверждающіе вѣрность изображенія эпохи въ „Войнѣ и Мирѣ“ и очень часто на факты то крупные, то мелкіе, утилизированные Л. Толстымъ или по преданію, или по документамъ“.

Дѣйствительно никакой историческій трудъ, какъ-бы онъ ни былъ совершененъ, не можетъ намъ замѣнить того, что даетъ геніальное произведеніе Л. Толстого. Историкъ, работающій прозаическимъ методомъ, уже въ силу этого одного не въ состояніи зажечь въ воображеніи читателя той яркой картины эпохи, какую послѣдній безъ труда возсоздаетъ при чтеніи эпопеи Л. Н. Толстого, въ распоряженіи котораго были не только дивныя поэтическія краски его мощнаго художественнаго таланта, но и обширныя, почерпнутыя непосредственно изъ массы первоисточниковъ разнообразныя историческія данныя.

VII.

Но яркимъ воспроизведеніемъ широкой картины жизни высшаго русскаго общества Александровской эпохи далеко не исчерпывается историческое значеніе „Войны и Мира“. На ряду съ этимъ, мы видимъ здѣсь вполнѣ соотвѣтствующее исторической дѣйствительности изображеніе всѣмъ извѣстныхъ историческихъ событій. Передъ глазами читателя проходятъ такіе историческіе моменты, какъ Аустерлицкое сраженіе, свиданіе императора Александра I съ Наполеономъ, Бородинскій бой, занятіе Москвы французами, пожаръ древней столицы Россіи, бѣгство Наполеона и мн. др.

Никто изъ серьезныхъ критиковъ, разбиравшихъ „Войну и Миръ“ съ исторической точки зрѣнія, не указалъ на какіе-либо промахи въ этомъ отношеніи Л. Толстого. Наоборотъ, многіе изъ нихъ, касаясь этой стороны его произведенія, въ одинъ голосъ подтверждаютъ, насколько былъ вѣренъ авторъ и здѣсь исторической правдѣ. Такъ, проф. Кирпичниковъ въ указанной выше статьѣ отмѣчаетъ, что позднѣйшія историческія данныя раскрываютъ передъ нами такіе факты и крупные, и мелкіе, которые, оказывается, были извѣстны Л. Толстому и использованы имъ въ его эпопеѣ. Даже такой пристрастный критикъ, какъ А. Наровъ, переживавшій событія 1812 года и

выступившій съ нападками на Л. Толстого за то, что онъ, будто-бы, оскорбляетъ патріотическое чувство, и тотъ, говоря, напримѣръ, объ изображеніи авторомъ „Войны и Мира“ Бородинской битвы, не могъ не признать, что общіе фазисы ея воспроизведены „прекрасно и вѣрно“.

VIII.

Есть еще одна сторона въ содержаніи „Войны и Мира“, которую нельзя обойти молчаніемъ, при выясненіи историческаго значенія этого произведенія. Это—изображеніе авторомъ цѣлой вереницы историческихъ лицъ, которымъ суждено было сыграть болѣе или менѣе выдающуюся роль въ ходѣ событій русской и западно-европейской исторіи начала XIX столѣтія. Тутъ и императоръ Александръ I, и Наполеонъ Бонапартъ, и цѣлый штатъ лицъ, окружавшихъ этихъ двухъ властителей Европы, какъ ихъ тогда называли нѣкоторые, и различные второстепенные, менѣе замѣтные дѣятели, и совсѣмъ незамѣтные герои Отечественной войны. Мы находимъ въ числѣ ихъ такихъ участниковъ войны 1812 года, какъ Кутузовъ, Багратіонъ, Барклай де-Толи, и такихъ государственныхъ дѣятелей, какъ Сперанскій, Аракчеевъ, не говоря уже о множествѣ менѣе замѣтныхъ лицъ, имена и свѣдѣнія о дѣятельности которыхъ, однако, сохранила исторія. Кромѣ того, въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ авторъ изображаетъ французскаго императора и его войско, хотя и мимолетно, но чрезвычайно выпукло, рельефно очерчены нѣкоторые выдающіеся французскіе генералы, и удивительно схвачена атмосфера, подобострастія и раболѣпства, окружавшая Наполеона.

Для правильной оцѣнки того, насколько соотвѣтствуютъ исторической дѣйствительности изображенныя Л. Толстымъ различныя историческія лица, необходимо различать въ созданныхъ имъ образахъ двѣ стороны: воспроизведеніе въ нихъ тѣхъ поступковъ и дѣяній, которые приписываетъ имъ исторія, и возстановленіе, исходя изъ нихъ, ихъ внутренняго міра и, во-вторыхъ, отношеніе къ нимъ автора.

Мы не станемъ останавливаться на параллели между образами историческихъ дѣятелей, созданными Л. Толстымъ, и изображеніемъ ихъ въ трудахъ выдающихся историковъ,—это заставило-бы насъ сдѣлать значительное уклоненіе въ область исторіи,—скажемъ только, что и здѣсь какъ въ обрисовкѣ эпохи и отдѣльныхъ событій, авторъ обнаружилъ громадное чутье исторической правды, которое вмѣстѣ съ обширными знаніями, касающимися изображаемыхъ дицъ, дало ему возможность остаться вѣрнымъ дѣйствительности. По роману Л. Толстого можно составить себѣ правильное, въ общемъ, понятіе о цѣлой галлереѣ историческихъ дѣятелей времени войны 1812 года.

Наибольшій интересъ въ этой галлереѣ представляютъ для насъ два образа: Кутузовъ и Наполеонъ, какъ двѣ центральныя фигуры Отечествен-

ной войны, съ одной стороны, и съ другой, потому, что какъ въ изображеніи ихъ, такъ и въ отношеніи къ нимъ автора наиболѣе ярко сказались основныя черты его историческаго міровоззрѣнія, проникающаго „Войну и Миръ“. На разборѣ этихъ образовъ мы и остановимся вкратцѣ, обходя молчаніемъ цѣлый рядъ другихъ, менѣе въ этомъ отношеніи любопытныхъ.

IX.

Нѣсколько цитатъ изъ тѣхъ мѣстъ романа, гдѣ идетъ рѣчь о Кутузовѣ, дадутъ намъ возможность въ немногихъ словахъ выяснить образъ этого героя Отечественной войны въ изображеніи Л. Толстого.

Передъ нами роковой моментъ борьбы Россіи съ Наполеономъ—Бородинское сраженіе. Казалось-бы, въ этотъ именно моментъ главнокомандующій и долженъ проявить всю свою энергію, стремясь овладѣть ходомъ битвы, подчинить его выработанному имъ плану. Ничего подобнаго онъ, однако, не дѣлаетъ: „онъ зналъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ нельзя одному человѣку..., и что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго..., а неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этой силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти“. И такимъ образомъ онъ ведетъ себя въ теченіе всей кампаніи, полагая главную свою задачу только въ томъ, чтобы уловить общій духъ войска и руководить имъ. Онъ не вноситъ въ свою дѣятельность главнокомандующаго ничего своего, личнаго. „Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли— это неизбѣжный ходъ событій, и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе и въ виду этого значенія умѣетъ отрекаться отъ участія въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли“.

Такъ опредѣляется словами самого Л. Толстого основные мотивы образа дѣйствій Кутузова въ Отечественную войну, въ лицѣ котораго онъ видитъ идеалъ историческаго дѣятеля и неоднократно выступаетъ на защиту его на страницахъ романа. По справедливому замѣчанію пр. Овсянико-Куликовскаго, такой историческій дѣятель подобенъ мудрому врачу, избѣгающему давать больному различныя лѣкарства или совершать надъ нимъ ненужныя операціи и слѣдящему только за естественнымъ теченіемъ болѣзни, устраняя вредное и не мѣшая полезному. Тотъ-же критикъ видитъ первооснову такого міровоззрѣнія Кутузова въ „фаталистическомъ укладѣ воли, основномъ на преобладаніи пассивности надъ активностью, на слабомъ развитіи духа иниціативы“.

X.

Совсѣмъ инымъ изображенъ Наполеонъ, и совершенно иначе относится къ нему Л. Толстой. Въ противоположность Кутузову, не придающему

никакого значенія своей личной волѣ, Наполеонъ выше всего ставитъ себя, свою личность. „Только то, что происходило въ его душѣ, имѣло интересъ для него. Все, что было внѣ его, не имѣло для него значенія, потому что все въ мірѣ, какъ ему казалось, зависѣло только отъ его воли". Онъ увѣренъ въ томъ, что, чтобы онъ ни говорилъ, „онъ всегда скажетъ хорошо и что нужно сказать"..., для него „въ его убѣжденіи, не существовало возможности ошибокъ; въ его понятіи, все то, что онъ дѣлалъ, было хорошо не потому, что оно сходилось съ представленіемъ того, что хорошо и дурно, но только потому, что *онъ* дѣлалъ это". Такимъ представляется автору Наполеонъ.

Что касается до того, какое чувство вызываетъ у него этотъ образъ, то, по мнѣнію Л. Толстого, „всѣ дѣйствія его (Наполена) очевидно жалки и гадки". Онъ отличается „блестящей и самоувѣренной ограниченностью", „глупостью и подлостью, не имѣющими предѣловъ"; онъ „разбойникъ внѣ закона". Только „ребяческая дерзость и самоувѣренность пріобрѣтаютъ ему славу".

XI.

Стараясь быть возможно болѣе краткими, мы сгруппировали здѣсь разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ романа важнѣйшія замѣчанія Л. Толстого о Кутузовѣ и Наполеонѣ. Мы видѣли, какъ сочувственно относится онъ къ первому и какъ не находитъ словъ для порицанія второго, несмотря на то, что онъ является общепризнаннымъ міровымъ героемъ.

Чѣмъ же объясняется взглядъ Л. Толстого на двухъ главнѣйшихъ дѣятелей войны 1812 года? Отвѣта на этотъ вопросъ нужно искать въ двухъ направленіяхъ: въ общемъ взглядѣ автора на историческій процессъ и, съ другой стороны, въ его сочувствіи укладу національной русской психики, яркое выраженіе которой онъ видѣлъ, между прочимъ, въ Кутузовѣ и полное противорѣчіе ей—въ Наполеонѣ. Мы подошли, такимъ образомъ, къ центральнымъ идеямъ Л. Толстого, положеннымъ имъ въ основу „Войны и Мира".

Посмотримъ, что это за идеи и какъ и въ чемъ проявляются онѣ въ романѣ.

XII.

Читая страницу за страницей „Войну и Миръ", читатель, по мѣрѣ того, какъ разсказъ автора все болѣе и болѣе захватываетъ событія Отечественной войны, начинаетъ замѣчать новый элементъ въ романѣ—историко-философскія разсужденія автора. Разсужденія эти, въ началѣ какъ бы мимолетныя, занимающія всего нѣсколько строкъ, по мѣрѣ развитія хода исто-

рическихъ событій встрѣчаются все чаще, занимаютъ все болѣе и болѣе мѣста, особенно въ послѣднемъ, четвертомъ томѣ. Чувствуется, что Л. Толстой придаетъ имъ въ своемъ повѣствованіи первенствующее значеніе, что они особенно цѣнны и дороги для него. Въ концѣ концовъ, они окончательно завладѣваютъ мыслью автора, въ чемъ не трудно убѣдиться изъ того, что вся послѣдняя часть эпилога „Войны и Мира“ посвящена исключительно имъ. [1])

Остановимся на краткой характеристикѣ этихъ разсужденій и общей ихъ оцѣнкѣ.

Они, прежде всего, представляются чрезвычайно необработанными. Когда ихъ перечитываешь, невольно приходитъ въ голову мысль о томъ, что это не болѣе, какъ черновые наброски мыслей въ періодъ ихъ возникновенія, безъ точной формулировки, не приведенные въ стройную систему, неоднократно въ частностяхъ противорѣчащіе другъ другу. Одни и тѣ-же

1) Нельзя не признать, что съ точки зрѣнія художественной цѣльности произведенія эти историко-философскія разсужденія являются неумѣстными и въ значительной степени портятъ то глубокое эстетическое впечатлѣніе, которое создается при чтеніи поэтическаго повѣствованія автора. Вотъ почему многіе критики прямо высказывали пожеланіе, чтобы Л. Толстой выдѣлилъ въ отдѣльный трактатъ все, что такъ или иначе относится къ области философіи исторіи, справедливо полагая, что романъ отъ этого только выиграетъ. Совершенно иначе, однако, смотритъ на это пр. Овсянико-Куликовскій, находящій, что теоретическія разсужденія автора на историческія темы не только ничего не портятъ, но являются необходимымъ завершеніемъ „Войны и Мира“. Пр. Овсянико-Куликовскій основываетъ свое утвержденіе на томъ общемъ положеніи, что „всякаго рода размышленія и теоріи, возникающія въ умѣ художника, если только они искренни и органически связаны съ самымъ процессомъ творчества, а не насильно къ нему притянуты, никогда не могутъ вредить дѣлу“.

Но что разумѣть подъ органической связью съ процессомъ творчества теоретическихъ размышленій автора? Единственно только претвореніе этихъ размышленій въ художественные образы, что мы и видимъ въ данномъ случаѣ на примѣрахъ Наполеона, Кутузова и общей концепціи созданныхъ авторомъ картинъ историческихъ событій. Если-же понимать высказанное пр. Овсянико-Куликовскимъ положеніе въ томъ смыслѣ, что авторъ можетъ вводить, безъ всякой художественной переработки, все, „что душу волнуетъ и мучитъ“ въ связи съ творческимъ процессомъ, то это, въ концѣ концовъ, можетъ привести къ совершенно антихудожественному загроможденію поэтическаго произведенія философскими размышленіями автора, хотя и стоящими въ неразрывной связи съ его творческими образами, но, тѣмъ не менѣе, своимъ прозаическимъ характеромъ вносящими рѣзкую дисгармонію въ общее направленіе работы ума, воображенія и чувства писателя. Такимъ образомъ, согласиться съ мнѣніемъ пр. Овсянико-Куликовскаго представляется намъ совершенно невозможнымъ, и мы думаемъ, что романъ Л. Толстого значительно выигралъ-бы въ своей стройности, если-бы въ немъ не было многочисленныхъ и однообразныхъ разсужденій на историко-философскія темы.

слова употребляются порою въ совершенно различномъ смыслѣ, рискованныя положенія высказываются безапелляціонно, какъ всѣмъ извѣстныя, неопровержимыя истины, тогда какъ тщательно обставляются доказательствами тѣ мысли, въ справедливости которыхъ едва-ли станетъ сомнѣваться читатель и т. п.

Другой непріятно дѣйствующей на читателя особенностью этихъ разсужденій являются рѣзкія полемическія выходки противъ ученыхъ историковъ. Придя, путемъ непосредственнаго изученія обширнаго историческаго матеріала, къ опредѣленнымъ историко-философскимъ выводамъ и будучи въ то-же время очень мало знакомъ съ научной литературой по философіи исторіи, Л. Толстой, тѣмъ не менѣе, много разъ вступаетъ въ полемику съ историками. Эта полемика, занимающая не мало мѣста въ разсужденіяхъ Толстого, поражаетъ своею необоснованностью. По его словамъ, „всѣ описанія общихъ историковъ составлены изъ послѣдовательнаго ряда противорѣчій", объясненія ихъ „могутъ годиться только для дѣтей въ самомъ нѣжномъ возрастѣ"; выраженія „историки съ наивной увѣренностью говорятъ", „историки въ простотѣ душевной признаютъ" обычны у Толстого, когда онъ приводитъ чье-либо мнѣніе о томъ или иномъ событіи. Сплошь и рядомъ, исторической наукѣ приписываются, какъ нѣчто вполнѣ принятое ею, такія мнѣнія, которыя какъ разъ противоположны тому, что въ ней признается истиной, и т. п.

Всѣ эти критическія выступленія противъ исторической науки, основанныя на недостаточномъ и одностороннемъ знакомствѣ автора съ нею, равно какъ и указанная выше необработанность всѣхъ разсужденій на историко-философскія темы, до нѣкоторой степени, затрудняетъ отчетливую формулировку основныхъ его положеній. Тѣмъ не менѣе, послѣ нѣкоторыхъ усилій мысли, не трудно подмѣтить въ историческихъ разсужденіяхъ Л. Толстого то, что является въ нихъ основной, центральной частью.

XIII.

Л. Толстого занимаетъ вопросъ о томъ, „какая сила движетъ народами"; это и есть главный вопросъ его исторической философіи.

Отвѣчая на него, Л. Толстой, прежде всего, отрицаетъ какую-бы то ни было активную роль за отдѣльными, хотя-бы и выдающимися лицами. Вотъ одно изъ многочисленныхъ мѣстъ романа, сжато и опредѣленно выражающее его взглядъ въ этомъ отношеніи. „Ходъ міровыхъ событій зависитъ отъ совпаденія произволовъ всѣхъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ... Всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякій Наполеонъ, и историческія изслѣдованія обильно под-

твержданотъ это предположеніе". Или въ другомъ мѣстѣ: „въ историческихъ событіяхъ такъ называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе наименованіе событію". Въ частности, относительно роли полководцевъ въ военномъ дѣлѣ онъ высказывается въ томъ смыслѣ, что они не играютъ никакой роли въ побѣдѣ или пораженіи, ибо послѣднія зависятъ отъ „духа войска", „т. е. большаго или меньшаго желанія драться и подвергать себя опасностямъ людей, составляющихъ войско". „Движеніе народовъ, по его мнѣнію, производятъ не власть, не умственная дѣятельность, даже не соединеніе того и другого, какъ то думали историки, а дѣятельность *всѣхъ* людей, принимающихъ участіе въ событіи".

Великій, съ точки зрѣнія человѣчества, міровой дѣятель, въ сущности говоря, самъ по себѣ не играетъ никакой роли въ ходѣ историческихъ событій, ибо ни онъ, ни другой кто изъ людей не располагаютъ свободной волей. „Если воля каждаго человѣка была свободна, т. е. каждый могъ поступить такъ, какъ ему захотѣлось, то вся исторія есть рядъ безсвязныхъ случайностей. Если даже одинъ человѣкъ изъ милліоновъ въ тысячелѣтній періодъ времени имѣлъ возможность поступить свободно..., то очевидно, что одинъ свободный поступокъ этого человѣка, противный законамъ, уничтожаетъ возможность существованія какихъ-бы то ни было законовъ для всего человѣчества".

Такимъ образомъ, дѣйствія историческихъ лицъ, какъ и всякаго вообще человѣка, являются „непроизвольными", подчиненными стоящей внѣ ихъ силѣ и при томъ заранѣе предопредѣленными. „Каждое дѣйствіе ихъ, кажущееся имъ произвольнымъ для самихъ себя, въ историческомъ смыслѣ непроизвольно, а находится въ связи со всѣмъ ходомъ исторіи и опредѣлено предвѣчно".

XIV.

Признаніе непроизвольности человѣческихъ поступковъ не только въ томъ смыслѣ, что все имѣетъ достаточныя основанія, и нѣтъ дѣйствія безъ причины, но и въ смыслѣ непредотвратимости ихъ,—чему быть, того не миновать,—есть не что иное, какъ фатализмъ, характерной чертой котораго служитъ убѣжденіе въ томъ, что отдѣльная личность совершенно безсильна бороться въ той или другой формѣ со стихійной движеніемъ жизни.

Эта идея историческаго фатализма наиболѣе ярко проявляется у Л. Толстого, когда онъ объясняетъ общій ходъ историческихъ событій, центромъ которыхъ былъ Наполеонъ.

Основной смыслъ этихъ событій, по его представленію, заключается въ таинственномъ, загадочномъ, необъяснимомъ, но предопредѣленномъ судь-

бою „воинственномъ движеніи массъ европейскихъ народовъ съ запада на востокъ и потомъ съ востока на западъ". Чтобы исполнилось это предопредѣленіе, „человѣкъ безъ убѣжденій, безъ привычекъ, безъ преданій, безъ имени, даже не французъ, самыми, кажется, странными случайностями... выносится на замѣтное мѣсто"... „Онъ нуженъ для того мѣста, которое ожидаетъ его". Все окружающее готовитъ его къ тому, чтобы онъ сталъ во главѣ этого движенія съ запада на востокъ и выполнилъ, такимъ образомъ, предначертаніе судьбы. Но вотъ достигнутъ конечный пунктъ цѣли—Москва, и потому должно начаться обратное дѣйствіе. И дѣйствительно, хотя дѣло Россіи, повидимому, проиграно, „совершается противодвиженіе съ востока на западъ съ замѣчательнымъ сходствомъ съ предшествовавшимъ движеніемъ съ запада на востокъ". Достигается крайняя точка этого обратнаго движенія—Парижъ, совершается послѣдній отплескъ движенія съ запада—стодневное царствованіе Наполеона и „послѣдняя роль сыграна, актеру велѣно раздѣться и смыть сурьму и румяны: онъ больше не понадобится", и Наполеонъ заточенъ на островъ св. Елены.

Такова въ сжатомъ, краткомъ изложеніи историко-философская теорія Л. Толстого, пространно развиваемая имъ въ „Войнѣ и Мирѣ".

XV.

Русскіе критики, занимавшіеся разборомъ романа-эпопеи Толстого, почти всѣ отнеслись болѣе или менѣе отрицательно къ проводимымъ здѣсь идеямъ философіи исторіи. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ, кажется, одинъ только Страховъ, ставящій очень высоко историко-философскія разсужденія Л. Толстого и находящій, что если-бы онъ выпустилъ ихъ отдѣльной книгой, то это было-бы одно изъ тѣхъ немногихъ сочиненій, которыя вполнѣ заслуживаютъ названія философскихъ. Однако Страховъ не приводитъ ни одного соображенія въ подтвержденіе своего мнѣнія, и оно является совершенно необоснованнымъ.

Вполнѣ безпристрастную и всестороннюю оцѣнку нашли себѣ историко-философскіе взгляды Л. Толстого въ статьѣ пр. Н. И. Карѣева: Историческая философія въ „Войнѣ и Мирѣ" (см. В. Е. 1887 г., а также его книгу; „Историко-философскіе и соціологическіе этюды", изд. 2-е). Пр. Карѣевъ очень удачно, на цѣломъ рядѣ примѣровъ, выясняетъ отмѣченные нами выше недостатки этой стороны романа Л. Толстого и подвергаетъ обстоятельному анализу его основныя положенія, касающіяся области исторіи.

Какъ на одинъ изъ крупныхъ недочетовъ историко-философскихъ построеній Л. Толстого, пр. Карѣевъ указываетъ на то, что онъ, признавая силой, творящей исторію, дѣятельность всѣхъ людей, принимающихъ участіе

въ событіи, не выясняетъ, равны-ли количественно и качественно отдѣльныя слагаемыя, образующія эту совокупную дѣятельность. „Онъ, говоритъ пр. Карѣевъ, то игнорируетъ равновеликость силъ, участвующихъ въ исторіи, то становится на точку зрѣнія противоположную". Такъ, говоря о причинахъ войны въ 1812 г., Л. Толстой пишетъ: „Такой же причиной, какъ отказъ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назадъ герцогство Ольденбургское, представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу". Другими словами, здѣсь Л. Толстой ставитъ на одну доску, считаетъ совершенно равноцѣнными въ ходѣ исторіи дѣятельность Наполеона и—капрала его арміи. А нѣсколькими строками ниже мы читаемъ: „ежели-бы Наполеонъ не оскорбился требованіемъ отступить за Вислу и не велѣлъ наступать войскамъ, не было-бы войны; но ежели-бы всѣ сержанты не желали поступать на вторичную службу, тоже войны не могло-бы быть", т. е. здѣсь одно слагаемое считается равнымъ массѣ другихъ. Между тѣмъ, если признать, что „сумма людскихъ произволовъ", дѣлающая событія, состоитъ изъ далеко не равныхъ слагаемыхъ, „можно было-бы создать цѣлую классификацію индивидуумовъ по ихъ активному отношенію къ исторической жизни", иначе говоря, роль личности въ исторіи совсѣмъ не обезцѣнивается такъ, какъ это хотѣлъ доказать Л. Толстой.

Точка зрѣнія историческаго фатализма, на которую въ конечномъ выводѣ становится Л. Толстой, лишаетъ его возможности уразумѣть смыслъ исторической жизни. „Передъ его глазами, говоритъ проф. Карѣевъ, раскрывается одно внѣшнѣе движеніе, одни событія, одна прагматическая сторона исторіи, но внутренее содержаніе историческаго движенія, постоянную перестройку историческихъ формъ, постоянную постановку и постоянное рѣшеніе общественныхъ вопросовъ гр. Толстой совсѣмъ не воспринимаетъ, какъ слѣпой, чувствующій только солнечный жаръ знойнаго дня, но не видящій блеска и свѣта солнца". Въ общемъ, проф. Карѣевъ выноситъ суровый приговоръ историческимъ разсужденіямъ нашего автора, упрекаетъ его въ недостаточномъ знакомствѣ съ тѣмъ, что дѣлается въ исторической наукѣ, считаетъ даже вслѣдствіе этого, а также вслѣдствіе отрывочнаго и малообработаннаго изложенія невозможнымъ приложить къ его историко-философскимъ построеніямъ строго научную критику.

XVI.

Мы разсмотрѣли то историко-философское міровоззрѣніе Л. Толстого, съ точки зрѣнія котораго онъ оцѣниваетъ личность Наполеона и Кутузова. Спрашивается, какимъ путемъ и почему авторъ „Войны и Мира" пришелъ къ ученію историческаго фатализма.

Несомнѣнно, въ душевномъ складѣ Л. Толстого были черты, обусловившія работу его мысли именно въ этомъ направленіи. Это—его безсознательное, чисто органическое сочувствіе къ укладу національной русской психологіи, объясняемое, прежде всего, тѣмъ, что онъ носитъ въ своей душѣ черты этой психологіи. Отрицательное отношеніе къ Наполеону, сочувствіе къ Кутузову, наконецъ, созданіе такого любопытнѣйшаго образа, какъ Каратаевъ, находитъ себѣ объясненіе именно въ этомъ обстоятельствѣ.

Въ виду этого намъ необходимо остановится на вопросѣ о національной русской психологіи и выяснить, гдѣ и въ чемъ она нашла себѣ выраженіе въ „Войнѣ и Мирѣ".

XVII.

Цѣлый рядъ болѣе или менѣе однородныхъ условій географическихъ, историческихъ и соціально-экономическихъ, вліяющихъ на извѣстную націю въ теченіе продолжительнаго времени, въ концѣ концовъ, оставляютъ свой слѣдъ въ душевномъ складѣ отдѣльныхъ личностей, образующихъ націю. Такимъ образомъ, въ характерѣ людей, принадлежащихъ одной національности, возникаютъ нѣкоторыя общія черты, становящіяся тѣмъ болѣе глубокими, чѣмъ сильнѣе взаимное общеніе и вліяніе другъ на друга отдѣльныхъ единицъ, входящихъ въ составъ націи. Эти черты, въ своей совокупности, и образуютъ то, что принято называть національной психологіей, національными чертами характера, душевнымъ укладомъ націи и т. п.

Глубоко залегаетъ въ душу каждаго человѣка, если только онъ не оторванъ вовсе отъ своего народа, укладъ національной психологіи. Онъ незамѣтно, какъ воздухъ, окутываетъ человѣка съ момента его рожденія, въ первые-же годы жизни мощно впитывается въ его психику, растетъ и зрѣетъ вмѣстѣ съ ней. Въ періодъ юности и зрѣлаго возраста онъ органически-неразрывно срастается съ общимъ строемъ душевнаго міра отдѣльной личности.

Не подвергая себя глубокому самоанализу, мы не чувствуемъ въ себѣ присутствія чертъ душевнаго уклада націи, мы не замѣчаемъ ихъ и остаемся къ нимъ равнодушными, какъ будто-бы не дорожимъ ими не любимъ ихъ. Такъ, намъ кажется, что мы равнодушно относимся къ какому-либо члену нашего тѣла, но попробуйте отнять его! То-же и съ чертами національной психологіи, которая находитъ себѣ яркое выраженіе въ языкѣ, обычаяхъ, формахъ быта и т. п.

Она громко заговариваетъ въ человѣкѣ, когда націи грозитъ опасность, благодаря которой подвергается сомнѣнію существованіе тѣхъ сторонъ жизни, которыя являются выразителями національнаго душевнаго уклада. Тогда, справедливо замѣчаетъ проф. Овсянико-Куликовскій, національная личность

человѣка „сейчасъ-же настораживается, становится крайне щепетильной, обидчивой и, естественно, переходитъ въ крайность самовозвеличенія, культа себя самой". Прямымъ слѣдствіемъ этого является болѣе интенсивное проявленіе въ отдѣльныхъ личностяхъ чертъ національнаго духа. Самыя эти черты, какъ это вѣрно подмѣчено тѣмъ-же авторомъ, въ такихъ случаяхъ порою становятся объектомъ культа, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и тѣ личности, въ которыхъ онѣ наиболѣе ярко проявляются, обращаются въ предметъ особеннаго вниманія, расположенія, любви, возвеличенія, наконецъ.

Именно этотъ процессъ можно наблюдать, обращаясь къ исторіи русской національной психологіи въ Отечественную войну.

XVIII.

Многовѣковая исторія русскаго народа, въ связи съ другими факторами, какъ, напримѣръ, географическія вліянія, въ широкомъ смыслѣ этого слова, выработала особыя черты нашего національнаго облика. Удачнѣе другихъ, на нашъ взглядъ, черты эти опредѣляетъ проф. Овсянико-Куликовскій въ своей монографіи о Л. Толстомъ, въ тѣхъ главахъ ея, гдѣ онъ говоритъ о Кутузовѣ и Каратаевѣ.

Наиболѣе характерными особенностями нашего національнаго уклада духа, по его мнѣнію, является инстинктъ общественности, умѣренный фатализмъ, нашедшій себѣ выраженіе въ извѣстной пословицѣ: чему быть, того не миновать, и вытекающее отсюда смиреніе, нѣсколько чрезмѣрный оптимизмъ (знаменитое „авось"), простота, въ смыслѣ отсутствія излишней аффектаціи, приподнятости какъ въ процессѣ мышленія, такъ и въ области чувствъ и волевыхъ дѣйствій, наконецъ, обусловливающая эту простоту правдивость, искренность, то, что Л. Толстой называетъ въ Каратаевѣ „духомъ простоты и правды".

XIX.

Эти-то особенности національнаго облика русскаго народа и были въ высшей степени присущи, по мнѣнію Л. Толстого, Кутузову. Являясь живымъ олицетвореніемъ народнаго духа въ его основныхъ свойствахъ, какъ-бы объединяя въ своей личности коллективную душу націи, онъ могъ, какъ никто, разгадать и самый смыслъ Отечественной войны и отношеніе къ ней народа и умѣло руководить имъ. „Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся явленій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его", говоритъ Л. Толстой о Кутузовѣ. Иначе говоря, все величіе Кутузова заключается

въ томъ, что онъ явился воплощеніемъ національнаго характера русскаго народа.

Уже ранѣе, при разборѣ „Утра помѣщика“, „Казаковъ“ и „Севастопольскихъ разсказовъ“, мы видѣли, какъ все сильнѣе и сильнѣе проявлялись у Л. Толстого вначалѣ просто тяготѣніе, а потомъ и глубокая симпатія къ душевному складу простого народа. Этимъ все усиливавшимся расположеніемъ Л. Толстого къ національнымъ свойствамъ русскаго человѣка и объясняется та глубокая симпатія его къ Кутузову, какъ носителю этихъ свойствъ, которой окутанъ этотъ образъ въ „Войнѣ и Мирѣ“.

Но давнее инстинктивное влеченіе Л. Толстого къ исконнымъ свойствамъ русскаго духа настолько сильно жило въ немъ, что у него явилась потребность возсоздать эти свойства не только въ лицѣ Кутузова, но и въ болѣе чистомъ, яркомъ видѣ, въ лицѣ представителя той среды, которая наиболѣе полно воплощаетъ ихъ, въ образѣ русскаго крестьянина Каратаева. Таковы, повидимому, тѣ скрытые мотивы, которые привели Л. Толстого, съ одной стороны, къ возвеличенію Кутузова и, съ другой—къ созданію замѣчательнѣйшаго въ русской литературѣ художественнаго синтеза отличительныхъ свойствъ нашего національнаго душевнаго уклада—въ лицѣ Каратаева.

XX

Намъ предстоитъ теперь остановиться на анализѣ этого второстепеннаго, эпизодическаго образа, если судить по мѣсту, отведенному ему въ романѣ, но въ сущности, какъ это должно быть ясно изъ сказаннаго выше, имѣющаго въ глазахъ автора громадное значеніе.

При созданіи образа Каратаева передъ писателемъ стояла задача огромной трудности, выполняя которую легко было впасть въ нѣкотораго рода преувеличеніе, національное самовосхваленіе, фальшивую идеализацію; наконецъ, стремленіе объединить въ одномъ образѣ основныя, чисто стихійныя черты національнаго духа могло привести къ механическому ихъ соединенію, дающему въ результатѣ нѣчто неправдоподобное и антихудожественное. Но авторъ счастливо избѣжалъ этихъ грозящихъ ему опасностей и создалъ въ лицѣ Каратаева дѣйствительно живое лицо, чуждое какой-бы то ни было фальши.

Вѣрное художественное чутье подсказало, прежде всего, Л. Толстому, что лицо, воплощающее въ себѣ особенности національнаго русскаго духа, естественнѣе всего, должно принадлежать къ народно-крестьянской средѣ, той средѣ, которая вѣками сохранила исконныя бытовыя формы нашей національной жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ, вычеканила и черты національной психологіи въ ихъ наиболѣе яркой, нетронутой формѣ. И дѣйствительно,

хотя Каратаевъ большую часть своей жизни (ему за 50 лѣтъ) провелъ въ тяжелой военной службѣ, солдатчина не смогла уничтожить чисто-крестьянскаго уклада его психологіи. Онъ избѣгалъ разсказовъ о своей солдатской жизни, предпочитая черпать матеріалъ для бесѣды „изъ своихъ старыхъ и, видимо, дорогихъ ему воспоминаній «христіанскаго», какъ онъ выговаривалъ крестьянскаго быта". Многолѣтняя военная служба настолько мало отразилась на его внутреннемъ мірѣ, что его рѣчь совершенно была чужда боіїкихъ солдатскихъ поговорокъ, а, наоборотъ, пестрила народными изреченіями, „которыя кажутся столь незначительными, взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати". Нѣтъ поэтому ничего необычайнаго въ томъ, что, попавши въ плѣнъ и тѣмъ самымъ выйдя изъ колеи чуждой ему по духу солдатской жизни, „онъ, видимо, отбросилъ отъ себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому народному складу".

Можетъ, однако, невольно возникнуть вопросъ: если Л. Толстому нужно было, въ интересахъ художественной правды, сдѣлать Каратаева крестьяниномъ, то къ чему, въ такомъ случаѣ, онъ заставилъ его пройти долголѣтнюю солдатскую службу, какой смыслъ имѣетъ эта подробность въ біографіи Каратаева? Намъ думается, что и въ этомъ случаѣ авторъ руководился совершенно вѣрнымъ расчетомъ. Тяжелый гнетъ прежней солдатчины, хочетъ сказать этимъ Л. Толстой, ни на іоту не поколебалъ въ Каратаевѣ его національнаго уклада духа, воспринятаго имъ въ пору его вольной земледѣльческой жизни и органически съ нимъ сросшагося. Отсюда должно быть яснымъ, какъ глубоко залегаютъ въ душу русскаго человѣка черты его національной психологіи, какъ прочны и устойчивы онѣ.

Посмотримъ же какъ проявляются эти черты въ образѣ Платона Каратаева.

XXI.

Тѣ немногія страницы (въ общемъ, менѣе 15-ти, въ четвертомъ томѣ „Войны и Мира"), на которыхъ выступаетъ передъ нами Каратаевъ, даютъ двоякаго рода матеріалъ для сужденія о его личности: это—личныя впечатлѣнія отъ него Пьера и, затѣмъ, чисто объективное повѣствованіе о немъ автора, дающее непосредственно читателю матеріалъ для сужденія о немъ.

Прежде чѣмъ дать свою объективную характеристику Каратаева, авторъ искусно располагаетъ въ его пользу читателя, показывая, какъ обаятельно дѣйствуетъ личность Каратаева на Пьера. Чтобы для читателя тѣмъ

яснѣе стала сила этого обаянія, ему, очевидно, нужно было поставить для этого Пьера въ наиболѣе неблагопріятныя, въ смыслѣ психическаго воспріятія, условія. Толстой такъ и поступаетъ. Пьеръ только что былъ свидѣтелемъ безсмысленнаго, жестокаго растрѣла ни въ чемъ неповинныхъ русскихъ людей, попавшихся въ руки французамъ. Эта ужасная сцена, съ поразительной художественной простотой и силой описанная Л. Толстымъ, повліяла на его душевный міръ сильнѣе, чѣмъ всѣ пережитыя имъ до сихъ поръ несчастья. „Въ немъ, хотя онъ и не отдавалъ себѣ отчета, уничтожилась вѣра и въ благоустройство міра, и въ человѣческую, и въ свою душу, и въ Бога... Міръ завалился въ его глазахъ, и остались однѣ безсмысленныя развалины. Онъ чувствовалъ, что возвратиться къ вѣрѣ въ жизнь,—не въ его власти". Такими словами характеризуетъ авторъ мрачную бездну, открывшуюся въ душевномъ мірѣ Пьера.

И вотъ именно въ этотъ моментъ духовнаго омертвленія Пьеръ сталкивается впервые съ Каратаевымъ. Происходитъ нѣчто совершенно неожиданное и для Пьера, и для читателя. Мимолетная бесѣда съ простымъ солдатикомъ воскрешаетъ духовно Пьера, и онъ „чувствовалъ, что прежде разрушенный міръ теперь съ новой красотой, на какихъ-то новыхъ и незыблемыхъ основахъ двигался въ его душѣ".

Чтобы объяснить себѣ это возрожденіе, необходимо всмотрѣться въ образъ Каратаева, какимъ онъ представляется Безухому.

Авторъ, прежде всего, отмѣчаетъ во впечатлѣніи Пьера отъ Каратаева „что-то пріятное, успокоительное, круглое", впечатлѣніе благообразія, простоты. Для характеристики этого общаго неопредѣленнаго, но могучаго впечатлѣнія Л. Толстой употребляетъ нѣсколько разъ слово „круглое". Эта сама по себѣ вѣрная метафора является, однако, столь необычной для нашего художественнаго языка, что ставитъ въ нѣкоторое затрудненіе читателя. Однако, если отнестись вдумчиво къ образу Каратаева, какъ онъ представляется Пьеру и автору, станетъ яснымъ, что это столь настойчиво отмѣчаемое авторомъ впечатлѣніе „круглаго" есть не что иное, какъ цѣльность натуры Каратаева, которой такъ недостаетъ Пьеру, и которая должна быть основновной чертой человѣка, въ которомъ гармонически воплотились національныя его свойства.

Тутъ-же въ, этомъ первомъ знакомствѣ Пьера съ Каратаевымъ, выступаетъ и другая, въ высокой степени, характерная его черта, которая не разъ отмѣчалась нашими писателями, какъ одно изъ коренныхъ, хотя порою и глубоко сокрытыхъ свойствъ русскаго народа. Это, что мы назвали выше инстинктомъ общественности, и что Достоевскій, имѣя въ виду могущественное развитіе этого свойства у Пушкина, называетъ всечеловѣчностью и считаетъ явленіемъ пророческимъ, ибо онъ былъ исполненъ вѣры, что именно

русскому народу суждено развить до полнаго расцвѣта коренящуюся въ его національной психологіи идею всеобщаго братства народовъ.

У Каратаева эта черта проявляется въ его любовномъ отношеніи ко всякому человѣку, независимо отъ того, кто онъ, даже вообще къ живому существу. Вспомнимъ хотя-бы то выраженіе ласки и сердечнаго участія въ его вопросахъ къ Пьеру, которое такъ глубоко тронуло его, что вызвало слезы въ его омертвѣвшей думѣ. Но черезъ нѣсколько минутъ онъ „тѣмъ-же ласковымъ голосомъ“ обращается къ приблудившейся въ балаганъ плѣнныхъ собакѣ, а въ дальнѣйшемъ разговорѣ какъ бы объясняетъ намъ свое отношеніе къ ней замѣчая, что „и скота жалѣть надо“. Или взять хотя-бы его отношеніе къ французамъ, чуждое какой бы то ни было злобы („живемъ тутъ, слава Богу, обиды нѣтъ! Тоже люди и худые и добрые есть“). Дѣлая общую характеристику этой стороны личности Каратаева, Л. Толстой говоритъ о немъ: „Привязанностей онъ не имѣлъ никакихъ; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера... Но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему, ни на минуту не огорчилася-бы разлукой съ нимъ“.

Уже это отсутствіе личныхъ привязанностей свидѣтельствуетъ о томъ, что у него, въ сущности говоря, нѣтъ индивидуальной жизни. Л. Толстой, однако, находитъ нужнымъ особенно подчеркнуть эту особенность Каратаева. Онъ говоритъ: „Жизнь его (Каратаева), какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только, какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ“. Цѣлое это и есть та общая умственная и моральная атмосфера національнаго духа, которой, вмѣстѣ съ другими, дышитъ Каратаевъ, и которой онъ проникнутъ въ самыхъ сокровенныхъ глубинахъ своего существа.

Это неразрывное, органическое сліяніе его съ коллективной мыслью и чувствомъ народа особенно сильно сказывается въ его рѣчи: „его слова и дѣйствія выливались изъ него такъ-же равномѣрно, необходимо и непосредственно, какъ запахъ отдѣляется отъ цвѣтка“. Онъ никогда не думалъ о томъ, что онъ сказалъ или скажетъ, его рѣчь лила сь какъ то сама собой, какъ будто помимо его сознанія, слова „какъ будто всега были готовы во рту его и нечаянно вылетали“, онъ не можгъ повторить того, что только что сказалъ. Его рѣчь состоитъ, по большей части, изъ разнообразныхъ изреченій народной мудрости.

Неоднократно также даетъ авторъ почувствовать читателю духъ простоты и правды, которымъ преисполненъ Каратаевъ. Эта черта оттѣняется

въ немъ, такъ сказать, отраженнымъ способомъ,—о ней говоритъ намъ, главнымъ образомъ, впечатлѣніе отъ Каратаева Пьера, чувству котораго однако, не можетъ не довѣрять читатель, ибо оно, въ концѣ концовъ, какъ нельзя болѣе гармонируетъ съ тѣмъ образомъ, который остается и въ воображеніи читателя.

Отмѣчены также въ Каратаевѣ и еще двѣ основныя черты русскаго національнаго уклада, хотя онѣ и не выступаютъ такъ рельефно, какъ тѣ, о которыхъ мы только что говорили. Это—оттѣнокъ фатализма (напр., его замѣчаніе: „рокъ головы ищетъ. А мы всегда судимъ: то не хорошо, то не ладно“), а также оптимистическая складка его міросозерцанія (приведенное выше замѣчаніе о томъ, что молъ, и въ плѣну живется, слава Богу, и особенно разсказъ о томъ, почему онъ попалъ въ салдаты, и какъ все это, въ концѣ концовъ, привело къ добру, а также его неизмѣнно бодрое, неунывающее настроеніе духа [1]).

XXII.

Мы закончили разсмотрѣніе двухъ родственныхъ по своему духу художественныхъ образовъ „Войны и Мира“. Хотя одинъ, по замыслу автора, простой солдатъ, а другой находится на самой высокой ступени военной іерархіи, они чрезвычайно близки другъ другу. Одинъ взятъ авторомъ изъ исторической дѣйствительности, другой есть плодъ его непосредственнаго художественнаго исканія но оба они воплощаютъ въ себѣ коренныя черты русскаго народнаго духа, какимъ онъ представляется Л. Толстому и какимъ онъ является въ дѣйствительности.

Своимъ могучимъ художественнымъ прозрѣніемъ Л. Толстой проникъ въ самую глубь народной психологіи и, узрѣвъ сокровенные тайники народнаго духа, преклонился передъ ихъ нравственною чистотою и совершенствомъ. Какъ никто изъ русскихъ писателей, сумѣлъ онъ создать единственный, въ своемъ родѣ, художественный образъ русскаго человѣка, въ которомъ гармонически объединились основныя свойства нашего національнаго уклада. Платонъ Каратаевъ и Кутузовъ, въ изображеніи Л. Толстого, навсегда останутся въ нашей литературѣ наиболѣе яркимъ и правдивымъ

---

[1]) Нѣкоторыми изъ критиковъ въ образѣ Каратаева отмѣчается еще одна черта, давно признанная характерной національной особенностью русскаго народа. Это—смиреніе. Несомнѣнно, это національное русское свойство очень ярко сказывается въ Каратаевѣ, но оно есть результатъ двухъ другихъ простѣйшихъ психическихъ элементовъ: умѣреннаго фактализма и такого-же оптализма. Вотъ почему мы не останавливались на ней, обрысовывая основныя черты Каратаева, явившіяся отраженіемъ національнаго нашего психологическаго уклада.

выраженіемъ духовнаго облика русскаго народа,—и въ этомъ громадное значеніе этихъ образовъ для всякаго, кто пожелаетъ ознакомиться съ коренными чертами русскаго человѣка.

То, какъ относится авторъ къ Кутузову и Каратаеву, ясно показываетъ намъ, насколько близки и дороги ему олицетворенныя въ нихъ черты національной русской психологіи. Въ высшей степени знаменательнымъ представляется намъ то обстоятельство, что мятущійся духъ Пьера Безухаго нашелъ своего спасителя въ лицѣ Каратаева: Л. Толстой этимъ какъ-бы предсказалъ для себя выходъ изъ постигшаго его въ ближайшіе годы послѣ созданія „Войны и Мира“ душевнаго кризиса, о которомъ онъ подробно разсказываетъ въ своей „Исповѣди“, и отъ котораго онъ нашелъ спасеніе въ нѣдрахъ народнаго духа. Да и позднѣйшее религіозно-философское ученіе Л. Толстого включаетъ въ себя все ту-же „каратаевщину“, которая давно коренилась въ душѣ автора „Войны и Мира“,—не даромъ онъ первый и пока единственный изъ русскихъ писателей вывелъ ее на „всенародныя очи“. Отсюда ясно, насколько національненъ Л. Толстой въ своемъ художественномъ творчествѣ.

XXIII.

Въ длинной галлереѣ, дѣйствующихъ лицъ „Войны и Мира“, самыхъ разнообразныхъ, какъ по своему общественному положенію, такъ и по характеру, наиболѣе останавливаютъ на себѣ преимущественное вниманіе читателя два: это Андрей Болконскій и Пьеръ Безухій. Оба они, являясь, до нѣкоторой степени, центральными фигурами „Войны и Мира“,—ибо авторъ отводитъ имъ болѣе, чѣмъ кому-либо другому, мѣста въ своемъ произведеніи и особенно глубоко вскрываетъ ихъ внутреній міръ,—представляютъ для читателя интересъ въ двухъ отношеніяхъ: какъ характерные представители своей эпохи и, съ другой стороны, какъ общечеловѣческіе образы.

Остановимся сначала на князѣ Андреѣ Болконскомъ и, чтобы легче разобраться въ его сложномъ, оригинальномъ образѣ, сперва опредѣлимъ основныя, врожденныя черты его духовнаго облика.

Одной изъ главнѣйшихъ его особенностей, выдѣляющихъ его изъ общей массы окружающаго общества, является незаурядный умъ, отличающійся склонностью къ серьезной, глубокой работѣ мысли; при этомъ, онъ вовсе чуждъ мечтательности и связаннаго съ нею „туманнаго философствованія“. Наоборотъ, онъ отличается трезвостью, даже временами нѣкоторой черствостью мысли, а также рѣзко опредѣленной склонностью къ самоуглубленію, самоанализу.

Эта черта Андрея Болконскаго—его выдающійся умъ съ полной очевидностью выступаетъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, начиная съ момента появленія его передъ читателемъ, во всѣхъ его рѣчахъ и сокровенныхъ размышленіяхъ. Въ какіе бы моменты жизни ни изображалъ намъ Л. Толстой своего героя, онъ неизмѣнно даетъ почувствовать читателю, что онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ незауряднаго ума. Въ столичныхъ свѣтскихъ гостиныхъ, на полѣ битвы, у себя въ деревнѣ, въ обществѣ Сперанскаго и его круга, даже въ періодъ своего глубокаго чувства къ Наташѣ Ростовой князь Андрей Болконскій остается всегда вѣренъ себѣ. Его мысль не перестаетъ неутомимо работать по поводу тѣхъ явленій, которыя открываетъ передъ нимъ жизнь; она углубляется въ нихъ, вскрываетъ ихъ сущность, безпощадно разрушаетъ создаваемыя ею иллюзіи.

Было-бы, однако, ошибкой думать, что молодой Болконскій есть исключительно разсудочный типъ, какимъ является, напримѣръ, въ „Войнѣ и Мирѣ“ Сперанскій. Проф. Овсянико-Куликовскій, давшій въ своей книгѣ о Л. Толстомъ лучшій въ критической литературѣ анализъ Болконскаго, такъ опредѣляетъ разницу между ними. „Огромное различіе между ними сводится къ тому, что у Сперанскаго ирраціональная сфера души какъ-бы отдѣлена китайской стѣной отъ его ума, дѣйствующаго независимо отъ этой сферы, между тѣмъ, какъ у Болконскаго именно въ послѣдней и сосредоточены могущественные импульсы, всегда вліяющіе на его умъ и опредѣляющіе то или другое направленіе его мысли“. Это значитъ, что центръ духовной жизни Болконскаго коренится, говоря метафорически, не въ умѣ, а въ сердцѣ, чрезвычайно сложномъ мірѣ его чувствованій, они даютъ направленіе и ту или иную окраску его мыслительной дѣятельности. Но только то, о чемъ могущественно заговариваетъ безсознательная сторона его существа, сейчасъ-же получаетъ, благодаря всегда бодрствующей мысли, логическое обоснованіе, настолько полно разработанное, что кажется, будто вся внутренняя жизнь Андрея Болконскаго сосредоточена исключительно въ сферѣ умственной дѣятельности.

Одной изъ яркихъ иллюстрацій только что охарактеризованнаго уклада духовной жизни Болконскаго можетъ служить изображеніе авторомъ душевнаго состоянія его героя послѣ поѣздки къ Ростовымъ въ Отрадное, когда въ немъ, подъ вліяніемъ картины пробуждающейся природы и обаянія женственной натуры Наташи, мощно пробуждается заглохшая было потребность дѣятельности и личнаго счастья (В. и М. т. 2 ч. 1-я, гл. I—III). Это пробужденіе душевныхъ силъ выражается у Болконскаго во внезапномъ рѣшеніи ѣхать въ Петербургъ, чтобы вновь войти въ водоворотъ общественной и государственной жизни. Но Болконскій не можетъ успокоиться, пока не отыщетъ цѣлаго ряда логическихъ доводовъ, оправдывающихъ это рѣшеніе.

Онъ „придумывалъ разныя причины этого рѣшенія". Часто, заложивъ назадъ руки, „онъ долго ходилъ по комнатѣ, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая тѣ неразумныя, невыразимыя, словомъ, тайныя, какъ преступленіе, мысли..., которыя измѣнили всю его жизнь... Какъ-бы наказывая кого то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую въ немъ внутреннюю работу", онъ въ это время въ обращеніи съ людьми былъ особенно „непріятнологиченъ".

Выдающейся особенностью его ума, покрывающаго своей постоянной, глубокой работой прочія проявленія его духа, является самоанализъ, рефлексія. По вѣрному опредѣленію проф. Овсянико-Куликовскаго, это то характерное для Гамлета вторженіе нѣкоторыхъ высшихъ точекъ зрѣнія въ самую практику жизни, которое неизбѣжно превращаетъ каждый, болѣе значительный волевой актъ въ психологическій вопросъ, преимущественно нравственнаго порядка.

Отсюда происходитъ слѣдующая координальная черта Андрея Болконскаго — всегда бодрствующее нравственное сознаніе, именно сознаніе, а не чувство, ибо, какъ сказано выше, въ силу особенностей его натуры, то, что выдвигаетъ безсознательная сторона его существа, сейчасъ-же получаетъ у него логическое, разумное обоснованіе.

На ряду съ этимъ, характерной особенностью князя Андрея представляется его активность. Онъ то, что принято называть активная, дѣятельная натура. При этомъ, въ его душѣ живетъ потребность широкой общественной и даже государственной дѣятельности. Данныхъ для такой дѣятельности у него болѣе, чѣмъ у кого-либо другого, ибо онъ отличается умѣніемъ работать и обладаетъ широкими, разносторонними знаніями.

Потребность въ широкой дѣятельности, въ значительной степени, поддерживается въ князѣ Андреѣ его честолюбіемъ, стремленіемъ къ славѣ, къ власти, которыя, порою, очень мощно заговариваютъ въ немъ. Въ бесѣдѣ съ Пьеромъ онъ прямо заявляетъ о первомъ періодѣ своей служебной дѣятельности, что онъ жилъ для славы. Еще ярче сказывается его честолюбіе въ слѣдующихъ его словахъ: „что-же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую... И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди,—отецъ, сестра, жена, какъ ни странно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать.

Только что приведенныя слова Андрея Болконскаго могутъ дать поводъ къ тому, чтобы приписать ему неразборчивость въ выборѣ средствъ для удовлетворенія своего честолюбія, готовность итти на компромиссы, сдѣлки съ собственной совѣстью. Но Болконскій не таковъ. Онъ отличается прямолинейной честностью и не можетъ примириться съ тѣмъ, что пре-

титъ его нравственному чувству, даже тогда, когда нѣкоторый нравственный компромиссъ содѣйствовалъ-бы скорѣйшему осуществленію его честолюбивыхъ мечтаній. Самое честолюбіе князя Андрея и стремленіе къ славѣ живутъ въ его душѣ неразрывно съ порывами самоотверженія, жаждой безкорыстнаго подвига и чувствомъ долга.

Мы отмѣтили важнѣйшія черты духовной личности Андрея Болконскаго, опредѣляющія его, какъ психологическую индивидуальность. Изъ сказаннаго только что объ особенностяхъ его духовной организаціи можно судить о томъ, насколько это незаурядная и сложная натура, соединяющая въ себѣ, до нѣкоторой степени, и противоположныя качества, какъ, напримѣръ, потребность широкой дѣятельности и парализующій ее самоанализъ. Эту сложность натуры Болконскаго необходимо имѣть въ виду тому, кто хочетъ разобраться въ его жизни и поведеніи. Ею объясняются съ перваго раза непонятныя и противорѣчивыя его увлеченія, рѣшенія и разочарованія. То онъ рвется къ широкой государственной дѣятельности, то вдругъ, когда, повидимому, цѣль достигнута, и къ его мнѣнію прислушивается, и цѣнитъ его такой государственный дѣятель, какъ Сперанскій, онъ бросаетъ все и весь отдается поманившему его призраку личнаго счастья, то, обуреваемый честолюбивыми мечтами, онъ стремится на войну, тѣша себя мыслью, что, именно, ему суждено спасти изъ безвыходнаго положенія русскую армію, то вдругъ оставляетъ ее, заявляя своему другу Пьеру, что если-бы Наполеонъ стоялъ вблизи его имѣнія, онъ и тогда не сталъ-бы вновь служить въ русскомъ войскѣ; то онъ исполняется крайней ненавистью къ своему личному врагу, котораго настойчиво ищетъ убить, и къ французамъ, высказывая сожалѣніе, почему не убиваютъ плѣнныхъ, то проникается духомъ высшей христіанской любви и всепрощенія, и т. д.

XXIV.

Мы не станемъ слѣдить за всѣми переиспытаніями мятущагося духа Андрея Болконскаго въ его поискахъ въ переживаемой имъ бурной дѣйствительности высшаго смысла жизни: это значило-бы пересказать тѣ страницы „Войны и Мира“, гдѣ идетъ о немъ рѣчь. Мы остановимся только на послѣднихъ моментахъ его жизни, когда онъ, получивъ смертельную рану въ Бородинскомъ сраженіи и медленно умирая, находитъ, наконецъ, душевное просвѣтлѣніе и успокоеніе.

Тяжело раненаго князя Андрея приносятъ въ походный лазаретъ, чтобы сдѣлать ему перевязку. Послѣ мучительнаго изслѣдованія раны, заставившаго его потерять сознаніе, наконецъ, ему сдѣлали перевязку, боль нѣсколько унялась, и онъ, „послѣ перенесеннаго страданія, чувствовалъ бла-

женство, давно не испытанное имъ". Между тѣмъ, его вниманіе было вновь привлечено другимъ раненымъ, у котораго только что отрѣзали ногу, и который рыдалъ, какъ ребенокъ. Князь Андрей узналъ въ немъ лютаго врага своего Анатоля Курагина, разрушившаго его личное счастье. И вотъ въ душѣ Андрея происходитъ внезапный, неожиданный переворотъ: онъ „вспомнилъ все, и восторженная жалость и любовь къ этому человѣку наполнили его счастливое сердце", и онъ „не могъ удержаться болѣе и заплакалъ нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и надъ своими заблужденіями". Его страдающая, ищущая смысла жизни душа находитъ для себя успокоеніе въ христіанской любви и всепрощеніи. Вспоминая черезъ нѣсколько дней свою ужасную встрѣчу съ Анатолемъ, князь Андрей такъ опредѣляетъ происшедшій въ немъ переворотъ: „Я испыталъ то чувство любви, которое есть самая сущность души и для которой не нужно предмета... Все любить—любить Бога во всѣхъ проявленіяхъ. Любить человѣка дорогого можно человѣческою любовью; но только врага можно любить божескою... Любя человѣческою любовью, можно отъ любви перейти къ ненависти; но божеская любовь не можетъ измѣниться... Она есть сущность души"...

Конечно, такой переворотъ, какой произошелъ внезапно съ Андреемъ Болконскимъ, возможенъ только для тѣхъ натуръ, въ душѣ которыхъ кроются, хотя-бы въ скрытомъ, зачаточномъ видѣ, сѣмена всепрощающей любви. Л. Толстой не далъ ихъ почувствовать читателю въ своемъ героѣ, и оттого духовное перерожденіе его представляется чѣмъ-то случайнымъ и необоснованнымъ.

Но если душевный переломъ передъ смертью въ Андреѣ Болконскомъ представляется нѣсколько психологически необоснованнымъ, то не трудно понять, почему авторъ счелъ все-же нужнымъ заставить своего героя пережить его. Вспомнимъ, что подобныя-же мысли посѣщаютъ Нехлюдова (въ „Утрѣ помѣщика"), Оленина (въ „Казакахъ"), что онѣ напоминаютъ міросозерцаніе Платона Каратаева, ставшее, своего рода, откровеніемъ для Пьера, знакомы Левину и даже Каренину. Все это указываетъ на то, какъ настойчиво работали мысли автора все въ одномъ и томъ-же направленіи, и какъ онъ, поэтому, не всегда удачно, приписывалъ ихъ то одному, то другому изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ.

Образъ Андрея Болконскаго, по нашему крайнему разумѣнію, только выигралъ-бы въ своей художественной цѣльности, если-бы авторъ освободилъ его отъ неожиданнаго для его натуры просвѣтленія въ духѣ христіанскаго всепрощенія.

Таковъ князь Андрей Болконскій, какъ психологическій типъ.

XXV.

Посмотримъ, какъ проявлялась эта сложная и оригинальная натура въ окружавшихъ ее условіяхъ русской жизни начала XIX столѣтія.

Анализируя эти условія, необходимо въ нихъ различать двѣ стороны: аристократическій кругъ, къ которому принадлежалъ Андрей Болконскій, съ его достаточно опредѣлившейся сословной психологіей, и воздѣйствіе переживаемаго имъ историческаго момента—борьбы съ Наполеономъ.

Не трудно представить, какое отношеніе должно было вызвать къ себѣ у князя Андрея Болконскаго, съ его складомъ ума и образованіемъ, окружавшее его общество, будь то завсегдатаи столичныхъ свѣтскихъ гостиныхъ или-же высшіе военные слои въ дѣйствующей арміи. Вспомнимъ хотябы кружокъ аристократіи, съ которымъ мы знакомимся у Анны Павловны Шереръ, или-же штабъ главнокомандующаго, съ которымъ Болконскому приходится близко соприкасаться во время его службы въ арміи, Всѣ эти люди, съ ихъ очевиднымъ для князя Андрея умственнымъ и нравственнымъ ничтожествомъ, вызывали въ немъ высокомѣрно-презрительное отношеніе къ себѣ. Ту-же манеру, нѣсколько въ смягченномъ видѣ, замѣчаемъ мы и въ его обращеніи съ женою, „маленькой княгиней“, являющейся типичной представительницей женскаго свѣтскаго круга.

Такое отношеніе Андрея Болконскаго къ его-же обществу вызвано не только сознаніемъ своего превосходства надъ нимъ, но и, въ значительной мѣрѣ, является одной изъ чертъ аристократической психологіи, какъ она развивалась у насъ на почвѣ крѣпостного права и полнаго безконтрольнаго владычества служилаго сословія.

Такимъ образомъ, уже здѣсь, въ отношеніи Болконскаго къ окружающему обществу, отчасти сказывается вліяніе на него одной изъ формъ сословной психологіи его круга, которая кладетъ свой отпечатокъ на его личность.

Съ особенной яркостью выступаетъ его презрительное отношеніе къ людямъ, которыхъ онъ считаетъ ниже себя, въ періодъ разочарованія въ своихъ прежнихъ стремленіяхъ, когда онъ, чуждаясь всѣхъ, поселяется послѣ смерти жены въ деревнѣ. Оно очень опредѣленно проявляется въ его жестокихъ, столь оскорбившихъ Пьера, рѣчахъ о русскомъ народѣ и о томъ, что освобожденіе крестьянъ если и нужно, то отнюдь не для нихъ самихъ, ибо единственно возможное счастье для мужика, по его словамъ, есть счастье животное, а для того, чтобы успокоить совѣсть лучшихъ представителей помѣщичьяго класса.

Но воздѣйствіе окружающей среды и переживаемаго историческаго момента сказалось и на другихъ сторонахъ личности Андрея Болконскаго. Они

оказали, напримѣръ, очень значительное вліяніе на развитіе его честолюбія и на попытки его заняться государственной и общественной дѣятельностью.

Изъ этой среды выходили люди власти, она непосредственно соприкасалась съ ней, стояла, такъ сказать, у кормила правленія и, конечно, давала богатую пищу честолюбивымъ замысламъ своихъ членовъ. Съ другой стороны, самая историческая эпоха, когда въ Россіи выдвигались внезапно и занимали первенствующее положеніе новые люди, въ родѣ Сперанскаго, а на глазахъ у всѣхъ была головокружительная карьера Наполеона, изъ простого офицера ставшаго могущественнымъ императоромъ могущественной державы, тоже содѣйствовала развитію честолюбія у тѣхъ, кто имѣлъ къ этому нѣкоторую склонность.

Что касается до потребности въ широкой дѣятельности, то, опять таки, историческій моментъ, съ одной стороны, и окружавшая среда, съ другой— открывали передъ Болконскимъ самыя широкія перспективы, вплоть до государственной законодательной работы. Они, такимъ образомъ, реализовали въ совершенно опредѣленныя формы стремленія дѣятельной натуры князя Андрея.

Наконецъ, отмѣченная выше прямолинейность, Андрея Болконскаго, неспособность итти на компромиссы, являясь его врожденной чертой, также развилась и окрѣпла на почвѣ сословной психологіи. Сознаніе своей полной независимости выработало у нѣкоторыхъ представителей русской аристократіи конца XVIII и начала XIX вѣка „благородную упрямку“, умѣніе крѣпко стоять на почвѣ своихъ убѣжденій, вплоть до жертвы во имя ихъ не только узко личными интересами, но даже свободой и жизнью.

Изъ сдѣланной только что краткой характеристики князя Андрея Болконскаго видно, что образъ его представляетъ интересъ въ двухъ отношеніяхъ: съ общечеловѣческой точки зрѣнія, какъ въ высокой степени сложная и оригинальная натура, внутреній міръ которой, благодаря художественному генію автора, раскрывается во всей полнотѣ передъ читателемъ, и, съ другой стороны, какъ представитель одной изъ группъ русскаго аристократическаго круга начала XIX столѣтія.

Съ этой стороны образъ Андрея Болконскаго нашелъ себѣ прекраснаго истолкователя въ лицѣ профессора Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, впервые въ своей книгѣ о Толстомъ вскрывшаго его сословно-психологическую форму.

Остроумный, тонкій анализъ, съ помощью котораго этотъ изслѣдователь раскрываетъ передъ читателемъ душевный міръ князя Андрея, приводитъ насъ, въ концѣ концовъ, къ выводу, что „аристократическая форма психики заключаетъ въ себѣ элементы, силою которыхъ она гармонируетъ

съ общегуманнымъ пошибомъ содержанія, съ воспріимчивостью мысли къ прогрессивнымъ и освободительнымъ идеямъ, съ аристократизмомъ ума и характера, съ развитіемъ чести". Анализируя образъ Андрея Болконскаго, пр. Овсянико-Куликовскій высказываетъ даже предположеніе, что если-бы рана, полученная имъ при Бородинѣ, не была смертельной, онъ былъ бы позднѣе, въ свое время, однимъ изъ организаторовъ и вожаковъ движенія 14 декабря 1825 года.

Въ русской мемуарной литературѣ есть любопытнѣйшій документъ: „Записки Сергѣя Григорьевича Волконскаго", на основаніи которыхъ, путемъ тщательнаго анализа, можно было-бы возстановить общій духовный обликъ людей, извѣстныхъ впослѣдствіи подъ именемъ декабристовъ. Если сопоставить то, что даютъ въ этомъ отношеніи „Записки Волконскаго", съ образомъ князя Андрея Болконскаго, нельзя не признать, что приведенное выше предположеніе пр. Овсянико-Куликовскаго имѣетъ за себя очень много вѣроятія.

Отсюда увеличивается историко-литературная цѣнность образа князя Андрея. Въ лицѣ его мы, между прочимъ, имѣемъ единственный въ русской литературѣ типъ передового русскаго человѣка изъ высшаго аристократическаго круга въ первые годы Александровской эпохи. Дальнѣйшей эволюціей этого типа были въ исторіи развитія русскаго общества декабристы.

XXVI.

Еще болѣе, чѣмъ князю Андрею Болконскому, отводитъ авторъ мѣста въ своей эпопеѣ другому центральному дѣйствующему лицу—Пьеру Безухому. Выводя его передъ читателемъ съ первыхъ страницъ „Войны и Мира", Л. Толстой заставляетъ его пережить длинный рядъ всевозможныхъ событій и увлеченій, подробно изображаетъ его внутренній міръ и заканчиваетъ свою эпопею указаніемъ на непосредственное, близкое участіе Пьера въ тѣхъ кружкахъ, изъ которыхъ впослѣдствіи вышли декабристы. Характеръ пережитыхъ Пьеромъ увлеченій опредѣляется отчасти нѣкоторыми чертами его натуры, но, главнымъ образомъ, онъ зависитъ отъ тѣхъ условій жизни, которыя его окружаютъ и по своей формѣ чрезвычайно типичны для русскаго аристократическаго общества начала XIX вѣка. И кутежи золотой молодежи, и свѣтская разсѣянная жизнь, и филантропія, и масонство—все это какъ нельзя болѣе характерно для высшаго дворянскаго круга Александровской эпохи. Съ этой стороны, образъ Пьера, вѣрнѣе, его жизнь, является прекрасной иллюстраціей той громадной исторической картины, какую представляетъ собою въ цѣломъ „Война и Миръ".

Но, какъ и въ образѣ Андрея Болконскаго, въ изображеніи Пьера Безухаго Л. Толстой удѣляетъ преимущественное вниманіе не столько обрисовкѣ его, какъ типичнаго представителя своего времени, сколько раскрытію передъ читателемъ основныхъ чертъ его духа, создавшихся внѣ зависимости отъ окружающихъ условій. Вслѣдствіе этого Пьеръ представляетъ для насъ наибольшій интересъ, какъ общечеловѣческій типъ.

Чтобы понять духовный міръ Пьера, необходимо опредѣлить, каково его основное, существенное свойство.

Всегда и вездѣ встрѣчаются люди, отличительной чертой которыхъ является исканіе смысла жизни, стремленіе найти спокйствіе для своей совѣсти, „согласіе съ самимъ собою“, по выраженію Толстого. Этотъ общечеловѣческій типъ хорошо знакомъ и русскому народу, и руской интеллигенціи, отличительной чертой которой въ цѣломъ рядѣ поколѣній является исканіе высшей жизненной правды. Это „святое безпокойство“, въ зависимости отъ индивидуальныхъ особенностей человѣка и условій окружающей жизни, выливается въ самыя разнообразныя формы, порою очень уродливыя, какъ то мы наблюдаемъ, напримѣръ, въ темной народной средѣ въ видѣ нѣкоторыхъ религіозныхъ сектъ. Къ этому психологическому типу принадлежитъ и Пьеръ Безухій.

Главной, существенной чертой его духовнаго облика, чертой, которая проходитъ черезъ всю его жизнь, проявляясь болѣе или менѣе интенсивно и ярко, является именно исканіе „успокоенія, согласія съ самимъ собою“. Говоря словами Л. Толстого, „онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ“ и т. д.

Трудность этого исканія, въ значительной степени, усложняется присутствіемъ въ характерѣ Пьера нѣкоторыхъ чертъ, какъ, напримѣръ, слабость воли, недостатокъ иниціативы, неспособность къ практической дѣятельности. И только послѣ долгихь мучительныхъ метаній изъ стороны въ сторону и тяжелыхъ спытаній въ плѣну у французовъ, „черезъ ужасъ смерти и черезъ лишенія“, нашелъ, наконецъ, Пьеръ внутреннее спокойствіе, ту высшую правду жизни, незнаніе которой такъ мучило его. Нашелъ онъ ее, благодаря общенію съ простымъ русскимъ человѣкомъ, Платономъ Каратаевымъ. „Въ плѣну, въ балаганѣ,—говоритъ Л. Толстой,—Пьеръ узналъ не умомъ, а всѣмъ существомъ своимъ, жизнью, что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей, и что все несчастье происходитъ не отъ недостатка, а отъ излишка... Онъ узналъ, что есть граница страданія и граница свободы, и что эти границы очень близки; что тотъ человѣкъ, который страдалъ оттого, что въ розовой постели его завернулся

одинъ листокъ, точно такъ-же страдалъ, какъ страдалъ онъ теперь, засыпая на голой, сырой землѣ, остужая одну сторону и согрѣвая другую; что, когда онъ, бывало, надѣвалъ свои бальные, узкіе башмаки, онъ точно такъ-же страдалъ, какъ и теперь, когда онъ шелъ уже босой совсѣмъ, ногами, покрытыми болячками... То самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало... И это-то отсутствіе цѣли давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье. Онъ не могъ имѣть цѣли, потому что онъ теперь имѣлъ вѣру,—не вѣру въ какія-нибудь правила, или слова, или мысли, но въ вѣру въ живого, всегда ощущаемаго Бога. Прежде онъ искалъ Его въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ. Это исканіе цѣли было только исканіе Бога; и вдругъ онъ узналъ въ своемъ плѣну не словами, не разсужденіями, но непосредственнымъ чувствомъ то, что ему давно уже говорила нянюшка, что Богъ вотъ Онъ, тутъ, вездѣ. Онъ въ плѣну узналъ, что Богъ въ Каратаевѣ болѣе великъ, безконеченъ и непостижимъ, чѣмъ въ признаваемомъ массонами Архитекторѣ вселенной... Онъ выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ... и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь... Прежде разрушавшій всѣ его умственныя постройки страшный вопросъ: зачѣмъ? теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ: зачѣмъ? въ душѣ его всегда готовъ былъ простой отвѣтъ: затѣмъ, что есть Богъ, тотъ Богъ, безъ воли котораго не спадетъ волосъ съ головы человѣка".

Мы сгруппировали здѣсь изъ нѣсколькихъ мѣстъ „Войны и Мира" все существенное, что говоритъ Л. Толстой о духовномъ перерожденіи Пьера. Нельзя не признать, что все, сказанное авторомъ объ этомъ переломѣ въ жизни его героя, представляется нѣсколько неопредѣленнымъ, туманнымъ. Именно этотъ, наиболѣе важный періодъ въ жизни Пьера остается какъ-бы въ тѣни; авторъ не вскрылъ его съ такой полнотой и глубиной, съ какой онъ изобразилъ другіе моменты жизни Пьера, и прочихъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ[1]).

[1]) Объясняется это, по всей вѣроятности, тѣмъ, что образъ Пьера, съ его неустаннымъ исканіемъ смысла жизни, представляется близко родственнымъ въ этомъ отношеніи самому автору. Воспроизводя въ немъ основную черту своей собственной духовной личности и при томъ въ тотъ періодъ, когда исканіе цѣли жизни было для него особенно мучительнымъ, онъ могъ представить себѣ только въ общихъ чертахъ тотъ выходъ, который долженъ былъ спасти и Пьера и его самого. Въ высокой степени знаменательно, что Л. Толстой, изображая внутренній переворотъ въ Пьерѣ, тѣмъ самымъ намѣтилъ для себя путь духовнаго возрожденія. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ созданія „Войны и Мира", переживъ тяжелый душевный кризисъ, о которомъ онъ намъ разсказываетъ въ „Исповѣди", онъ, благодаря простому народу (Каратаевъ для Пьера), нашелъ для себя, какъ и его герои, спасеніе въ вѣрѣ.

Несмотря, однако, на этотъ художественный недостатокъ въ обрисовкѣ Пьера Безухаго, образъ этотъ въ цѣломъ представляетъ глубокій интересъ длл читателя, ибо изображаетъ дорогую и близкую всякой эпохѣ человѣческую личность, проникнутую глубокимъ, органическимъ стремленіемъ къ высшей правдѣ жизни. Интересъ этотъ увеличивается еще оттого, что авторъ, изображая въ лицѣ Пьера общечеловѣческій типъ, сумѣлъ сдѣлать его яркимъ представителемъ описываемой имъ эпохи, сыномъ своего вѣка, народа и сословія.

Общая характеристика народническаго направленія въ русской литературѣ въ 40-е—70-е годы XIX вѣка.

Общая характеристика народническаго направленія въ русской литературѣ въ 40-е—70-е годы XIX вѣка.

I.

Характеризуя отличительныя черты новой русской литературы (см. первый выпускъ нашихъ „Чтеній“, введеніе), какъ онѣ опредѣлились въ ней уже въ XVIII вѣкѣ, мы отмѣчали, между прочимъ, ярко обнаружившееся, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, стремленіе, къ воспроизведенію народной жизни. Та-же самая черта красной нитью проходитъ и черезъ литературу первыхъ десятилѣтій XIX вѣка, все ярче и ярче сказываясь въ ней. Съ особенной силой, однако, проявляется этотъ интересъ нашего художественнаго слова къ мужику съ сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія.

Съ перваго раза представляется нѣсколько непонятнымъ, почему въ странѣ, гдѣ существовала цѣлая пропасть между интеллигенціей, принадлежавшей къ господствовавшему классу служилыхъ людей и помѣщиковъ-рабовладѣльцевъ, и находящимся въ положеніи рабовъ, погруженнымъ въ мракъ невѣжества народомъ, лучшіе представители интеллигенціи, въ лицѣ писателей, оторванныхъ отъ національной жизни родной страны, духовно выросшихъ подъ вліяніемъ чужеземнаго просвѣщенія, обнаруживаютъ, несмотря на невозможныя цензурныя условія, усиленный интересъ къ народу.

Однако, это явленіе находитъ себѣ вполнѣ удовлетворительное объясненіе. Какъ ни была разъединена съ народомъ наша интеллигенція XVIII и первой половины XIX вв., въ ней все-же жили черты національной русской психологіи, съ наибольшей силой и яркостью проявлявшіяся въ міровоззрѣніи и формахъ быта простого народа.

Происходило это оттого, что дворянское сословіе, къ которому, за весьма немногими исключеніями, принадлежали наши писатели первой половины XIX вѣка, въ формахъ своего быта не разрывало окончательно связи съ народомъ. Даже въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ, въ качествѣ разговорной рѣчи, господствовалъ французскій языкъ, и замѣчалось чуть не рабское слѣдованіе иноземнымъ порядкамъ, сплошь и рядомъ имѣли мѣсто народные обычаи

суевѣрія, слышалась народная пѣсня. Эта связь съ простонародной массой значительно поддерживалась также, благодаря крѣпостнымъ дядькамъ и нянюшкамъ, огромная роль которыхъ въ дѣлѣ развитія въ дворянскихъ дѣтяхъ безсознательныхъ симпатій къ народу и его быту не подлежитъ сомнѣнію. Вспомнимъ хотя-бы Пушкина и его знаменитую Арину Родіоновну или-же простого крѣпостного тургеневской семьи Лобанова, которому И. С. Тургеневъ обязанъ былъ пробужденіемъ въ его душѣ участія къ горькой долѣ простого человѣка. Мы имѣемъ въ русской литературѣ прекрасное изображеніе русской дворянской семьи средняго круга первой четверти XIX вѣка: это—семейство Лариныхъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“. Дѣти ихъ выростаютъ на „обманахъ Ричардсона и Руссо“, Татьяна пишетъ свое письмо по-французски, но, на ряду съ этимъ,

Они хранили въ жизни мирной
Привычки милой старины;
У нихъ на масленицѣ жирной
Водились русскіе блины;
Два раза въ годъ они говѣли;
Любили круглыя качели,
Подблюдны пѣсни, хороводъ и т. д.

Это былъ тотъ невидимый цементъ, который все-же связывалъ органически высшіе и низшіе слои русскаго населенія, дѣлалъ ихъ родственными. Это безсознательное чувство родства, кроющагося гдѣ-то органически-глубоко, и проявлялось порою у нашихъ писателей въ обнаруживаемомъ ими отъ времени до времени стремленіи изображать въ своихъ сочиненіяхъ мужика. Таковъ первый факторъ, бывшій чисто безсознательнымъ до 40-хъ годовъ XIX вѣка, который поддерживалъ въ нашей литературѣ, такъ сказать, народостремительное теченіе.

Гораздо большее значеніе имѣло, однако, другое обстоятельство, чисто идейнаго происхожденія. Это—вліяніе гуманныхъ, просвѣтительныхъ идей Запада, какъ извѣстно, широкимъ потокомъ хлынувшихъ къ намъ въ началѣ царствованія Екатерины II. Стихійное тяготѣніе къ народу, подъ вліяніемъ гуманизирующихъ идей западно-европейской освободительной философіи, стало получать характеръ сознательности, причемъ существеннымъ признакомъ его дѣлается чувство жалости. „Я взглянулъ окрестъ меня, душа моя страданіями человѣческими уязвлена стала“, писалъ Радищевъ еще въ концѣ XVIII вѣка, и слова эти, въ сущности говоря, могутъ быть поставлены эпиграфомъ ко всему народническому направленію русской литературы, вплоть до нашихъ днѣй.

По мѣрѣ того, какъ росъ элементъ сознательности въ народостремительномъ теченіи нашей литературы и, параллельно съ нимъ, чувство жа-

лости и участія къ народной долѣ, углублялось и расширялось и самое литературное направленіе, цѣлью котораго является изображеніе простонародной жизни. Особенно замѣтнымъ становится это направленіе, какъ сказано выше, съ 40-хъ годовъ XIX вѣка.

Къ этому времени въ русской общественной и литературной жизни, какъ извѣстно, опредѣлилось вполнѣ отчетливо два основныхъ теченія: западничество и славянофильство. Оба они, несмотря на коренное различіе въ исходной точкѣ зрѣнія на русскую жизнь и ея дальнѣйшій прогрессъ, относились съ горячимъ интересомъ и сочувствіемъ къ народу и его горемычной долѣ. У западниковъ это сочувствіе диктовалось глубокой ненавистью къ крѣпостному праву, подавлявшему личность простого русскаго человѣка и державшему его въ цѣпяхъ мрачнаго невѣжества и экономической нужды. У славянофиловъ, раздѣлявшихъ съ западниками ихъ вражду къ народному рабству, интересъ и сочувствіе къ народу значительно усиливались еще убѣжденіемъ, что въ нѣдрахъ народной души сокрыта высшая правда, и что выработанныя имъ формы жизни наиболѣе соотвѣтствуютъ этой правдѣ.

Наконецъ, тяготѣніе къ народу и его жизни въ сороковые годы въ русскомъ обществѣ возросло также еще благодаря новому направленію русской исторической науки и этнографіи, возникшему у насъ подъ вліяніемъ нѣмецкихъ историковъ и филологовъ. Труды такихъ ученыхъ, какъ Гердеръ, Вольфъ, Яковъ Гриммъ, Боппъ, Нибуръ, Отфридъ Мюллеръ и др., повліяли и на развитіе русской научной мысли и пробудили у нашихъ историковъ интересъ къ изученію народной старины и формъ простонароднаго быта. Это новое направленіе опредѣленно выступило въ 40-е годы въ трудахъ извѣстнаго историка С. М. Соловьева, Кавелина, Калачева, Буслаева, Аѳанасьева и др.

Всѣ эти явленія русской общественной и научной мысли 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія оказали свое вліяніе и на художественную литературу. Оно выразилось въ появленіи цѣлаго ряда писателей, примыкавшихъ къ тому или другому лагерю, содержаніемъ произведеній которыхъ было изображеніе народа и его жизни. Замѣчательнѣйшими изъ этихъ писателей, начало дѣятельности которыхъ въ этомъ направленіи относится ко второй половинѣ 40-хъ годовъ, являются И. С. Тургеневъ („Записки Охотника“) и Н. А. Некрасовъ. Видное мѣсто на ряду съ ними занимаетъ Д. В. Григоровичъ.

II.

Первая повѣсть Григоровича изъ простонародной жизни, подъ заглавіемъ „Деревня“ (1846 г.), въ основѣ своей имѣетъ дѣйствительный случай, происшедшій неподалеку отъ его имѣнія: бѣдная сирота-дѣвушка, по волѣ

помѣщика, была выдана замужъ за грубаго, богатаго парня, и тотъ жестокимъ обращеніемъ и побоями вогналъ ее въ гробъ. Черезъ годъ появился „Антонъ Горемыка“, затѣмъ „Рыбаки“ (1852 г.), „Переселенцы“ (1855 г.), „Пахарь“, „Прохожій“, „Четыре времени года“ и нѣкоторыя другія произведенія, рисующія народную жизнь.

Еще Бѣлинскій, разбирая „Деревню“, указалъ на неумѣніе Григоровича проникать во внутренній міръ своихъ героевъ. Дѣйствительно, и въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ мы не находимъ ни одного вполнѣ типичнаго представителя дореформеннаго крестьянства. Объясняется это тѣмъ, что Григоровичъ, хотя и провелъ свое дѣтство въ деревнѣ, былъ совершенно оторванъ отъ простого народа и до 13 лѣтъ даже не владѣлъ, какъ слѣдуетъ, русскимъ языкомъ. Вслѣдствіе этой оторванности отъ народной среды, оторванности, которая не была уничтожена и позднѣе, Григоровичъ мало зналъ народную душу и міросозерцаніе и удачно воспроизводилъ только тѣ ихъ черты, которыя представляются наиболѣе элементарными, доступными мимолетному наблюденію. Другимъ недостаткомъ произведеній Григоровича изъ народной жизни является ихъ многорѣчивость, а также мѣстами нѣкоторая сантиментальность.

Но эти недостатки не помѣшали Григоровичу занять видное мѣсто въ ряду изобразителей народной жизни въ 40-е и 50-е годы и оказать сильное вліяніе на современниковъ, пробуждая въ нихъ чувство симпатіи къ закрѣпощенному люду.

Что дѣйствительно является цѣннымъ въ произведеніяхъ Григоровича, изображающихъ народную жизнь, такъ это правдивая обрисовка тѣхъ внѣшнихъ условій, въ которыхъ приходилось жить крѣпостному крестьянству. Передъ нашими глазами проходятъ терзающія сердце картины народной жизни, съ безысходной бѣдностью, гнетомъ помѣщиковъ, произволомъ приказчиковъ и старостъ, тяжелое положеніе женщины, страдающей отъ семейнаго деспотизма и непосильной работы, народное невѣжество и грубость, разлагающее вліяніе фабричной жизни. На ряду съ этимъ авторомъ изображается земледѣльческій и рыбачій бытъ, народные праздники, обычаи, обряды, повѣрья, и все это освѣщено свѣтомъ любви и гуманнаго отношенія автора къ мужику, стремленіемъ его пробудить у читателя теплое участіе къ его сермяжнымъ героямъ.

Наиболѣе выдающимся, по своему вліянію на читателей, произведеніемъ Григоровича является его повѣсть „Антонъ Горемыка“, представляющая, съ нашей точки зрѣнія, интересъ не столько по обрисовкѣ характера главнаго дѣйствующаго лица, несчастнаго Антона, сколько по изображенію его горемычной доли. Типиченъ не онъ самъ, а его горькая судьба, та масса невзгодъ, которыя обрушиваются на его бѣдную голову. Мы имѣемъ два любо-

пытныхъ литературныхъ свидѣтельства о томъ, какъ дѣйствовалъ „Антонъ Горемыка“ и, вообще, первыя произведенія Григоровича изъ народной жизни на современныхъ читателей. Одно изъ нихъ принадлежитъ М. Е. Салтыкову-Щедрину, въ такихъ словахъ охарактеризовавшему то впечатлѣніе, какое произвели на него и его современниковъ народныя повѣсти Григоровича. „Я помню «Деревню», помню «Антона Горемыку», помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя дорогія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ“. Не менѣе лестный отзывъ объ „Антонѣ Горемыкѣ“ дѣлаетъ Л. Толстой въ письмѣ къ Григоровичу по поводу пятидесятилѣтія литературной дѣятельности послѣдняго. Вотъ этотъ отзывъ: „Помню умиленіе и восторгъ, произведенные на меня, шестнадцатилѣтняго мальчика, не смѣвшаго вѣрить себѣ, „Антономъ Горемыкой“, бывшимъ для меня радостнымъ открытіемъ того, что русскаго мужика, нашего кормильца и, хочется сказать, учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживленія пейзажа, а можно и должно писать во весь ростъ не только съ любовью, но съ уваженіемъ и даже съ трепетомъ“.

Приведенныя только что слова двухъ корифеевъ нашей словесности о первыхъ произведеніяхъ Григоровича даютъ намъ ясное понятіе о той крупной роли, какую сыгралъ въ сороковые годы Григоровичъ въ дѣлѣ развитія въ тогдашнемъ обществѣ и литературѣ симпатіи къ простому народу.

III.

Подъ вліяніемъ все растущаго и въ литературѣ и въ обществѣ интереса къ мужику, за изображеніе народной жизни, одновременно съ Григоровичемъ, Тургеневымъ и Некрасовымъ, въ 40-е и 50-е годы принялся цѣлый рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей. У современныхъ читателей и нѣкоторыхъ представителей литературной критики произведенія этихъ авторовъ, пытающихся изображать народную жизнь, встрѣчали самое горячее одобреніе.

И дѣствительно, нельзя отрицать того, что, въ общемъ, эти произведенія имѣли свои положительныя черты: они затрагивали такія стороны жизни, которыхъ до сихъ поръ мало или вовсе не касалась литература, обновили литературный языкъ новыми оборотами народной рѣчи.

Но все-же безпристрастная критика не могла не отмѣтить въ нихъ и значительныхъ недостатковъ. Характеризуя нашу беллетристику 40-хъ и первой половины 50-хъ годовъ, посвященную изображенію народной жизни, Добролюбовъ писалъ: „Обыкновенно герои простонародныхъ разсказовъ сго-

рали отъ пламенной любви, мучились сомнѣніями, разочаровывались—совершенно такъ-же, какъ „Тамаринъ“ Авдѣева или „Русскій черкесъ“ Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что вмѣсто: «я тебя страстно люблю; въ это мгновеніе я радъ отдать за тебя жизнь мою», они говорили: «я тєбя страхъ какъ люблю; я таперича за тебя жисть отдать готовъ!»“ Въ лучшемъ случаѣ, эти писатели были хорошо знакомы съ внѣшней стороной народнаго быта и нравовъ и безъ труда овладѣвали характерными оборотами народной рѣчи, но самыя основы крестьянской жизни и міросозерцанія, народная душа были недоступны ихъ наблюденію. Поэтому нерѣдко они впадали въ чрезвычайную, хотя и не очевидную сразу, психологическую фальшь, приписывая своимъ дѣйствующимъ лицамъ настроенія и поступки, которые никакъ не могутъ быть присущи народной средѣ. Такъ, въ то время довольно распространеннымъ мотивомъ беллетристическихъ произведеній было изображеніе разлада между личностью и окружающей средой и подробный анализъ вызванныхъ имъ душевныхъ настроеній. Этотъ-же мотивъ переносится и въ беллетристику, рисующую народную жизнь. Герой или героиня простонародной повѣсти, въ силу тѣхъ или другихъ причинъ проникшіеся воззрѣніями, чуждыми окружающей ихъ средѣ и страдающіе вслѣдствіе этого, а также вслѣдствіе любви къ существу совсѣмъ другого соціальнаго положенія, были довольно распространенными явленіями тогдашней литературы.

Недостаткомъ произведеній указаннаго періода, рисующихъ народную жизнь, была также излишняя идеализація крестьянина, являвшаяся слѣдствіемъ ошибочнаго расчета авторовъ такимъ путемъ пробудить въ читателяхъ участіе и сожалѣніе къ низшему сословію. Какъ-бы то ни было, но 40-е и первая половина 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія значительно упрочили въ нашей литературѣ интересъ къ мужику, расширили и углубили, несмотря на многіе недостатки, художественное изображеніе его въ литературѣ.

IV.

Между тѣмъ, наступила Крымская война, повлекшая за собою возрожденіе русскаго общества. Пробудившіяся общественныя силы стали искать коренной причины слабости Россіи, столь обнаружившейся въ Севастопольскомъ пораженіи, и справедливо увидали ее въ тяжеломъ положеніи народныхъ массъ. На ту-же точку зрѣнія стало и правительство новаго царствованія во главѣ съ молодымъ монархомъ Александромъ II. Крестьянскій вопросъ сталъ центральнымъ вопросомъ какъ общественной, такъ и государственной жизни. Близкая неизбѣжность коренной реформы народной жизни стала очевидной.

Все это, конечно, не могло не имѣть вліянія и на характеръ произведеній, изображавшихъ простонародный бытъ. Ставить себѣ главной задачей пробужденіе у читателя симпатій къ народу было теперь, пожалуй, не такъ важно, ибо эти симпатіи яркимъ свѣточемъ горѣли въ сердцѣ русскаго общества. Передъ художественной литературой выдвигались другія, болѣе серьезныя и глубокія цѣли. Нужно было выставить „на всенародныя очи“ внутренній міръ крестьянина, его духовные запросы и нужды, вскрыть коренныя основы его быта и понятій. Все это было-бы, пожалуй, непосильной задачей для прежней группы писателей, принадлежавшихъ, за немногими исключеніями, къ помѣщичьей дворянской средѣ и, въ значительной степени, уже въ силу одного этого лишенныхъ возможности проникнуть въ самую глубь народнаго духа.

Но, какъ-бы на помощь имъ, около этого времени въ литературѣ выступаетъ и начинаетъ играть все болѣе и болѣе замѣтную роль новый общественный слой, которому суждено было занять видное мѣсто во весь послѣдующій періодъ русской жизни. Это такъ называемые разночинцы; нѣкоторые изъ нихъ вышли изъ самыхъ нѣдръ народа и потому, описывая крестьянскій бытъ и міросозерцаніе, говорили о томъ, что было лично пережито или воспринято изъ непосредственнаго опыта.

Передъ писателями этого періода, поставившими себѣ задачей изображеніе простого народа, открылось множество такихъ сторонъ его существованія, которыхъ раньше совсѣмъ не касалась литература или же воспроизводила въ ложномъ освѣщеніи. Охватить все это богатство и разнообразіе различныхъ сторонъ народной жизни въ одномъ произведеніи могло быть по плечу только для очень крупнаго таланта. Писатели средняго дарованія, захваченные бурнымъ потокомъ возрождавшейся Россіи, были въ состояніи сосредоточивать свое художественное вниманіе, главнымъ образомъ, на отдѣльныхъ чертахъ простонароднаго быта, ограничиваясь порою чуть-ли не фотографическимъ изображеніемъ дѣйствительности, простой группировкой этнографическаго матеріала. Благодаря этому, все болѣе и болѣе часто встрѣчается такая форма литературнаго произведенія изъ народной жизни, какъ очеркъ, набросокъ, впечатлѣнія и т. п.

Становится замѣтной еще одна особенность этихъ сочиненій, особенность, какъ и отмѣченная только что, выступившая наиболѣе ярко въ народнической беллетристикѣ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Это—полное пренебреженіе авторовъ художественной отдѣлкой своихъ сочиненій. Объясняется эта особенность, съ одной стороны, развивавшимся тогда подъ вліяніемъ нигилизма общимъ пренебреженіемъ къ искусству и, въ частности, къ художественной формѣ, и съ другой—чрезвычайнымъ интересомъ авторовъ къ содержанію ихъ произведеній; на этой почвѣ создавалась увѣренность, что въ художе-

ственномъ произведеніи вся суть въ содержаніи, а форма, въ которую оно будетъ облечено, не имѣетъ никакого значенія.

Чтобы составить себѣ болѣе опредѣленное понятіе объ изображеніи въ литературѣ этого времени народной жизни, припомнимъ отзывъ Добролюбова объ одномъ изъ забытыхъ нынѣ писателей конца 50-хъ годовъ—Славутинскомъ. Въ его произведеніяхъ, говоритъ онъ, „нѣтъ даже ни малѣйшей претензіи на эстетическія украшенія; онѣ—просто вѣрная передача дѣйствительныхъ фактовъ, безъ прикрасъ, безъ натянутостей, безъ дидактическихъ основъ... Онъ... не старается... смягчить передъ нами грубый колоритъ крестьянской жизни, не усиливается непремѣнно создавать идеальныя лица изъ простого быта... Онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаютъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но, несмотря на это.., разсказы г. Славутинскаго гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилліи прежнихъ разсказчиковъ“. Разбирая разсказы Славутинскаго, Добролюбовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отмѣчалъ, что въ то время (1860 г.) подобныхъ произведеній появилось еще немного въ русской литературѣ.

Но уже въ слѣдующее десятилѣтіе и въ 70-е годы въ нашей беллетристикѣ господствующее мѣсто занялъ мужикъ и его жизнь.

V.

Этотъ вновь усилившійся интересъ къ художественному освѣщенію простонародной жизни коренился, конечно, въ характерныхъ чертахъ эпохи 60-хъ и 70-хъ годовъ. Для объясненія этого явленія необходимо имѣть въ виду искреннее желаніе лучшихъ членовъ общества прійти на помощь освобожденному народу въ устройствѣ его жизни на новыхъ началахъ, и психологію „кающагося дворянина“, и „хожденіе въ народъ“, какъ оно отразилось, напримѣръ, въ тургеневской „Нови“, и стремленіе изучить народъ съ цѣлью найти для себя достойный трудъ въ его средѣ и т. д.

Общее направленіе въ эти десятилѣтія литературы, посвященной изображенію народа, въ своихъ основныхъ чертахъ, остается тѣмъ-же, что и накунунѣ реформы. Въ одномъ только отношеніи замѣчается рѣзкая особенность: изображеніе обычаевъ, характеровъ, типовъ изъ народной среды теперь не играетъ господствующей роли; на первый планъ выступаютъ вопросы общественные и экономическіе: общинная жизнь крестьянства и положеніе въ ней отдѣльной личности, вопросы крестьянскаго самоуправленія,

правовое положеніе народа, вліяніе школы, фабрики и города, отхожіе промыслы, кулачество и т. п.

VI.

Среди писателей, избравшихъ предметомъ своего творчества народную жизнь, въ концѣ 50-хъ и въ 60-е годы занимали видное мѣсто Николай Успенскій, Слѣпцовъ, Левитовъ, Рѣшетниковъ.

Характеризуя отношеніе къ народу и его жизни двухъ первыхъ изъ нихъ, А. М. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей русской литературы“ называетъ его смѣхотворно-отрицательнымъ. Дѣйствительно, оба они въ своихъ очеркахъ и разсказахъ, часто анекдотическаго характера, изображаютъ почти исключительно только отрицательныя свойства русскаго народа: его невѣжество, тупоуміе, грубость, погоню за наживой, пьянство, отсутствіе сколько-нибудь глубокихъ моральныхъ устоевъ и т. д. Современная критика, напримѣръ, Чернышевскій, сочувственно отнеслась къ Н. Успенскому и привѣтствовала въ лицѣ его новое направленіе въ изображеніи народной жизни, видя въ немъ стремленіе писать о крестьянинѣ одну трезвую правду, безъ всякихъ прикрасъ. Въ этихъ похвалахъ было, однако, много односторонняго, ибо Н. Успенскій и Слѣпцовъ слишкомъ сгущали краски при изображеніи отрицательныхъ сторонъ народа, съ одной стороны, и съ другой — совершенно обходили молчаніемъ многія положительныя свойства народнаго духа. Основную идею очерковъ и разсказовъ изъ народной жизни этихъ писателей можно формулировать слѣдующими словами Н. Успенскаго изъ его „Деревенскихъ писемъ“: „Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не цѣнитъ и чужого труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ“.

Такое-же, приблизительно, впечатлѣніе выноситъ читатель изъ сочиненій Левитова, посвященныхъ въ значительной степени изображенію народной жизни. Передъ нимъ проходятъ картины поражающаго народнаго невѣжества, грубости нравовъ, суевѣрія, семейныхъ раздоровъ, удивительнаго неумѣнія устроить свою жизнь, угнетенія слабыхъ и безпомощныхъ и разнузданнаго своеволія сильныхъ. Словомъ, народная жизнь представляется воплощеніемъ самыхъ невѣроятныхъ ужасовъ.

Что касается до Рѣшетникова и его произведшихъ на современниковъ огромное впечатлѣніе „Подлиповцевъ“ (1864 г.), то хотя авторъ описалъ въ этомъ этнографическомъ очеркѣ, скорѣе прозаическаго, чѣмъ поэтическаго характера, инородцевъ сѣвера Пермской губ., такъ называемыхъ пер-

мяковъ, современные ему читатели и критика приняли это за изображеніе русскаго крестьянства Пермской губерніи и пришли въ ужасъ при мысли о томъ, на какой низкой ступени духовнаго развитія находится мѣстами въ Россіи народная масса.

VII.

Какъ бы въ противовѣсъ изображенію отрицательныхъ сторонъ народа, занявшему преобладающее мѣсто въ народнической беллетристикѣ 60-хъ годовъ, въ слѣдующее десятилѣтіе (70-е годы) выступаетъ рядъ писателей, идеализирующихъ народъ и его жизнь и міросозерцаніе. Таковы Златовратскій, Наумовъ, Засодимскій, Вологдинъ, Нефедовъ, и др. Наиболѣе выдающееся мѣсто между ними принадлежитъ Николаю Николаевичу Златовратскому.

Златовратскій написалъ довольно много (болѣе 20) очерковъ и разсказовъ изъ народной жизни, часть которыхъ объединена подъ общимъ заглавіемъ „Деревенскіе будни“, и большой романъ „Устои“. Въ послѣднемъ произведеніи наиболѣе ярко сказались, какъ особенности Златовратскаго, какъ писателя, такъ и его отношеніе къ народу.

Талантъ Златовратскаго не изъ крупныхъ. Въ немъ нѣтъ той мощи и яркости, которыя захватываютъ читателя въ произведеніяхъ первоклассныхъ авторовъ. Поэтическія краски его довольно блѣдны, и ему нужно затратить многое множество словъ, чтобы выразить свою мысль или нарисовать картину, созрѣвшую въ его воображеніи. Оттого его произведенія, въ частности романъ „Устои“, представляются чрезмѣрно растянутыми и потому утомляютъ читателя и навѣваютъ на него скуку. Особенностью его поэтическаго дарованія является склонность къ эпически-спокойному воспроизведенію жизни, главнымъ образомъ, внѣшней стороны ея. Психологическій анализъ не занимаетъ виднаго мѣста въ его произведеніяхъ. Быть можетъ, это объясняется, въ значительной мѣрѣ, тѣмъ, что центральнымъ предметомъ его творчества является не столько индивидуальная личность, сколько деревенскій міръ, община; ея жизнь и своеобразный строй, отношеніе къ ней отдѣльныхъ ея представителей, наконецъ, общій укладъ народнаго быта и психологіи, какъ онъ сложился въ условіяхъ многовѣковаго земледѣльческаго труда,—вотъ что привлекаетъ преимущественное вниманіе Златовратскаго.

И Златовратскій преклоняется передъ тѣми, по его мнѣнію, „широкими и глубоко-гуманными основами для совмѣстнаго существованія человѣческихъ иидивидуумовъ“, какія выработалъ русскій народъ въ своей общинной жизни. Община, дающая своему члену „собственную усадьбу“, гаранти-

руетъ ему нравственную независимость; „во-вторыхъ, въ формѣ сельскаго схода и суда, даетъ гарантію полнаго проявленія личной, самостоятельной воли каждаго, при условіи абсолютнаго равенства...; въ-третьихъ, въ формѣ общиннаго владѣнія и труда, право на всѣ выгоды общаго труда и общаго, равноправнаго пользованія всѣмъ достояніемъ общины, и въ-четвертыхъ, «помочь», какъ самое широкое проявленіе коллективной нравственности". Особенно поражаетъ Златовратскаго эта послѣдняя черта общинной жизни, которая, какъ онъ думаетъ, органически вытекаетъ изъ ея основъ и представляетъ собою детально разработанную систему взаимопомощи, превратившуюся въ обязанность, вошедшую въ общій обиходъ жизни. Но стоитъ крестьянину выдѣлиться изъ общиннаго строя, сбросить съ себя общинныя обязанности, и нравственный уровень его значительно понижается. Могущественно также вліяніе общины и на взаимныя отношенія членовъ семьи. Здѣсь, въ общинѣ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ „Устоевъ" о своихъ герояхъ, „научились они, день за днемъ, обиходу семейному: почитать и бояться старѣйшаго въ домѣ и во всемъ къ нему обращаться, такъ какъ всякому онъ воздавалъ равное и чинилъ поравненіе въ работѣ, въ одеждѣ и въ пищѣ... Когда-же смута случалась въ домѣ, и старѣйшій не въ силахъ былъ ее прекратить собственной властью, или-же самъ не соблюлъ поравненія слабости ради людской, тогда всѣ выходили на міръ и общимъ рѣшеніемъ судили виновныхъ... Міръ, охраняя общій спокой совмѣстной жизни, бдѣлъ надъ каждымъ и чувства любви, справедливости, равенства въ ближнихъ воспитывалъ строго, воздавая трудолюбивымъ и мирнымъ почетъ, обороняя слабыхъ и хилыхъ, а нерадивыхъ и буйныхъ строго казня".

Такъ безконечно идеализируетъ Златовратскій русскую общину, видя въ ней единственно прочные „устои" народной жизни и глубоко скорбя при видѣ ихъ разложенія. Мы не станемъ здѣсь выяснять, какъ много ошибочнаго было въ такомъ пониманіи роли общины въ жизни русскаго крестьянства: ниже, въ очеркѣ о Г. Успенскомъ, мы остановимся довольно подробно на анализѣ отношенія этого послѣдняго къ общинному строю русской деревни, и это покажетъ намъ, насколько одностороненъ въ своихъ представленіяхъ о народной жизни Златовратскій. Вообще, при всемъ своемъ близкомъ знакомствѣ съ народомъ и основами его міросозерцанія, Златовратскій, въ большинствѣ случаевъ, останавливаетъ свое вниманіе только на такихъ явленіяхъ деревенской жизни, которыя оправдываютъ его глубокую вѣру въ русскій народъ и выработанныя имъ формы быта.

Но центральное мѣсто среди писателей-народниковъ 70-хъ годовъ принадлежитъ, несомнѣнно, Глѣбу Ивановичу Успенскому, которому и посвящается въ нашей книгѣ слѣдующій очеркъ.

VIII.

Мы прослѣдили, въ самыхъ общихъ чертахъ, развитіе въ нашей литературѣ изображенія народной жизни въ 40-е, 50-е, 60-е и 70-е годы. Это именно тотъ періодъ нашего художественнаго творчества, когда давно жившее въ русской литературѣ тяготѣніе къ народу достигло наиболѣе полнаго и широкаго развитія и отразилось болѣе или менѣе замѣтной струей въ дѣятельности почти всѣхъ сколько-нибудь выдающихся писателей этой эпохи [1]). Имѣя въ виду это своеобразное явленіе нашего художественнаго творчества, г. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей русской литературы“ говоритъ: „По обширности и своеобразности народной беллетристики наша литература не имѣетъ себѣ подобія въ Европѣ. Романы и повѣсти изъ народной жизни на Западѣ являются обыкновенно случайно и преслѣдуютъ господствующія психическія и художественныя цѣли. Немногіе-же писатели, спеціально посвятившіе свою дѣятельность изображенію народнаго быта, являются не объективными его изслѣдователями, а лицами преслѣдующими извѣстныя партійныя цѣли, сообразно которымъ и народъ они изображаютъ тѣми или другими красками. Въ противоположность этому, въ Россіи... явились десятки беллетристовъ, стремящихся постичь соціальныя основы народнаго быта, проникнуть въ сокровенные изгибы народной души“. Но, какъ указывалось нами, начала этого теченія нужно искать очень далеко, еще въ XVIII столѣтіи.

Это болѣе, чѣмъ вѣковое тяготѣніе нашей литературы къ народу свидѣтельствуетъ о томъ, насколько эта черта органически присуща ей и отнюдь не является чѣмъ-то случайнымъ, выдвинутымъ условіями одной опредѣленной эпохи. Тѣмъ не менѣе, нѣкоторые представители этого теченія въ области публицистики въ 70-е и 80-е годы, пытаясь опредѣлить его существенныя черты въ это время, считали его чѣмъ-то новымъ въ развитіи нашей литературной и общественной мысли. Именно этому періоду народострем ительнаго теченія въ литературѣ и жизни было присвоено названіе „*народничества*“. Изъ всего сказаннаго выше о развитіи въ нашей литературѣ и жизни интереса и симпатій къ народу должно быть, кажется, ясно, насколько неправильна указанная точка зрѣнія нѣкоторыхъ теоретиковъ народничества, съ одной стороны, и съ другой,—что самый терминъ „народничество“ будетъ наиболѣе правильнымъ примѣнять для названія давнишняго, глубоко коренящагося въ нѣдрахъ русской литературы и въ душѣ лучшихъ пред-

[1]) Вспомнимъ хотя-бы Л. Толстого съ его народными типами въ „Казакахъ“, „Севастопольскихъ разсказахъ“ и позднѣе—въ „Войнѣ и Мирѣ“, Достоевскаго съ его „Записками изъ мертваго дома“, Щедрина съ его „Губернскими очерками“, Лѣскова и мн. др.

ставителей нашего образованнаго общества влеченія къ народу, глубокаго сочувствія къ его горькой долѣ, стремленія прійти тѣмъ или инымъ способомъ ему на помощь. Въ различные періоды русской жизни, въ зависимости отъ историческихъ и общественныхъ условій ея развитія, народничество пріобрѣтало различныя новыя черты, но въ своей сущности, какъ она только что формулирована нами, оно оставалось неизмѣннымъ. Сжатую, но вѣрную характеристику народничества въ первыя десятилѣтія послѣ освобожденія крестьянъ, даетъ извѣстный русскій публицистъ 80 и 90-хъ годовъ прошлаго вѣка г. В. В. (Воронцовъ) въ своей книгѣ „Наши направленія". „Интересы народа, —говоритъ В. В.,—какъ цѣль, формы, вырабатываемыя его коллективной мыслью или другія соотвѣтствующія его желаніямъ, какъ средство, и самодѣятельность населенія, какъ рычагъ эволюціи,—таковы три положенія, характеризующія народничество, какъ оно опредѣлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи".

Въ это опредѣленіе цѣликомъ укладывается, между прочимъ, и творчество въ народническомъ направленіи такого крупнаго писателя, какъ Г. И. Успенскій. Въ виду, однако, того, что Г. Успенскій занимаетъ одно изъ виднѣйшихъ мѣстъ въ русской литературѣ второй половины XIX вѣка, мы остановимся, прежде всего, на общей характеристикѣ его таланта и литературнаго творчества, разсмотримъ его сочиненія, рисующія переломъ въ русской провинціальной жизни, вызванный эпохой „великихъ реформъ", и потомъ только перейдемъ къ обзору его произведеній, посвященныхъ изображенію жизни простого русскаго народа.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.

Общая характеристика Г. Успенскаго, какъ писателя.

I.

Въ ряду писателей—народниковъ наиболѣе видное мѣсто, какъ по таланту, такъ и по широтѣ и глубинѣ захвата народной жизни, принадлежитъ Глѣбу Ивановичу Успенскому (1840—1902 г.г.). Литературное наслѣдіе Г. Успенскаго носитъ на себѣ яркую печать могучаго поэтическаго таланта. Для правильнаго пониманія и оцѣнки этого обширнаго наслѣдія необходимо разобраться въ особенностяхъ его художественнаго творчества.

На первомъ планѣ здѣсь должна быть поставлена черта, присущая едва-ли не всѣмъ лучшимъ русскимъ художникамъ слова,—это трезвый реализмъ, способность къ правдивому воспроизведенію жизни, умѣніе уловить въ ней настоящую, истинную правду, хотя-бы она была почти недоступна наблюдателю и разрушала самыя святыя, завѣтныя вѣрованія автора. Эта черта таланта Успенскаго побуждала его всегда опираться въ своемъ творчествѣ на впечатлѣнія дѣйствительной жизни, въ огромномъ количествѣ доставлявшей обильный матеріалъ для ея художественнаго воспроизведенія. Оттого-то въ его творчествѣ такую важную роль играла его „растрепанная подруга, записная книжка“, гдѣ находилось множество разнаго рода „замѣтокъ, вырѣзокъ, выписокъ, набранныхъ случайно и на лету, кое-гдѣ и кое-какъ“, изъ которыхъ писатель черпалъ необходимыя ему данныя для своихъ произведеній.

Въ правдивомъ воспроизведеніи окружавшей дѣйствительности большую роль играла другая черта таланта Успенскаго—способность къ глубокому, всестороннему анализу наблюдаемыхъ явленій, окрашенному значительной долей скептицизма.

Склонность къ реально-художественному творчеству побуждала его къ переработкѣ впечатлѣній дѣйствительной жизни, а скептическій анализъ помогалъ вскрыть истинный ихъ смыслъ, разрушая всякіе „возвышающіе обманы“ и обнажая истину во всемъ ея часто неожиданномъ видѣ. Отмѣчен-

ныя двѣ особенности таланта Г. Успенскаго содѣйствовали тому, что въ его сочиненіяхъ находится въ высшей степени цѣнный матеріалъ для изученія русской жизни во вторую половину XIX вѣка.

II.

Указанными двумя основными чертами далеко не исчерпываются, однако, характерныя особенности таланта Г. Успенскаго. Заслуживаетъ вниманіе самая манера его творчества.

Сюда нужно, прежде всего, отнести свойственное только выдающимся талантамъ умѣніе одной, двумя чертами нарисовать цѣлый образъ, глубоко запечатлѣвающійся въ сознаніи читателя, или въ какой-нибудь десятокъ строчекъ вмѣстить огромный періодъ жизни своего героя и при томъ такъ, что онъ ярко живетъ въ вашемъ воображеніи.

Примѣровъ подобнаго мастерства можно было-бы привести многое множество, заимствуя ихъ чуть не изъ каждой страницы сочиненій Г. Успенскаго. Для иллюстраціи нашей мысли достаточно будетъ ограничиться однимъ—двумя первыми попавшимися подъ руку. Изображая въ первой части „Разоренія“ дореформенную семью чиновника Птицына, авторъ упоминаетъ о глухой матери его жены, „умѣвшей говорить только одну фразу: «въ карманъ, въ карманъ-то норови поболѣ»“. Это единственный штрихъ, рисующій образъ этой старухи, но онъ стоитъ подробной, на нѣсколько страницъ характеристики: въ немъ, какъ солнечные лучи въ фокусѣ лупы, сконцентрировалось все разнообразіе погони за наживой дореформеннаго чиновничества, въ ней одной полагавшаго весь смыслъ своего существованія. Это тотъ мазокъ кисти истиннаго художника, который вдругъ заставляетъ передъ вами жить дотолѣ мертвый образъ, который теперь врывается вамъ въ душу и будитъ цѣлую вереницу родственныхъ впечатлѣній и мыслей.

Та-же художественная манера—однимъ удачнымъ штрихомъ зажигать въ воображеніи читателя цѣлый образъ или картину сказывается у Г. Успенскаго не только въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ, но также и въ изображеніи картинъ жизни.

Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ относящихся сюда примѣровъ. Въ очеркѣ „Изъ біографіи искателя теплыхъ мѣстъ“ авторъ вскользь въ какихъ-нибудь 10—15 строкахъ даетъ намъ цѣлую исторію жизни деревенскаго „душегуба и кровопійцы“—цаловальника. Онъ наживается только „послѣ долговременнѣйшаго грабежа“. Приросши лѣтъ на 20—30 къ какому-нибудь поселку изъ пяти-шести дворовъ, онъ подъ проклятія и угрозы ограбливаемыхъ имъ обывателей пріобрѣтаетъ, наконецъ, „благосостояніе, т. е.

возможность ежеминутно мазать свои сапоги дегтярнымъ помазкомъ, а по праздникамъ окунать ихъ прямо въ бочку. Тутъ онъ начиналъ служить молебны, замаливать грѣхи..., питаясь самъ исключительно и непремѣнно только рѣдькой и не показывая вида, что въ подпольѣ у него хранится пара новыхъ лаптей, ибо какъ только прохожій солдатъ замѣчалъ ихъ..., то тотчасъ же догадывался о богатствѣ цѣловальника и начиналъ поглядывать подъ лавку, гдѣ лежалъ топоръ"... и т. д. Тутъ, что ни слово—все новый и новый необыкновенно яркій штрихъ, въ которомъ синтезирована цѣлая типическая сторона изображаемой жизни. Развѣ не типично, напримѣръ, для русскаго кабатчика долголѣтнее грошовое грабительство на небольшой, по своему пространству, территоріи и въ результатѣ—„благосостояніе" въ видѣ возможности имѣть въ подпольѣ пару новыхъ лаптей и смазывать сапоги, когда заблагоразсудится, дегтярнымъ помазкомъ; а это стремленіе во что-бы то ни стало скрыть свое ничтожное „богатство" отъ завистливыхъ очей и т. д.—развѣ все это не яркія типическія черты, любая изъ которыхъ можетъ быть развита въ цѣлую отдѣльную картину,—такой мастерской синтезъ цѣлаго ряда явленій даетъ каждая изъ нихъ въ отдѣльности.

Разсмотрѣнный только что отрывокъ можетъ служить прекраснымъ примѣромъ еще одной особенности творческой манеры Г. Успенскаго. Это—чрезвычайная густота художественной мысли, подъ которой мы разумѣемъ здѣсь рѣдкую даже у крупныхъ талантовъ способность въ немногомъ сказать многое, чрезвычайную содержательность его произведеній. На одной страницѣ онъ даетъ столько художественнаго матеріала, что другой писатель могъ-бы распространить его на цѣлые десятки. Н. К. Михайловскій, давшій въ своей статьѣ объ Успенскомъ лучшую въ нашей критической литературѣ характеристику его творчества, говоря объ этой особенности его сочиненій, сравниваетъ ихъ съ крѣпкимъ бульономъ, который можетъ приходиться по вкусу однимъ и не нравиться другимъ, но ужъ, навѣрное, не разбавленъ водой. Это нѣсколько прозаическое сравненіе какъ нельзя болѣе вѣрно освѣщаетъ не только указанную особенность творчества Успенскаго, но и отношеніе къ ней читателя. Дѣйствительно, художественная содержательность произведеній Успенскаго требуетъ отъ читателя гораздо большаго вниманія и напряженія мысли и воображенія, чѣмъ обыкновенная беллетристика. Вотъ почему поверхностному читателю не по плечу его произведенія, и онъ быстро бросаетъ ихъ, не умѣя справиться съ непривычнымъ богатствомъ художественнаго содержанія, сконцентрированнаго на небольшомъ пространствѣ.

Какъ на одну изъ коренныхъ особенностей творчества Успенскаго, слѣдуетъ также указать на его способность удивительно художественно вос-

производить характерныя особенности разговорной рѣчи различнаго рода русскихъ людей. Этотъ колоритный, яркій языкъ давно оцѣненъ его читателями, и многіе словечки и обороты рѣчи его дѣйствующихъ лицъ стали ходячими въ литературѣ и жизни.

III.

На ряду съ отмѣченными чертами въ произведеніяхъ Г. Успенскаго ярко бросается въ глаза и захватываетъ читателя горячая любовь автора къ человѣку, въ частности, къ русскому мужику. На каждой страницѣ его сочиненій чувствуется, что мы имѣемъ дѣло съ писателемъ, сердце котораго непрестанно скорбитъ и болѣетъ при видѣ людскихъ страданій и царящей кругомъ неправды. Особенно замѣтно это въ тѣхъ его произведеніяхъ, гдѣ онъ изображаетъ народъ и его жизнь. Чѣмъ болѣе темныхъ отталкивающихъ сторонъ вскрываетъ его безпощадный анализъ въ душѣ и бытѣ русскаго народа, тѣмъ сильнѣе чувствуется глубокая гуманность автора, проникнутаго безпредѣльной любовью къ русскому человѣку и заражающаго ею своего читателя.

IV.

Широко развитая способность къ скептическому анализу, обнаруживавшая передъ писателемъ темныя стороны современной жизни, съ одной стороны, и съ другой—глубокая гуманность и жалость къ людямъ, проникающія все существо Г. Успенскаго, послужили основой еще одной черты его таланта, которая замѣчается во многихъ его произведеніяхъ.

Это—юморъ, или же смѣхъ сквозь слезы, способность такъ изобразить жизнь, что отрицательныя стороны ея вызываютъ въ насъ смѣхъ, но мы въ то-же время проникаемся участіемъ и состраданіемъ къ тому, надъ кѣмъ смѣемся, и отъ души жалѣемъ его.

Объ этой художественной манерѣ, которая впервые нашла себѣ блестящее выраженіе въ твореніяхъ Гоголя, давно извѣстно, что она, какъ выразился Гоголь, „углубляетъ предметъ“, т. е. заставивъ читателя посмѣяться надъ несовершенствами и пороками выводимыхъ писателемъ лицъ, въ то-же время побуждаетъ его внимательнѣе всмотрѣться въ изображаемую жизнь, главнымъ образомъ, ея тяжелыя, темныя стороны и вызываетъ участіе къ чужому страданію въ гораздо большей степени, чѣмъ если-бы этого смѣха не было. Этой-то рѣдкой въ русской литературѣ творческой манерой въ совершенствѣ владѣетъ Г. Успенскій. Тотъ, кто внимательно прочтетъ такія произведенія, какъ „Наблюденія Махаила Ивановича“ (первая часть

„Разоренія“), разсказы „Неизлѣчимый“, „Нужда пѣсенки поетъ“, не говоря уже объ отдѣльныхъ мѣстахъ многихъ другихъ его сочиненій, тотъ согласится, что юморъ Успенскаго смѣло можетъ быть поставленъ на одну доску со знаменитымъ гоголевскимъ „смѣхомъ сквозь слезы“.

Возьмемъ для иллюстраціи хотя-бы первую главу „Наблюденій Михаила Ивановича“, гдѣ авторъ знакомитъ насъ съ личностью своего героя и его благороднымъ стремленіемъ громить на каждомъ перекресткѣ „прижимку“. Вы не можете не улыбаться, читая, напримѣръ, какъ Михаилъ Ивановичъ, не встрѣчая ни у кого отклика на свои пылкія рѣчи, въ порывѣ увлеченія, „надсѣдается надъ кулькомъ съ капустой“ на тему о томъ, что „пора простому человѣку дать дыханіе“, и какъ „кулекъ съ кочнями долго и внимательно выслушивалъ ропотъ Михаила Ивановича на разбойниковъ и грабителей“, пока тотъ не переберется въ другое мѣсто, гдѣ онъ разрывается передъ первымъ попавшимся слушателемъ и въ пылу гнѣва на отживающія времена не замѣчаетъ, что его безмолвный слушатель давно исчезъ, и онъ теперь ораторствуетъ передъ курчавымъ затылкомъ спящаго цѣловальника или-же ползущимъ по стойкѣ тараканомъ. Но въ то-же время вы всей душой сочувствуете этому страстному обличителю всяческихъ прижимокъ и неправдъ стараго строя и еще болѣе симпатизируете ему, увидавъ его въ смѣшномъ положеніи, ибо это смѣшное положеніе только еще болѣе свидѣтельствуетъ объ искренности и силѣ его возмущенія и протеста. Совершенно то-же можно было-бы показать и на другихъ многочисленныхъ примѣрахъ, гдѣ проявляется во всемъ блескѣ юморъ Успенскаго.

V.

Мы разсмотрѣли тѣ важнѣйшія стороны таланта Г. Успенскаго, которыя дѣлаютъ изъ него одного изъ выдающихся писателей русской литературы. И однако-же нельзя не признать, что сочиненія его, при всемъ ихъ достоинствѣ и огромномъ значеніи, читаются сравнительно мало. По замѣчанію В. Г. Короленко, Успенскій становится труденъ для читателя. Трудность эта, конечно, чувствовалась и въ періодъ появленія въ печати его произведеній, но тогда она менѣе замѣчалась, благодаря жгучей современности освѣшаемыхъ имъ вопросовъ. Теперь-же эта сторона его произведеній все болѣе и болѣе бросается въ глаза.

Причины этого кроются въ нѣкоторыхъ особенностяхъ его творчества, на анализѣ которыхъ мы теперь и остановимся.

Просматривая оглавленіе сочиненій Успенскаго, невольно поражаешься своеобразными ихъ заглавіями: очерки, мелочи, замѣтки, отрывки изъ дневника, наброски, письма и т. д. Эти заглавія, какъ нельзя болѣе, со-

отвѣтствуютъ общему характеру его произведеній, носящихъ на себѣ печать полнаго пренебреженія автора къ установившимся, носящимъ слѣдъ болѣе или менѣе тщательной обработки художественнымъ формамъ. Авторъ точно предлагаетъ читателю плоды своего творчества въ черновомъ, неоконченномъ видѣ, гдѣ, на ряду съ блестящими, въ художественномъ отношеніи, страницами, мы встрѣчаемъ блѣдныя и по содержанію и по формѣ мѣста, чуждыя почти вовсе поэтическаго элемента, параллельно съ детальной разработкой отдѣльныхъ чертъ характера и настроеній однихъ героевъ—почти полное отсутствіе обрисовки другихъ, хотя они во всѣхъ отношеніяхъ представляютъ не меньшій интересъ, чѣмъ тѣ, кому авторъ удѣляетъ свое преимущественное вниманіе. Эта необработанность формы не можетъ, до нѣкоторой степени, не удручать читателя, развившаго свой вкусъ на произведеніяхъ художниковъ-реалистовъ, столько-же удѣлявшихъ вниманія содержанію, сколько и формѣ своихъ твореній.

VI.

Другой чертой произведеній Успенскаго, ослабляющей интересъ къ нимъ читателя, является, такъ сказать, художественный аскетизмъ ихъ автора, обходящаго въ своемъ творчествѣ все то, что не ведетъ прямо къ намѣченной цѣли, не приближаетъ читателя къ той мысли или чувству автора, подѣлиться которыми стало для него неизбѣжной необходимостью. Отсюда вытекаетъ почти полное отсутствіе въ его произведеніяхъ болѣе или менѣе обширныхъ описаній обстановки, въ которой происходитъ дѣйствіе, наружности дѣйствующихъ лицъ, а также изображенія картинъ природы, что съ перваго раза представляется особенно страннымъ у писателя, имѣющаго дѣло, главнымъ образомъ, съ деревней и дорожними впечатлѣніями.

Такъ, напримѣръ, о главной героинѣ „Разоренія“ Надѣ Черемухиной, росту внутренняго самосознанія которой авторъ удѣляетъ не мало мѣста, мы почти не знаемъ ничего, что помогло-бы намъ представить ея образъ во всей полнотѣ и законченности. Автору нужно было показать, какъ постепенно просвѣтляется ея внутренній міръ, и онъ, чтобы не отвлекать вниманіе читателя отъ этой главной своей задачи, обходитъ молчаніемъ многое изъ того, что, получивъ художественное воспроизведеніе, содѣйствовало-бы яркости и законченности образа его героини и тѣмъ самымъ помогло-бы читателю глубже проникнуться основной идеей автора.

Н. К. Михайловскій и В. Г. Короленко, близко знавшіе Г. Успенскаго, сходятся въ объясненіи одной изъ причинъ этой черты творчества Успенскаго, несомнѣнно оказывающей расхолаживающее вліяніе на его читателей.

По ихъ мнѣнію, художественный аскетизмъ Г. Успенскаго, въ значительной мѣрѣ, объясняется чрезвычайной его отзывчивостью на окружающія явленія жизни и связанной съ нею лихорадочной торопливостью въ передачѣ своихъ впечатлѣній читателю. По словамъ Михайловскаго, ему не разъ приходилось наблюдать, какъ Успенскій, разсказавъ о томъ или другомъ поразившемъ его впечатлѣніи и навѣянныхъ имъ мысляхъ, чуть не въ тотъ-же день записывалъ все это на бумагу, „а исписанная бумага отправлялась въ типографію клочками, по мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ“,— такъ велико было его стремленіе подѣлиться мучившими его мыслями съ читателемъ. Онъ рѣшительно не могъ „вынашивать“ своихъ произведеній, пока они, наконецъ, созрѣютъ въ его воображеніи. „Ему,—говоритъ В. Г. Короленко, нужна была не красота, не цѣльность впечатлѣнія, не самый образъ. Съ лихорадочной страстностью онъ искалъ матеріаловъ для созиданія новой совѣсти, правилъ для новой жизни или хотя-бы для новыхъ исканій этой жизни... Что еще только мелькало впереди смутными очертаніями будущей правды, за тѣмъ онъ гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится въ душѣ въ ясный, самодовлѣющій образъ. Онъ пытался обрисовать его поскорѣе для насущныхъ надобностей данной исторической минуты тѣми словами, какія первыя приходили на умъ“.

VII.

Послѣднія слова В. Г. Короленка объясняютъ еще одну особенность въ произведеніяхъ Успенскаго—это мѣстами тяжелый, неясный языкъ.

Для примѣра разсмотримъ хотя-бы одинъ отрывокъ изъ разсказа „Неизлѣчимый“, отличающагося цѣннымъ содержаніемъ и мѣстами блещущаго неподдѣльной художественностью. Въ началѣ разсказа рѣчь идетъ о глухомъ городишкѣ, въ которомъ происходитъ дѣйствіе. Вотъ его описаніе. „Городъ принадлежалъ къ числу самыхъ заброшенныхъ, самыхъ бѣдныхъ и глухихъ провинціальныхъ угловъ, въ которомъ, кромѣ всѣхъ видовъ бѣдности и всѣхъ видовъ неразлучнаго съ бѣдностью невѣжества—то забитаго, рабскаго, безпомощнаго, то самодовольнаго и поэтому еще болѣе, чѣмъ другіе сорта, отвратительнаго,—помимо всего этого, хорошо и давно знакомаго всѣмъ, знающимъ русскія захолустья, городокъ этотъ поражалъ всякаго, даже посторонняго зрителя и поражалъ очень непріятно явными признаками вымиранія тѣхъ ничтожныхъ крупицъ жизненной силы, которая въ прежнее время давала ему хоть и «кой-какую», но все-таки «возможность существовать, жить, имѣть хоть и крошечныя, но все-таки дѣйствительныя цѣли, побуждающія его, перебиваясь изо-дня въ день, надѣяться на что-то въ будущемъ»“.

Не говоря уже о синтаксической неуклюжести этого громаднаго, болѣе, чѣмъ въ сотню словъ, періода, съ множествомъ придаточныхъ предложеній, нанизанныхъ одно на другое и только запутывающихъ мысль, самое содержаніе его представляется чрезвычайно туманнымъ. Авторъ говоритъ какими-то общими мѣстами, которыя, слѣдуя одно за другимъ, расплываются въ сознаніи читателя въ нѣчто очень неясное и неопредѣленное. Подъ понятія „явныя признаки вымиранія", „крупицы жизненной силы", „хоть и крошечныя, но все-таки дѣйствительныя цѣли" и т. д. можно, вѣдь, подставить самое разнообразное содержаніе,—такъ они широки и расплывчаты по своему содержанію. Если подобныя неясности объясняются иногда увѣренностью автора, что современный читатель пойметъ его съ одного намека, то порою онѣ происходили, несомнѣнно, и потому, что онъ самъ не успѣвалъ вполнѣ осмыслить то, о чемъ по необходимости приходилось говорить, чтобы сдѣлать читателя участникомъ мучительныхъ для него мыслей и тѣмъ хоть нѣсколько ослабить собственныя душевныя терзанія.

VIII.

Наконецъ, что сильно вредитъ силѣ художественнаго впечатлѣнія отъ сочиненій Успенскаго и дѣлаетъ ихъ трудно читаемыми, это—постоянныя отступленія отъ беллетристической формы изложенія вслѣдствіе стремленія автора пояснять свои мысли не только художественными образами, но и отвлечнными разсужденіями. Публицистическій элементъ, находящійся въ первыхъ произведеніяхъ Успенскаго въ ограниченномъ количествѣ и потому неособенно ослабляющій художественное впечатлѣніе, съ годами все болѣе и болѣе усиливается и подъ конецъ почти вовсе вытѣсняетъ художественную форму. Этотъ элементъ отвлеченныхъ авторскихъ разсужденій такъ пестритъ собою поэтическія страницы произведеній Успенскаго и причудливо переплетается съ ними, что нѣтъ возможности обойти его при чтеніи; онъ на каждомъ шагу прерываетъ спокойный ходъ художественнаго воспріятія и тѣмъ разрушаетъ цѣльность эстетическаго впечатлѣнія, утомляя вниманіе и навѣвая скуку на неподготовленнаго читателя.

IX.

Такимъ образомъ, на ряду съ выдающимися крупными достоинствами, въ талантѣ Успенскаго замѣчаются такія черты, которыя, въ значительной степени, ослабляютъ вліяніе на читателя произведеній этого автора. Выше было указано, насколько эти отрицательныя свойства его сочиненій зависятъ отъ нѣкоторыхъ особенностей его духовной организаціи.

Однако, помимо чисто внутреннихъ причинъ, коренящихся въ личности Г. Успенскаго, отмѣченные только что недостатки его произведеній, въ значительной мѣрѣ, объясняются условіями литературной его дѣятельности а также, главнымъ образомъ, тѣми взглядами на искусство и назначеніе писателя, которые были господствовавшими въ 60-е и 70-е годы, и той эволюціей въ русской художественной литературѣ, которая произошла въ это время.

Тогда какъ примѣрно до половины пятидесятыхъ годовъ наша художественная литература сосредоточивалась въ средѣ дворянскаго сословія, съ этого времени на литературное поприще выступаетъ цѣлый рядъ писателей-разночинцевъ, открывшихъ своею дѣятельностью дотолѣ неизвѣстныя области для художественнаго воспроизведенія и внесшихъ новое, незнакомое писателямъ предшествовавшей эпохи трактованіе литературныхъ сюжетовъ.

У поколѣнія людей 40-хъ годовъ, какъ извѣстно, на первомъ планѣ была эстетика. Это поклоненіе красотѣ во всѣхъ ея видахъ отразилось и на взглядѣ на литературныя произведенія, отъ которыхъ, прежде всего, требовалась художественная отдѣлка формы. Было совершенно обычнымъ, естественнымъ явленіемъ сидѣть по нѣсколько лѣтъ надъ однимъ произведеніемъ, многократно передѣлывая и отшлифовывая его. Этому содѣйствовала и матеріальная обезпеченность авторовъ, для которыхъ занятія литературой не носили характера профессіи, а главное—мертвенный строй тогдашней русской общественной жизни, подавленной гнетомъ реакціи и чуждой потому вякихъ живыхъ, быстро смѣняющихся теченій и перемѣнъ. Всѣ литературные корифеи той эпохи были связаны между собою болѣе или менѣе близкими, часто дружескими отношеніями, общностью литературныхъ интересовъ, которые успѣли вылиться въ опредѣленныя традиціи, безсознательно усваиваемыя всякимъ, кто шелъ по проложенному ими пути.

Литературная молодежь 50—60-хъ годовъ не имѣла ничего общаго съ писателями 40-хъ годовъ. Въ своей автобіографіи Успенскій прямо заявляетъ, что у него не было никакой связи съ крупными писателями предшествовавшей эпохи. И это надо понимать не только въ смыслѣ личныхъ отношеній, но и литературныхъ традицій, которыя были отвергнуты вмѣстѣ съ эстетическими увлеченіями предшествовавшаго поколѣнія [1]).

Да и самая жизнь пробудившагося и вступившаго на новый путь развитія общества, постоянно открывавшая внимательному наблюдателю все новыя и новыя загадочныя стороны, не могла уже содѣйствовать прежней

---

[1]) Чрезвычайно характеренъ въ этомъ отношеніи, какъ черточка эпохи, совѣтъ Базарова, обращенный къ Аркадію: „другъ мой, пожалуйста, не говори красиво“.

спокойной, тщательной литературной работѣ. Окружавшая дѣйствительность на каждомъ шагу ставила огромныя задачи и трудно разрѣшимые вопросы, и чуткому писателю, всѣмъ существомъ своимъ переживающему волну общественнаго обновленія, было не до того, чтобы отдаться спокойному художественному созерцанію, безъ котораго немыслимо созданіе законченнаго произведенія искусства. Приходилось писать, говоря словами Бёрне, кровью сердца и сокомъ нервовъ, стремясь поскорѣе отозваться на жгучія явленія современности.

Таковы, въ сжатомъ очеркѣ, тѣ внѣшнія общественно-литературныя причины, которыя способствовали тому, что Успенскій, обладая выдающимся художественнымъ талантомъ, не проявилъ его во всей силѣ и полнотѣ, а наоборотъ, точно самъ заглушалъ и коверкалъ его.

X.

Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, не лишне будетъ остановиться еще на одной сторонѣ условій литературной дѣятельности того времени, которая также вліяла на общій характеръ творчества Успенскаго. Она станетъ ясна, если припомнить то, что говоритъ Успенскій въ предисловіи къ первому изданію своихъ сочиненій, гдѣ онъ разсказываетъ не лишенныя интереса подробности, относящіяся къ исторіи нѣкоторыхъ его произведеній. „Времена,—писалъ онъ тамъ,—пережитыя русской журналистикой въ шестидесятыхъ годахъ, были преисполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстраивавшихъ ея правильное теченіе“. Неожиданныя перемѣны въ судьбѣ различныхъ литературныхъ изданій, не могли не отражаться и на творчествѣ писателей, помѣщавшихъ въ нихъ свои произведенія: чисто внѣшнія затрудненія, не позволяли „благополучно начать и кончить задуманную работу“.

Успенскій приводитъ яркій примѣръ того, насколько тогдашняя судьба русской журналистики отражалась на его собственномъ творчествѣ. Первое крупное его произведеніе: „Нравы Растеряевой улицы“, помѣщенные въ „Современникѣ“ 1866-го года, прекратились на четвертой главѣ вслѣдствіе закрытія этого журнала. Конечно, „все,—говоритъ Успенскій,—что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ „Современникѣ“, надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть для того, чтобы „продолженіе“ имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ „сдѣлана“ иная обстановка, и самое названіе измѣнено“. Уже этотъ случай показываетъ, насколько долженъ былъ измѣниться первоначальный замыселъ „Нравовъ Растеряевой улицы“, и насколько потеряло это произведеніе въ смыслѣ единства композиціи благодаря катастрофѣ съ „Со-

временникомъ". Но этимъ не окончились злоключенія перваго большого произведенія Успенскаго. Дальнѣйшую серію относящихся сюда разсказовъ автору пришлось помѣстить въ „Женскомъ Вѣстникѣ", такъ какъ другихъ литературныхъ журналовъ почти вовсе не было. „Можно поэтому судить,— замѣчаетъ Успенскій,—что должна была претерпѣть „Растеряева улица" со своими пьяницами „сапожниками и мастеровщиной", появляясь въ журналѣ, посвященномъ женскому развитію, женскому вопросу! При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣй, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-же было дѣлать? Я ихъ умылъ, пріодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше".

Такимъ образомъ, изъ исторіи появленія въ свѣтъ „Нравовъ Растеряевой улицы", разсказанной самимъ авторомъ, видно, что чисто внѣшнія условія литературной работы были у Г. Успенскаго таковы, что они оказывали свое отрицательное вліяніе на его творчество, не давая возможности осуществить его поэтическіе замыслы въ томъ видѣ, какъ они опредѣлились въ его воображеніи.

XI.

Мы разсмотрѣли положительныя и отрицательныя стороны творческаго таланта Г. Успенскаго. Мы видѣли, что онѣ зависятъ не только отъ индивидуальныхъ особенностей автора, но также, въ значительной мѣрѣ, отъ тѣхъ внѣшнихъ условій, при которыхъ возникла и протекла его литературная дѣятельность.

Въ большей степени отъ внѣшнихъ причинъ, чѣмъ отъ личныхъ качествъ Г. Успенскаго, зависитъ содержаніе его творчества, опредѣляющееся біографіей писателя, въ которой видное мѣсто занимаетъ вліяніе господствовавшихъ идей эпохи. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ у насъ нѣтъ сколько-нибудь обстоятельной біографіи Успенскаго, которая имѣла бы большое значеніе для надлежащаго литературнаго изслѣдованія его произведеній: не даромъ онъ говоритъ въ своей коротенькой автобіографической запискѣ, написанной по просьбѣ издателя его сочиненій Ф. Павленкова, что его жизнь пересказана почти изо дня въ день въ его книгахъ, и, значитъ, для правильнаго пониманія его творчества необходимо знакомство съ его жизнью. Однако и тѣ немногія данныя, которыя мы находимъ въ его автобіографіи, даютъ въ этомъ отношеніи нѣкоторыя руководящія нити, которыми необходимо воспользоваться, чтобы раскрыть, въ общихъ чертахъ, содержаніе и направленіе творчества Успенскаго, а также тѣ причины, которыми они обусловливались.

Произведенія Успенскаго можно раздѣлить на двѣ большихъ группы: къ первой изъ нихъ, болѣе ранней, относятся очерки и разсказы, содержаніемъ которыхъ служитъ жизнь обывателей небольшихъ провинціальныхъ городовъ: мелкаго чиновничества, мѣщанства, мастеровыхъ, духовенства и т. д.; во второй изображаются различныя стороны народно-крестьянскаго быта.

XII.

Сочиненія перваго отдѣла есть плодъ живыхъ дѣтскихъ и юношескихъ впечатлѣній, результатъ всего пережитаго, вѣрнѣе, выстраданнаго въ молодые годы. Весь этотъ ужасъ затхлаго обывательскаго существованія, съ его низменными, вращающимися исключительно около наживы и прозябанія изо дня въ день интересами, грубостью, невѣжествомъ и всяческой неправдой—все это авторъ узналъ не въ качествѣ сторонняго наблюдателя, какъ мимолетное впечатлѣніе, а выстрадалъ своимъ собственнымъ горькимъ опытомъ. „Вся моя личная жизнь,—пишетъ онъ въ автобіографіи,—вся обстановка моей личной жизни лѣтъ до 20-ти обрекала меня на полное затменіе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и, вообще, отдаляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20-ти лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ“.

Вотъ гдѣ источникъ тѣхъ впечатлѣній, которыя легли въ основу „Нравовъ Растеряевой улицы“, и того душевнаго надрыва, страдальческой нотки самого писателя, которая звучитъ во всѣхъ его произведеніяхъ. Дѣтскіе и юношескіе годы раскрыли передъ Успенскимъ весь мракъ захолустной дореформенной провинціальной жизни, напитали его душу обильнымъ запасомъ наблюденій надъ ней и личнаго горькаго опыта. Все это должно было найти себѣ и нашло выходъ въ его творчествѣ, когда окрѣпшій литературный талантъ почувствовалъ въ себѣ силу для созданія изъ этихъ впечатлѣній широкой картины дореформенной провинціальной жизни.

Изъ сказаннаго видно, что впечатлѣніями дѣтскаго и юношескаго возраста, по большей части, выстраданными авторомъ, обусловливается содержаніе перваго его крупнаго произведенія, гдѣ читатель находитъ глубоко правдивыя картины захолустной русской жизни наканунѣ „эпохи великихъ реформъ“. Отсюда понятна тѣсная связь перваго періода творчества Успенскаго съ его жизнью.

Если прослѣдить за дальнѣйшимъ разсказомъ его автобіографіи, связь эта станетъ еще яснѣе. Говоря о переворотѣ, наступившемъ въ русской жизни съ 1861-го года, Успенскій упоминаетъ о томъ, какъ ему выпало на

долю „перетерпѣть все то разореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить годы дѣтскіе и юношескіе; надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которыхъ выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что «не тѣ времена»".

Изъ этого отрывка видно, что и слѣдующая серія очерковъ Успенскаго, объединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ „Разореніе", есть тоже результатъ выстраданныхъ впечатлѣній, неразрывно связанныхъ съ тѣми, которыми была полна его молодость въ дореформенную эпоху. Будущій біографъ Успенскаго, въ распоряженіи котораго будетъ большій или меньшій фактическій матеріалъ, касающійся его жизни, установитъ подробно и точно эту связь между творчествомъ перваго періода и тѣмъ, что было пережито авторомъ. Теперь же, за отсутствіемъ подробныхъ данныхъ, приходится ограничиться установленіемъ самаго факта такой связи.

XIII.

Проявившееся съ новой силой въ семидесятые годы народническое теченіе въ литературѣ захватило всецѣло и Успенскаго. Какъ это произошло, подъ чьимъ вліяніемъ, объ этомъ автобіографія умалчиваетъ. Извѣстно только, что исканіе „подлинной правды жизни", послѣ заграничныхъ скитаній, привело его къ ея „источнику" въ представленіи тогдашняго народничества—къ мужику, въ деревню, въ одинъ изъ уѣздовъ Самарской губерніи, гдѣ онъ взялъ на себя завѣдываніе крестьянской ссудо-сберегательной кассой. „По несчастью,—говоритъ Успенскій,—я попалъ въ такія мѣста, гдѣ «источника» видно не было... Деньга привалила въ эти мѣста, и я видѣлъ только, до чего можетъ дойти бездушный мужикъ при деньгахъ. Я здѣсь, въ теченіе $1^1/_2$ года, не зналъ ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народъ. Я писалъ о томъ, какая онъ свинья, потому что онъ дѣйствительно творилъ преподлѣйшія вещи".

Въ этихъ строкахъ автобіографіи мы находимъ указаніе, въ какой непосредственной связи съ живыми впечатлѣніями деревенской жизни находятся тѣ изъ его очерковъ, посвященныхъ изображенію русскаго мужика, въ которыхъ онъ въ пору увлеченія народными идеалами и преклоненія передъ мнимой народной правдой дерзнулъ обнаружить различнаго рода язвы и темныя пятна какъ въ этихъ идеалахъ, такъ и современномъ простонародномъ бытѣ. Такимъ образомъ, эти очерки являются продуктомъ самаго близкаго соприкосновенія съ народной средой, продиктованы самой жизнью, выражаютъ въ художественно-публицистической передачѣ то, что съ

такой болью было выстрадано авторомъ, проникшимъ въ самыя нѣдра этой жизни.

Пораженный страшнымъ разладомъ между тѣми иллюзіями, которыми жило его народолюбческое сердце, и ужасной дѣйствительностью народной жизни, какую открылъ его наблюдательный взоръ, онъ переѣхалъ изъ Самарской губерніи въ Новгородскіе лѣса, въ усадьбу, гдѣ жила одна только крестьянская семья. Здѣсь, наблюдая земледѣльческій бытъ и слѣдя за тѣмъ, какъ дикое мѣсто стало оживать подъ сохою пахаря, онъ, по его словамъ, „въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно одну подлинную, важную черту въ основахъ жизни русскаго народа—именно, власть земли". Такъ долго и такъ страстно отыскиваемая правда народной жизни, наконецъ, была обрѣтена Успенскимъ не путемъ какихъ-либо отвлеченныхъ разсужденій, а изъ наблюденія надъ самой настоящей крестьянской жизнью, не тронутой никакими посторонними вліяніями. Съ этого времени Успенскій до конца своей литературной дѣятельности, попрежнему опираясь въ своемъ творчествѣ на реальные факты жизни, стремится всесторонне развить и обосновать отысканную имъ „подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа", чутко слѣдя въ то-же время за всѣми перемѣнами въ ней.

XIV.

Итакъ, изъ краткаго обзора важнѣйшихъ періодовъ жизни Г. Успенскаго, насколько они отразились въ его автобіографіи, въ связи съ ходомъ его литературной дѣятельности можно видѣть, что его творчество всегда опиралось на впечатлѣнія отъ дѣйствительной жизни, которыми опредѣляется то богатое и разнообразное содержаніе, какое мы находимъ въ его сочиненіяхъ. Болѣе подробное разсмотрѣніе важнѣйшихъ изъ нихъ покажетъ, какъ глубоко захватилъ Г. Успенскій русскую провинціальную и простонародную жизнь въ ея различныхъ проявленіяхъ, главнымъ образомъ, послѣ великаго акта 19 февраля 1861-го года и другихъ великихъ реформъ, связанныхъ съ освобожденіемъ крестьянъ.

Разореніе.

I.

Въ произведеніяхъ писателей 40-хъ годовъ, разсмотрѣнныхъ въ первой части нашихъ „Чтеній", довольно видное мѣсто занимаетъ изображеніе тѣхъ явленій русской жизни, которыя находились въ непосредственной связи съ „эпохой великихъ реформъ". Такъ, Базаровъ въ „Отцахъ и дѣ-

тяхъ“ Тургенева Райскій, Вѣра, Маркъ Волоховъ въ „Обрывѣ“ Гончарова, Жадовъ въ „Доходномъ мѣстѣ“ Островскаго—все это образы, на которыхъ, въ большей или меньшей степени, отразились новыя вѣянія русской жизни.

Однако, эти писатели не показали намъ, какъ отразилось коренное измѣненіе въ общемъ строѣ нашей жизни на тѣхъ классахъ общества, которые въ дореформенную пору стояли ниже богатаго дворянско-помѣщичьяго слоя, какъ, напримѣръ, мелкое провинціальное чиновничество, мелкопомѣстное дворянство, мѣщанство самыхъ различныхъ положеній и профессій, наконецъ, народно-крестьянская среда, на которой, какъ и на помѣщичьей, наиболѣе сказалось вліяніе великой освободительной реформы. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Условія жизни писателей 40-хъ годовъ сложились такъ, что ихъ наблюденію была доступна, главнымъ образомъ, дворянско-помѣщичья среда. Если-же нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Островскій, захватили бытъ и другихъ сословій, то съ той стороны, гдѣ вліяніе государственныхъ реформъ 60-хъ годовъ мало или почти вовсе не обнаруживалось.

Этотъ пробѣлъ прекрасно пополняетъ Г. Успенскій, какъ бы дорисовывающій то, что въ русской жизни въ „эпоху великихъ реформъ“ осталось въ сторонѣ отъ художественнаго воплощенія въ произведеніяхъ писателей 40-хъ годовъ. Сюда относится, прежде всего, нѣсколько очерковъ, объединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ „Разореніе“ и захватывающихъ собою цѣлы рядъ разнообразныхъ сторонъ провинціальной жизни, потрясенной реформами 60-хъ годовъ. Въ составъ ихъ входятъ три отдѣльныхъ группы очерковъ, подъ самостоятельными заглавіями: „Наблюденія Михаила Ивановича“, „Тише воды, ниже травы“ и „Наблюденія одного лѣнтяя“. Первые два изъ нихъ связаны единствомъ дѣствующихъ лицъ (мать, дочь и сынъ разоренной семьи); третій, чуждый этого внѣшняго единства, примыкаетъ, однако, близко къ нимъ по причинной связи явленій, изображенныхъ во всѣхъ трехъ очеркахъ.

II.

Самъ авторъ въ подстрочномъ примѣчаніи къ „Разоренію“ указываетъ нѣкоторые недостатки этого произведенія. Онъ говоритъ, напримѣръ, о томъ, что первоначальный замыселъ его—составить изъ „Разоренія“ одну большую работу ему не удалось осуществить и, вслѣдствіе того, что отдѣльныя группы очерковъ появлялись въ свѣтъ со значительными перерывами времени, каждой изъ нихъ приходилось придавать форму самостоятельнаго

произведенія, какъ будто оно не имѣло никакой связи съ предшествовавшими очерками; для этого оказывалось необходимымъ дѣлать нѣкоторыя измѣненія въ характерѣ главныхъ дѣствующихъ лицъ, окружающей ихъ обстановкѣ и т. п.

Изъ этого примѣчанія автора видно, что „Разореніе“ заставляетъ желать многаго съ точки зрѣнія техники построенія. Дѣйствительно, обращаясь къ очеркамъ, мы замѣчаемъ повторенія въ отдѣльныхъ изъ нихъ однѣхъ и тѣхъ-же мыслей, достаточно уже, какъ кажется тому, кто читаетъ ихъ подрядъ, выясненныхъ авторомъ; подчеркиваніе въ дѣйствующихъ лицахъ какой-либо черты, съ варіаціями ея на разные лады, что, въ концѣ концовъ, нѣсколько надоѣдаетъ читателю. Такъ, напримѣръ, образъ Михаила Ивановича только выигралъ-бы въ яркости и силѣ производимаго имъ впечатлѣнія на читателя, если-бы авторъ не говорилъ намъ такъ много разъ о его однообразныхъ жалобахъ и злости на „прижимку“. Именно вслѣдствіе частаго повторенія, онѣ наскучаютъ, и потому теряется сила впечатлѣнія. Всѣ эти излишества, равно какъ и нѣкоторая, такъ сказать, художественная недосказанность въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ, когда авторъ пропускаетъ цѣлые періоды изъ жизни своихъ героевъ (напр. образъ Нади; см. ниже), не имѣли-бы, конечно, мѣста, если-бы Успенскій могъ, подобно писателямъ 40-хъ годовъ, заниматься продолжительное время обработкой своихъ произведеній.

Но если-бы „Разореніе“ выиграло при такой переработкѣ съ точки зрѣнія художественной цѣльности и доставило большее эстетическое наслажденіе читателю, то едва-ли-бы отъ этого прибавилось много новаго матеріала для характеристики той стороны русской жизни, которая нашла себѣ отраженіе въ „Разореніи“. Въ этомъ отношеніи разсматриваемые очерки и теперь, не будучи объединены въ стройное художественное цѣлое, даютъ богатѣйшія данныя для сужденія о томъ, какъ повліяло освобожденіе крестянъ и послѣдовавшія за нимъ реформы, а также общій духъ времени на нашу провинцію, изъ жизни которой взято содержаніе очерковъ.

III.

Уже одно заглавіе этихъ очерковъ—„Разореніе“ указываютъ намъ, какъ отразилась новая эра русской жизни на существованіи провинціи: она внесла туда разладъ, разложеніе, полное моральное и матеріальное разореніе. Авторъ наглядно доказываетъ эту мысль въ третьемъ очеркѣ первой части своего произведенія подъ заглавіемъ „Разоренные“. Онъ показываетъ здѣсь, что сталось съ семействами Черемухиныхъ и Птицыныхъ, которые

„составляли одно лихоимное гнѣздо, какихъ вездѣ было много, и которые дорого обходились народу“. Такимъ образомъ, передъ нами „гнѣздо“ дореформеннаго провинціальнаго чиновничества. Родоначальникомъ его является Птицынъ, за „рвеніе и энергію“ получившій „теплое мѣсто и возможность быть сытымъ“, т. е. заниматься взяточничествомъ и казнокрадствомъ. Многочисленная семья Птицына представляла собою поразительное единство въ этомъ отношеніи. Основной тонъ всему давала глухая мать жены Птицына, постоянно твердившая одну фразу: „въ карманъ-то, въ карманъ-то норови поболѣ“; ея наставленія энергично проводились въ жизнь достойной ея дочерью, „которая конкурировала съ мамашей въ болѣе широкомъ пониманіи и изложеніи мыслей на счетъ кармана“, нѣсколькими сыновьями, воспитанными въ привычкѣ къ доходамъ во вкусѣ бабки и матери, и мужьями дочерей Птицына, которые тоже желали быть „очень сытыми“ и „расправили пасти и цѣпкія руки“, такъ что всѣ вмѣстѣ, въ концѣ концовъ, „образовали огромный взяточный полипъ“. Съ внѣшней стороны, дѣятельность этого „полипа“ не представляла собою ничего особенно внушительнаго: все было обставлено „прилично“, грубаго вымогательства не было, наоборотъ, дѣло велось такимъ образомъ, что просители, подносившіе взятку, ползали на колѣняхъ, умоляя принять ее. Всѣ благодушествовали. „Пированіе на чужой счетъ шло долго“. Всѣ до такой степени привыкли къ такому порядку жизни, что ни одному члену „полипа“ и въ голову не приходило о преступности его дѣяній, о возможности разоблаченій, отвѣтственности и т. д. „Многое множество было поглощено этой прорвой чужихъ денегъ, трудовъ, слезъ“.

Но вотъ началась война, пошли разоблаченія и... грянулъ громъ. „Гнѣздо разорено было мгновенно“. Разореніе это состояло не только въ потерѣ насиженныхъ „доходныхъ мѣстъ“, но и значителъной доли благопріобрѣтеннаго. Это одна сторона разоренія, такъ сказать, внѣшняя, матеріальная. Благодаря потерѣ службы и связанныхъ съ нею „доходовъ“, а также многаго изъ того, что было раньше накоплено про черный день, членамъ „полипа“ и ихъ семействамъ пришлось значительно сократить свои аппетиты и привычку жить припѣваючи. Но это еще было полъ-бѣды.

Гораздо ужаснѣе то разореніе, которое потерпѣлъ внутренній строй этого гнѣзда. Единственной цѣлью жизни у членовъ этого гнѣзда, единственнымъ связывавшимъ ихъ другъ съ другомъ звеномъ была погоня за матеріальной наживой. Это былъ тотъ цементъ, который, казалось, крѣпко спаивалъ всѣхъ въ одно нераздѣльное цѣлое. Но эта связь существовала только до тѣхъ поръ, пока была возможна погоня за наживой. „Исчезла нажива— разорвалась и притворная связь мужей и женъ, отцовъ и дѣтей“, говоритъ

авторъ въ другомъ мѣстѣ, рисуя аналогичную картину жизни („На старомъ пепелищѣ"). Семейныя отношенія, построенныя на лжи, притворствѣ, грубомъ матеріальномъ расчетѣ, не замедлили дать свои плоды: происходитъ полный „распадъ" семьи, въ домашнихъ отношеніяхъ водворяется настоящій адъ; взаимныя обвиненія, безконечныя ссоры, непрерывные упреки, взваливаніе на отца вины въ томъ, что „не умѣлъ во время подмазать ревизора", пожалѣлъ, и т. п. Кое-кто изъ сыновей и родственниковъ, отвертѣвшись какъ-то отъ уголовныхъ дѣлъ, поспѣшили кинуть на произволъ судьбы остальныхъ членовъ семьи и разъѣхались въ разныя стороны, гдѣ получили „какія то весьма современныя мѣста—«обрусяли», «водворяли», «описывали» движимое и недвижимое". Остались только родоначальникъ „гнѣзда" Птицынъ, его жена, выжившая изъ ума, бабка и сынъ Ваня. Немногими художественными штрихами, то описывая перебранку Птицыной съ мужемъ или случайно подвернувшимся мужикомъ, то заставляя служанку Птицыныхъ разсказывать о своей каторжной жизни, то изображая мракъ и духоту ихъ дома, пропитаннаго ладаномъ и запахомъ лѣкарствъ, авторъ даетъ читателю возможность прекрасно прочувствовать весь ужасъ прозябанія этихъ всѣми заброшенныхъ, забытыхъ, вселяющихъ къ себѣ гадливое чувство жертвъ крушенія дореформеннаго строя.

IV.

Единственное лицо изъ семьи Птицыныхъ вызываетъ къ себѣ глубокое состраданіе—это умирающій отъ чахотки ихъ сынъ Ваня, чуткая, талантливая натура, загубленная въ этой тлетворной атмосферѣ грабежа и грубыхъ матеріальныхъ интересовъ. Не ему, этому міру дореформеннаго чиновничества, было угадать врожденный музыкальный талантъ Вани и создать благопріятныя условія для его развитія. Все самобытное, чуткое, не могущее удовлетвориться чисто животной жизнью и такими-же идеалами, обречено было здѣсь на неизбѣжную гибель. Разсказанная авторомъ на какихъ-нибудь двухъ страничкахъ глубоко трогательная исторія Вани была обычнымъ удѣломъ нашихъ талантливыхъ натуръ, выникавшихъ отъ времени до времени въ затхлой мѣщанско-чиновничьей провинціальной средѣ дореформенной Россіи. Эта среда ревниво истребляла все, что могло внести хоть одинъ лучъ свѣта, хоть одну струю свѣжаго воздуха въ ея мрачный, удушливый міръ. Она желала оставаться въ своемъ заколдованномъ кругу, созидая свое благополучіе на чужіе потомъ и кровью облитые гроши, награбленные у окружающаго люда, до судьбы котораго ей никакого не было дѣла, лишь бы можно было грабить.

V.

Зато и людъ этотъ, на котораго обрушивалась вся тяжесть „прижимки“, съ глубокой ненавистью, скрываемой до поры до времени, относился къ „взяточному полипу“ и его отдѣльнымъ развѣтвленіямъ. Вся сила этой ненависти сказалась тогда, когда наступило „разореніе“. Успенскій приводитъ нѣсколько мелкихъ, но чрезвычайно яркихъ штриховъ, рисующихъ отношеніе массы населенія къ „разореннымъ“. Ѣдетъ въ свой родной городъ одна изъ дочерей Птицына, вдова Черемухина, мужъ которой отличался тѣми-же добродѣтелями, что и его тесть. „Ты здѣшній, голубчикъ?“ спрашиваетъ она у своего извозчика, въѣзжая въ родную губернію. Получивъ утвердительный отвѣтъ, она продолжаетъ: „Что, помнишь ты, у васъ былъ начальникъ?“ и называетъ фамилію отца и мужа.—Какъ не помнить! Этихъ разбойниковъ да не помнить!—Этотъ короткій отвѣтъ какъ нельзя лучше характеризуетъ „гласъ народа“ относительно Птицыныхъ и Черемухиныхъ.

Съ особенной силой и полнотой отразилось отношеніе народа къ живущему взятками и всякими неправдами и притѣсненіемъ бѣднаго люда дореформенному чиновничеству въ личности Михаила Ивановича, занимающаго въ очеркахъ центральное мѣсто; къ разсмотрѣнію его мы теперь и переходимъ.

VI.

Михаилъ Ивановичъ—городской рабочій. Еще въ молодые годы онъ испыталъ на себѣ, что такое „городской разбой“, „прижимка“. Мальчикомъ былъ онъ приведенъ теткой изъ села въ городъ и отданъ въ науку какому-то мѣщанину. Хозяинъ попался добрый, и мальчику у него жилось недурно. Но привыкшая ко взяточничеству дореформенная полиція дѣлаетъ его средствомъ полученія лишнихъ доходовъ: въ качествѣ „заблудшаго мальчишки“ (паспорта у него, конечно, не было) его постоянно таскаютъ въ участокъ, зная, что придутъ, выкупятъ“. Но вотъ мѣщанинъ умеръ. Сироту взяли на прокормленіе Черемухины. (Одинъ изъ видовъ благотворительности, которая, если только ничего не стоила, была довольно обычна въ томъ кругу). Тутъ онъ столкнулся съ однимъ мыслящимъ неудачникомъ, благодаря общенію съ которымъ у него произошло „просіяніе ума“, и онъ „страсть сколько разбойниковъ вдругъ увидалъ“. Говоря о своемъ „просіяніи,“ Михаилъ Ивановичъ объясняетъ его въ томъ смыслѣ, что онъ сталъ понимать, „почему это нашъ братъ въ дырявыхъ лаптяхъ, напримѣръ“. Иначе говоря, для него стало ясно, что удручающая бѣдность

и униженіе простого человѣка происходили, въ значительной мѣрѣ, отъ той неправды и притѣсненій, которыми была полна дореформенная жизнь.

Конечно, теперь, послѣ того, какъ лучъ сознанія освѣтилъ темную голову Михаила Ивановича, гнетъ „прижимки“ для него сталъ въ тысячу разъ тяжеле, чѣмъ прежде. Онъ не можетъ теперь спокойно относиться къ наблюдаемымъ имъ сценамъ безправія и произвола, все равно, касались-ли онѣ его лично или нѣтъ. Въ то время, къ которому относятся описываемыя въ очеркахъ событія, онъ, не имѣя никакой опредѣленной работы, живетъ, исполняя разныя мелкія порученія, у полуразорившагося скучающаго барчука Уткина и чуть не на всѣхъ перекресткахъ громитъ „прижимку“, выражая ликованіе по случаю наступившаго конца ея господства.

VII.

Такова исторія Михаила Ивановича до появленія его передъ читателемъ. Нисколько не сгущая красокъ, не нагромождая изображеній различнаго вида „прижимокъ“, отъ которыхъ страдалъ Михаилъ Ивановичъ, авторъ въ его образѣ прекрасно намѣчаетъ тѣ этапы, черезъ которые проходитъ протестующая мысль простого русскаго человѣка, превращающагося, какъ говоритъ Михаилъ Ивановичъ, въ „производителя роптанія“, „бунтовщика“. Въ основѣ ихъ лежатъ личныя невзгоды, какъ результатъ царящей кругомъ неправды.

Однако было-бы большой ошибкой думать, что герой Успенскаго негодуетъ только потому, что онъ самъ много пострадалъ отъ господствовавшихъ тогда порядковъ русской жизни. Онъ такъ-же, какъ и за себя, даже еще больше, негодуетъ и возмущается противъ „разбойничьей механики“ потому, что отъ нея страдаетъ вообще простой человѣкъ, связанный по рукамъ и ногамъ, которому „прижимка“ не даетъ свободно дохнуть. Собственная личность протестанта отходитъ на второй планъ, онъ превращается въ борца за попранную правду и человѣческое достоинство, обличителя всякой лжи и мерзости, которыя тяжелымъ камнемъ ложились на неумѣющаго отстоять свои права темнаго человѣка. „Пора простому человѣку дать дыханіе! Довольно надъ нимъ потѣшаться, разбойничать! Дайте ходъ!“—этотъ вопль негодующаго сердца Михаила Ивановича является основнымъ мотивомъ всѣхъ его обличеній. „Почему,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—простой человѣкъ—дуракъ, болванъ? Почему онъ въ жизнь свою сладкаго куска не ѣдалъ и сапогъ цѣлыхъ не нашивалъ? Почему онъ замѣсто этого получалъ по скулѣ?... Потому что его сапоги-то чужіе носили!..“ Этотъ протестъ противъ эксплоатаціи народной массы не только имѣетъ въ виду дореформенное чиновничество; онъ относится къ цѣлому ряду „грабителей различнаго

порядка", наживавшихся на счетъ трудящагося класса [1]); „вскому мой хлѣбъ былъ нуженъ", какъ говоритъ Михаилъ Ивановичъ.

Понятна отсюда горячая радость, наполнявшая все его существо, когда онъ видѣлъ крушеніе ненавистнаго ему строя. „И очень великолѣпно, коли кого изъ этихъ грабителей чѣмъ-нибудь да припрутъ! Радъ я! Душевно! Одна мнѣ утѣха, что на это поглядѣть"... Жалуется на „нонѣшнее время" „обнищавшій отъ современности" купецъ. „А-а-а!—радостно оскаливаясь, говоритъ Михаилъ Ивановичъ купцу,—не любишь!... А тебѣ хочется по старинному, съ кулечкомъ къ приказному черезъ задній ходъ? Заткнулъ ему въ глотку голову сахару—и грабь?., Нѣтъ, погодишь!.. Ноньче вашего брата оболваниваютъ!.. Нѣтъ, повертись"... и т. д. И онъ всей душой вѣритъ въ столь радостную для него мысль, что насталъ конецъ „прижимкѣ", что простому человѣку „данъ будетъ ходъ", не будетъ „обдерки".

VIII.

Источникомъ всей этой новой жизни, которая положитъ конецъ царству произвола и насилія, является въ глазахъ Михаила Ивановича Петербургъ, куда, съ началомъ новыхъ вѣяній, умчался его просвѣтитель Максимъ Петровичъ, сказавъ ему при отъѣздѣ: „прощай, помни. Выпишу". Все это вмѣстѣ слилось въ сознаніи Михаила Ивановича въ нѣчто свѣтлое, могущественное, что положитъ конецъ всякой „прижимкѣ". Обуреваемый нетерпѣніемъ поскорѣй видѣть гибель своего врага, мало встрѣчая сочувствія своимъ филиппикамъ дома, въ провинціи, онъ ждетъ—не дождется окончанія желѣзной дороги, чтобы „смахать" въ Питеръ, къ Максиму Петровичу, ибо „много терпѣлъ простой человѣкъ—пора вздохнуть! Авось, найдутся добрые люди, помогутъ намъ!" Въ такую скромную форму облекъ, прощаясь съ знакомыми, Михаилъ Ивановичъ свое незыблемое убѣжденіе въ томъ, что „тамъ" его представительство за угнетенныхъ увѣнчается блестящимъ успѣхомъ.

Съ глубокой скорбью, перемѣшанной со смѣхомъ сквозь слезы, разсказываетъ намъ Успенскій о крушеніи всѣхъ надеждъ своего героя. „Въ покинутой имъ глуши остались, по его мнѣнію, просто изверги; здѣсь же,

[1]) ..„Десятнику потребна корова—онъ къ мужику: изъ каши-то нашей зацѣпляетъ себѣ... Сотскому требуется телѣга, чтобъ столярная, напримѣръ,—онъ опять къ намъ, ужъ поболѣе зацѣпляетъ. Старостѣ охота пчелъ держать... головѣ требуется овецъ гуртами гонять, чиновниковъ угощать, домъ строить, хоромы—всѣ къ намъ, все изъ нашей каши! А тамъ и надъ головами, и надъ старшинами, и надъ прочими—еще выше были; тѣ ужъ, братъ, на тройкахъ къ намъ залетывали, съ бубенцами, и все спахивали, что—которое осталось,—ровно пожаромъ". .

въ столицѣ, ему хотя и сочувствуютъ, но одни... могутъ только испортить дѣло, а другіе «уже сдѣлали свое дѣло»: разорили, изуродовали, обобрали. Что-же это такое?“ Таковъ печальный итогъ столичныхъ скитаній нашего героя, и онъ, „томился, смотрѣлъ въ окно и кашлялъ“... Желая объяснить неудачу Михаила Ивановича, авторъ даетъ понять читателю, что ему, конечно, могли встрѣтиться и другіе люди; но темный уголъ, гдѣ онъ родился, выросъ и думалъ найти помощь, „не могъ ему представить ничего другого, кромѣ широчайшаго и громаднѣйшаго разоренія, и не было отсюда видно ни одного луча свѣта“.

IX.

Авторъ не разсказалъ намъ, что произошло далѣе съ его героемъ. Да это, въ сущности, и не нужно, такъ какъ личность его вполнѣ исчерпана и съ достаточной ясностью опредѣляется въ сознаніи читателя. Это—одинъ изъ типичнѣйшихъ представителей россійскаго прогрессиста 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія, которые появились на разныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы и настойчиво изобличали всяческія неправды, отъ которыхъ тяжело жилось тогда русскому человѣку. Типъ этотъ проходилъ черезъ всѣ слои русской жизни, въ большей или меньшей степени видоизмѣняясь въ зависимости отъ бытовыхъ условій и вліянія образованія, но по существу оставаясь однимъ и тѣмъ-же. Возникалъ онъ вслѣдствіе сознанія „прижимки“, говоря терминомъ героя Успенскаго, вызваннаго, съ одной стороны, возмутительнымъ проявленіемъ ея владычества и, съ другой—зарождающимися новыми вѣяніями общественной жизни; характерными чертами людей этого рода является негодующій, озлобленный протестъ противъ царящей кругомъ несправедливости и, наряду съ-этимъ, полная неспособность, коренящаяся частью въ нихъ самихъ, частью во внѣшнихъ условіяхъ, провести въ жизнь новыя начала, которыя одни могутъ истребить въ корнѣ старый порядокъ. Глѣбъ Успенскій изобразилъ намъ одну изъ любопытнѣйшихъ разновидностей этого типа и показалъ, какой онъ получаетъ характеръ въ рабочей средѣ.—

X.

Кромѣ представителей „взяточнаго полипа“ и протестующаго Михаила Ивановича, мы находимъ въ первой части „Разоренія“ еще нѣсколько образовъ, характерныхъ не только для изображаемаго авторомъ момента, но и для послѣдующаго періода русской жизни, пробужденной отъ глубокаго сна „эпохой великихъ реформъ“. Среди нихъ обращаютъ на себя особенно вниманіе молодое поколѣніе Черемухиныхъ, Василій Андреевичъ и Надя. Если

послѣдней авторъ удѣляетъ довольно много страницъ, то объ ея братѣ говоритъ только мимоходомъ, подробнѣе останавливаясь на его психологіи во второй части своихъ очерковъ. На его личности мы остановимся позднѣе, чтобы не дробить анализа этого любопытнаго образа, а теперь займемся его сестрой.

Передъ нами любопытнѣйшій типъ, котораго не могли касаться писатели 40-хъ годовъ, не знакомые съ провинціальной мѣщанско-чиновничьей средой, типъ пробуждающейся русской женщины, которую тоже захватила волна освободительнаго движенія. Было-бы чрезвычайно интересно прослѣдить во всѣхъ подробностяхъ за тѣмъ ходомъ работы мысли и чувства, которыя привели Надю Черемухину и ей подобныхъ, выросшихъ въ затхлой атмосферѣ дореформенной семьи провинціальнаго чиновничества, къ сознанію необходимости ученія, жить собственнымъ трудомъ, самоотверженно работать на пользу темныхъ массъ. Къ сожалѣнію, мы этого не находимъ у Глѣба Успенскаго. Правда, онъ рисуетъ намъ тѣ впечатлѣнія, которыя получала Надя, но они не столько цѣнны, какъ матеріалъ для опредѣленія роста ея самосознанія, сколько для характеристики общей картины провинціальной жизни въ періодъ „разоренія“. Что касается собственно до анализа ея душевнаго міра, то ему удѣлено въ очеркахъ очень мало мѣста. Такимъ образомъ, типъ Нади только намѣченъ но не разработанъ вполнѣ авторомъ. Тѣмъ не менѣе, основные штрихи даны и по нимъ можно возстановить ея духовный образъ.

Надя Черемухина—молодая 18-ти лѣтняя дѣвушка, нигдѣ ничему не учившаяся, выросшая въ дореформенной чиновничьей семьѣ, гдѣ глава дома, ея отецъ, былъ типичнымъ представителемъ „прижимки“, отличался грубымъ нравомъ, который нашелъ себѣ выходъ въ періодъ „разоренія“ въ пьянствѣ и жестокомъ истязаніи своей жены. Эта послѣдняя, несчастная, невинно страдавшая женщина, не раздѣляла его аппетитовъ и всячески старалась оградить горячо любимыхъ дѣтей отъ губительнаго вліянія семейной атмосферы. Этимъ, вѣроятно, объясняется, почему Надя, повидимому, не вынесла тяжелыхъ впечатлѣній изъ своего дѣтства. Но, съ другой стороны, не было въ этомъ періодѣ ея жизни и ничего такого, что могло-бы благопріятно повліять на ея духовное развитіе. По крайней мѣрѣ, когда она уже взрослой дѣвушкой поселилась со вдовой-матерью въ родномъ городишкѣ, „она не испытывала ничего, кромѣ звѣрской скуки“. Какого-нибудь опредѣленнаго, сознательнаго отношенія къ окружавшей жизни у нея не было.

Но вотъ появился въ ихъ одинокой, дешевой квартиркѣ Михаилъ Ивановичъ, когда-то нашедшій себѣ пріютъ въ домѣ Черемухиныхъ. Въ качествѣ провожатаго, онъ слѣдовалъ за Надей всюду, куда она ходила, и, само собою разумѣется, непрестанно велъ разговоры на свои любимыя темы. „Надежда

Андреевна!—торопливо шепталъ онъ,—гляньте-ко вонъ взяточникъ на солнцѣ грѣется!.. Ишь, словно котъ, хмурится!.. Онъ теперичe приструненъ; а вы дайте ему оттаять, пойдетъ щелкать по карманамъ—любо-два!.. Эво-эво... еще! Вонъ грабитель на одѣялѣ растянулся... Ишь, нажевалъ утробу-то!" и т. д. въ этомъ же родѣ. Авторъ говоритъ, что Надя смотрѣла на всѣхъ этихъ „разбойниковъ" съ тѣмъ-же недоумѣніемъ и любопытствомъ, съ какимъ дѣти смотрятъ, напримѣръ, на рыбу, плавающую въ корытѣ, т. е. какъ на что-то совершенно чуждое и незнакомое ей. Однако рѣчи ея спутника, постоянно на одну тему, внесли нѣчто новое въ ея скуку: ей противно стало бывать у своихъ родственниксвъ, умирающихъ Птицыныхъ, не только потому, что тамъ ее охватывала страшная тоска, что у нихъ духота и темнота въ комнатѣ, но и потому, что въ нихъ самихъ было что-то дурное, что они почему-то дурные люди. Та-же мысль сопровождала ея тоскливое чувство при видѣ пустынныхъ улицъ городишка, надоѣвшихъ ей своимъ однообразіемъ.

Такъ подъ вліяніемъ рѣчей своего словоохотливаго спутника впервые появились у Нади проблески сознательнаго отношенія къ окружающему. Первый, самый трудный шагъ былъ сдѣланъ; мысль проснулась и начала работать. Вскорѣ, благодаря тому-же Михаилу Ивановичу, возникаютъ передъ Надей все новые и новые вопросы. Начинаетъ онъ распространяться о томъ, что у нея нѣтъ и не можетъ быть никакихъ „дѣловъ", что она „прилажена" къ тому, чтобы на чужое жить, и потому ее одолѣваетъ скука, и Надя послѣ усиленной работы мысли приходитъ къ выводу, что причина всего окружающаго ее нестроенія и неправды—чужія деньги. „Надо имѣть свои. Своихъ нѣтъ. Свои—у кухарокъ, у кучеровъ. У нихъ нѣтъ скуки. Неужели надо итти въ кухарки?"

Между тѣмъ пробудившаяся мысль все болѣе и болѣе углубляется въ истинное пониманіе окружающей пошлости, а картина жизни подруги дѣтства, вышедшей замужъ и, по отзыву свахи, утопавшей въ блаженствѣ, приводитъ ее къ выводу, что „кухаркѣ, дѣйствительно, лучше жить, нежели барынѣ или барышнѣ". Мысль о замужествѣ, которая всячески прививалась Надѣ и матерью и всѣми, кого она знала, и которая уже была принята ею, какъ нѣчто обязательное, потеряла въ ея глазахъ всякій смыслъ, послѣ того, какъ она понаблюдала жизнь подруги и даже настоящій „земной рай"—супружескія отношенія либеральнаго интеллигентнаго семейства Шапкиныхъ. Послѣ одного посѣщенія суда, гдѣ Шапкинъ проявилъ большое жестокосердіе, у Нади стала бродить мысль, что „не всякое дѣло образованнаго мужа можетъ прійтись по вкусу женѣ", и, что, значитъ, замужество, даже съ такимъ идеальнымъ результатомъ, какъ у Шапкиныхъ, не разрѣшаетъ вопроса о томъ, что дѣлать. Авторъ намѣчаетъ еще нѣсколько фазисовъ

скитанія бѣдной, необразованной мысли Нади, шедшей „ухабами, кривыми дорогами, словомъ—тѣмъ путемъ, какимъ шли современные будни, не освѣщенные никакимъ запасомъ знаній, опытовъ". При такихъ условіяхъ, когда неоткуда получить притока свѣжихъ, бодрящихъ мыслей, когда приходится итти ощупью, постоянно натыкаясь на неразрѣшимые вопросы, много силъ и энергіи тратится даромъ и порой совсѣмъ замираетъ едва мерцающій свѣтъ тщетно рвущагося къ истинѣ сознанія.

XI.

Мы не будемъ слѣдить за дальнѣйшимъ, едва уловимымъ духовнымъ ростомъ Нади. Изъ сказаннаго выше о ней видно, отъ какихъ мелочей и случайностей зависѣлъ онъ. Однако, эти мелочи и случайности въ общей массѣ были совершенно цѣлесообразны: онѣ были плодомъ новаго времени, которое незамѣтно строило новые нравы, и „никакой Михаилъ Ивановичъ въ мірѣ не подозрѣваетъ того, что бормотаніе его о чужихъ деньгахъ, о жизни на чужой счетъ, можетъ заставить кого-нибудь крѣпко задуматься; точно такъ-же, какъ никакая Надя изъ множества подобныхъ Надей на русской землѣ, съ тоскою и томленіемъ проводящая дни за днями, не подозрѣваетъ, что время донесетъ къ ней, устами котораго-нибудь Михаила Иваныча, такія думы и тосковаиія, о существованіи которыхъ она и слыхомъ не слыхала". Эти слова Успенскаго показываютъ, что самая кажущаяся случайность фактовъ, содѣйствовавшихъ духовному просвѣтлѣнію Нади, есть, въ сущности, типическое явленіе. Новыя вѣянія носятся въ воздухѣ и, проявляясь въ незамѣтныхъ, не имѣющихъ связи другъ съ другомъ мелочахъ, проникаютъ, главнымъ образомъ, въ молодыя, еще не отравленныя рутиной прошлаго души, гдѣ незамѣтно растутъ и зрѣютъ. Такъ было и съ Надей. Послѣ продолжительной сокровенной работы мысли и чувства, вызываемой окружающей жизнью, „все, что было понято, выстрадано, передумано, все на мгновеніе какъ-то вдругъ столпилось въ ея головѣ, она какъ-то сразу оживилась и вслухъ сказала себѣ самой: «Знать! знать надо... все, все!... Уйти, непремѣнно уйти и—учиться, учиться!». И вотъ Надя усердно учится, читаетъ, но въ то-же время всѣмъ существомъ своимъ хочетъ убѣжать изъ родного города; ей „хочется новаго мѣста, чтобъ имѣть возможность свободно думать о новомъ, непохожемъ на отжившее будущемъ". Этими словами заканчивается первая часть „Разоренія".

XII.

Однако уйти изъ родного угла оказалось не такъ-то легко. Во второй части очерковъ мы находимъ Надю попрежнему въ родномъ захолустномъ

городѣ, гдѣ она „начальницей женскаго училища и получаетъ 10 рублей“ при казенной квартирѣ, а мать помощницей и получаетъ семь рублей въ мѣсяцъ. Казалось-бы, цѣль достигнута; есть собственный независимый трудъ, хотя и нищенски оплачиваемый, но все же дающій возможность съ грѣхомъ пополамъ просуществовать, трудъ интеллигентный, имѣющій не мало своихъ свѣтлыхъ сторонъ. И однако-же стоитъ хоть немного всмотрѣться въ картину жизни Нади раскрываемую передъ нами писателемъ, чтобы понять всю тяжесть ея „самостоятельнаго“, „независимаго“ существованія. Ничтожное мѣсто получено путемъ какихъ то невыносимыхъ трудовъ, просьбъ и протекцій у сильныхъ міра, зависимость отъ которыхъ ежеминутно заставляетъ дрожать за свое положеніе; вокругъ нѣтъ ни одного человѣка, съ кѣмъ-бы можно было перекинуться живымъ словомъ, между тѣмъ нужно поддерживать, все изъ за той же боязни лишиться послѣдняго куска хлѣба, сношенія съ людьми, отъ которыхъ хотѣлось-бы какъ можно дальше убѣжать, чтобы не видѣть ихъ умственнаго и нравственнаго ничтожества и пошлости; самый трудъ, обратившійся подъ вліяніемъ этихъ условій въ нѣчто нудное и мертвое, сплетня и доносы, самые низкіе и грязные, разрушающіе съ такимъ нечеловѣческимъ трудомъ созданное кажущееся благополучіе, которое, въ сущности, не многимъ лучше каторги,—вотъ что выпало на долю жаждавшей новой жизни Нади. И не удивительно, что она, крѣпившаяся, пока возможно, не вынела, въ концѣ концовъ, напора темныхъ силъ и съ воплемъ отчаянія пишетъ брату: „я не могу, не могу больше! Возьми меня, возьми насъ отсюда!“

Грустная исторія тяжелой борьбы Нади на поприщѣ самостоятельнаго труда, такъ-же, какъ и ея духовное пробужденіе, есть типическое явленіе эпохи великихъ реформъ. За передовыми бойцами, полными силъ, знанія, вѣры, несокрушимыми въ борьбѣ, въ глубинѣ Россіи въ разныхъ медвѣжьихъ углахъ, появились свои маленькіе, незамѣтные слуги обновленія русской жизни, на долю которыхъ выпадали крохотные успѣхи и глубокія страданія. И сколько молодыхъ, прекрасныхъ жизней было загублено въ этой борьбѣ сколько силъ ушло на то, чтобы выпутаться изъ сѣтей обывательскаго прозябанія, все еще крѣпкихъ, несмотря на наступившее „разореніе“ стараго порядка! Глубокое состраданіе вызываетъ къ себѣ эта несчастная Надя, инстинктивно, какъ цвѣтокъ къ свѣту, рвущаяся къ иной, лучшей жизни и не имѣющая силъ и средствъ завоевать себѣ счастье. И сколько такихъ Надей было разсѣяно въ шестидесятые годы по всей Руси, сколько и теперь ихъ прозябаетъ по разнымъ захолустьямъ нашего отечества! Типъ этотъ близкій и понятный не только шестидесятымъ годамъ, но и нашему времени, онъ не исчезалъ изъ русской жизни съ тѣхъ поръ, какъ Успенскій впервые по-

пытался осмыслить его художественнымъ сознаніемъ. И въ этомъ значеніе эскизнаго, но все-же глубоко жизненнаго образа Нади.

XIII.

Намъ остается еще, чтобы покончить съ главнѣйшими характерами, созданными періодомъ разоренія старой русской жизни, остановиться вкратцѣ на личности брата Нади, Василія Андреевича Черемухина, такъ-же, какъ и она, типичнаго представителя не только изображаемой эпохи, но и послѣдующаго періода русской жизни. Въ художественномъ отношеніи этотъ образъ нѣсколько полнѣе только что разсмотрѣннаго, ибо авторъ подробно раскрываетъ его внутренній міръ во второй части своихъ очерковъ („Тише воды, ниже травы"); но въ одномъ небольшомъ этюдѣ первой части («Человѣкъ, на котораго нельзя положиться») онъ на нѣсколькихъ страницахъ даетъ ключъ къ пониманію его характера.

Это человѣкъ, въ душѣ котораго, по его собственнымъ словамъ, „нравственный грошъ", тогда какъ жизнь, каждое дѣло ея, требовало большого капитала, большой силы. Это зерно нравственной правды попало въ душу Василія Андреевича еще въ дѣтствѣ, когда онъ семилѣтнимъ ребенкомъ бѣгалъ на печь въ кухню къ Михаилу Ивановичу и слушалъ его разсказы о прижимкѣ и произволѣ, отъ которыхъ одурѣлъ, очумѣлъ простой русскій человѣкъ. Но въ окружающей его средѣ и обстановкѣ родной семьи не было ничего, что могло-бы содѣйствовать росту этого зерна, обратить „грошъ" въ „капиталъ". Вокругъ него царили „самые настоящіе русскіе будни, половина которыхъ идетъ на сонъ, другая на просонки, толкованіе сновъ и ѣду". Не было никого въ родной семьѣ, къ кому могло-бы привязаться жаждавшее любить сердце мальчика, кто-бы сознательно или безсознательно развилъ тѣ добрыя начала, какія зародились въ его душѣ, благодаря разсказамъ Михаила Ивановича, а позднѣе—дружбѣ съ жившимъ на задворкахъ сапожникомъ-солдатомъ и кормилицей Аленой, которые, по его словамъ, хотѣли, чтобы онъ былъ человѣкомъ. Такимъ образомъ, Василій Андреевичъ, подобно многимъ русскимъ людямъ, не могъ вспомнить изъ своего дѣтства ничего лучшаго, какъ сердечное расположеніе къ нему простыхъ людей, согрѣвшихъ своею лаской одинокаго, нравственнаго заброшеннаго мальчика.

Но оставленный ими свѣтлый слѣдъ въ его жизни вскорѣ былъ заглушенъ другими, неблагопріятными вліяніями; его „сердце стало похоже на гладкую мелкую тарелку, на которой валялся одинъ только грошъ", да и тотъ „сталъ ржавѣть и зеленѣть", потому что на него навалили всякой дряни. Далѣе слѣдуютъ годы ученія въ школѣ, которые тоже не принесли

ничего добраго. Въ результатѣ—отсутствіе какихъ-либо опредѣленныхъ, ясныхъ убѣжденій, какая-то пестрая смѣсь различнаго порядка принциповъ, какъ выражается самъ Василій Андреевичъ, „самая разнохарактерная арлекинада".

Но вотъ пронеслось другое время, заговорили другіе люди, показались новыя лица и не только показались, но и доказали, что можетъ и должна быть иная жизнь. Пытается примкнуть къ нимъ и Василій Андреевичъ, но на каждомъ шагу сознаетъ свою неспособность; „чувствую,—говоритъ онъ,—что не за что внутри меня держаться хорошему намѣренію, нѣтъ правды, нѣтъ любви, нѣтъ силы убѣжденія". „Ты однако не думай,—добавляетъ онъ, обращаясь къ своему собесѣднику,—что я совсѣмъ никуда не гожусь... Государству теперь нужна бездна народу... Нужны учителя, лѣкаря, толпы рабочихъ людей... Будемъ гдѣ-нибудь наставниками, будемъ получать съ мужиковъ жалованіе, глядѣть на разутыя ноги дѣтей, тосковать о собственной безполезности, пить... Можетъ быть, даже и умремъ въ глуши отъ водки!"... Въ этихъ словахъ—весь Чернухинъ не только какъ личность, но и какъ типъ, со всей его психологіей и дѣятельностью.

XIV.

Это—родоначальникъ тѣхъ нудныхъ, скучныхъ россійскихъ людей, которыми полно творчество Чехова. Новыя идеи и вліянія только отчасти коснулись его, но не вошли въ его плоть и кровь, не стали вторымъ „я". Окружающая жизнь усердно заглушала въ немъ всѣ порывы къ новому, свѣтлому началу. Ни природа, ни воспитаніе и среда не дали ему энергіи и силы воли, чтобы „безъ борьбы, безъ думы роковой" пойти вслѣдъ за новой жизнью. Она непрестанно манитъ его къ себѣ, но онъ чуетъ свое безсиліе и неспособность вполнѣ отдаться ей и глубоко этимъ мучается. Однако онъ все-же берется за какое-нибудь маленькое „новое дѣло", но исполняетъ его, частью по своей винѣ, частью въ силу обстоятельствъ, Богъ знаетъ какъ, и это только усиливаетъ его душевный разладъ и мученія. Въ результатѣ—водка, пьянство, обычный удѣлъ россійскихъ неудачниковъ. Этотъ типъ раскрытъ Успенскимъ въ формѣ собственной исповѣди героя, которая написана со щемящей сердце задушевностью. При литературномъ анализѣ эта сторона въ обрисовкѣ образа Василія Андреевича не можетъ быть сохранена, и потому приходится ограничиться указаніемъ на нее и совѣтомъ читателю вновь перечитать вторую главу „Человѣка, на котораго нельзя положиться", чтобы еще разъ испытать все обаяніе этой стороны таланта Успенскаго.

XV.

До сихъ поръ мы говорили о томъ, какъ отразилась, въ изображеніи Успенскаго, новая эпоха русской исторіи на общемъ строѣ жизни класса „прижимателей“, а также, какимъ образомъ она повліяла на характеры и убѣжденія лицъ, въ большей или меньшей степени зависящихъ отъ „прижимки“ или-же имѣющихъ съ ней соприкосновеніе.

Но на ряду съ этимъ „Разореніе“ даетъ богатый матеріалъ для сужденія о томъ, какой характеръ получили новыя реформы въ тогдашней народной жизни. Мы знакомимся изъ этихъ очерковъ съ первыми шагами такихъ новыхъ установленій, какъ судъ „скорый, правый и милостивый“, земскія учрежденія, народная школа, медицина.

Тяжелое впечатлѣніе оставляютъ у читателя тѣ страницы Успенскаго, гдѣ онъ со скорбнымъ юморомъ рисуетъ намъ, какъ лучшія начинанія шестидесятыхъ годовъ разбивались о народную темноту и забитость, а также, главнымъ образомъ, о то грубо-формальное отношеніе къ дѣлу со стороны руководителей этихъ начинаній, которые, заботясь о своемъ личномъ спокойствіи, не принимали въ расчетъ условій, въ какихъ имъ приходилось работать, не справлялись съ духомъ и характеромъ народной жизни. Нѣтъ ничего удивительнаго, что эти реформы, сами по себѣ могущія оказать громадное прогрессивное воздѣйствіе на общественно-государственную жизнь, на первыхъ порахъ внесли въ русскій народъ своего рода „разореніе“.

Причина этого коренится отнюдь не въ самомъ характерѣ реформъ, какъ это старались доказать тѣ, кто былъ враждебно настроенъ противъ новаго направленія внутренняго государственнаго строя, а въ томъ, какъ онѣ проводились въ жизнь. Приведемъ два-три примѣра этого „разоренія“ крестьянской массы, вызваннаго новыми формами государственной жизни.

XVI.

Передъ нами засѣданіе суда присяжныхъ, гдѣ въ числѣ присяжныхъ засѣдателей деревенскіе крестьяне. Одинъ изъ нихъ, пожилой мужикъ, вдругъ засыпаетъ. Въ публикѣ хохотъ, какъ всегда, когда толпа наблюдаетъ нѣчто противорѣчащее тому, что должно быть, не вникая въ суть происходящаго передъ ея глазами явленія. Несчастнаго разбудили и объяснили ему неумѣстность его поступка. „Въ свое оправданіе, глубоко огорченный мужикъ могъ только сказать: „сморило“... гналъ всю ночь... стомлены“...

Эти отрывочныя фразы рисуютъ передъ нами цѣлую картину оборотной стороны медали: крестьянинъ оторванъ отъ своего, столь важнаго и не-

обходимаго въ его глазахъ дѣла и, желая возможно болѣе выгадать времени, онъ всю ночь напролетъ, вѣроятно, послѣ тяжелаго трудового дня идетъ пѣшкомъ въ городъ. Не удивительно, что его „сморило“, и не холодное зубоскальство праздной толпы, а горькое чувство вызываетъ въ насъ этотъ жалкій мужикъ, не понимающій, для чего его оторвали отъ работы и призвали сюда.

Въ концѣ концовъ, ему объявляютъ: „вы больны!“ и на его кресло „въ стилѣ возрожденія“ сажаютъ другого мужика, „который вытянулся съ испугу, какъ палка, и съ затаеннымъ дыханіемъ и вытаращенными глазами сталъ слушать, какъ обвинитель началъ «мотивировать», «формулировать», и какъ защитникъ потомъ, въ свою очередь, сталъ «объединять факты»“. Не только крестьяне—присяжные, но и присутствовавшая здѣсь Надя и ея пріятельница „не были-бы въ состояніи произнести о подсудимомъ надлежащаго приговора, потому что неразвитое пониманіе ихъ было забито и испугано этими «da capo», «ab ovo» «ex abrupto», «умственный уровень», «декорумъ той среды, гдѣ подсудимый», и другими оборотами рѣчи защитниковъ и обвинителей“.

Эта небольшая сценка, написанная съ рѣдкой силой художественнаго синтеза, даже для первокласснаго писателя, прекрасно рисуетъ первые шаги у насъ суда присяжныхъ и раскрываетъ причины тѣхъ подъ часъ непонятныхъ странностей, какими сопровождались порою ихъ рѣшенія.

XVII.

Или вотъ не менѣе печальная, если въ нее вдуматься, сцена выбора гласныхъ въ предстоящее земское собраніе. Представитель администраціи, мировой посредникъ, въ присутствіи котораго должны производиться выборы, еще съ вечера пріѣзжаетъ въ село и привозитъ съ собою „гласнаго“, „господина землемѣра“, который „завсегда при баринѣ... Они за барина, ну, а баринъ, само собою, за него... «Я тебѣ сдѣлаю... ты мнѣ, ну и я тебѣ...»“, какъ объясняетъ посреднической кучеръ. На слѣдующій день, послѣ того, какъ собравшійся сходъ нѣсколько часовъ промокъ подъ дождемъ, пока „господинъ посредникъ“ проснулись и откушали у барыни чай, происходитъ слѣдующее: „Господа!—возглашено было, наконецъ, съ крыльца,—Вы должны произвести выборы гласныхъ... Конечно, я не имѣю права... это дѣло ваше... Но, съ своей стороны, я бы полагалъ, что Леонидъ Петровичъ можетъ быть надежнымъ вашимъ представителемъ, и поэтому, кто согласенъ покончить избраніемъ Леонида Петровича, надѣвайте шапки и ступайте по домамъ!“—Идемъ, ребята, по домамъ!—гаркнулъ, въ свою очередь, старшина, и „выборы“ окончились. Леониду Петровичу „лестно званіе то“, потому что

онъ сватается за протопопову дочь, и онъ будетъ вершить общественныя дѣла, а между тѣмъ, благодаря произволу начальства, въ гласные не имѣетъ возможности попасть истинный сторонникъ народныхъ интересовъ изъ среды тѣхъ-же крестьянъ, мечтающій о томъ, чтобы „потребовать отъ лица своихъ представителей, во-первыхъ, хлѣба, котораго мало, во-вторыхъ, школъ, которыя... умирали съ голоду вмѣстѣ съ учителями“, т. е. справедливо думающій, что основа народнаго благосостоянія лежитъ въ подъемѣ экономическаго положенія крестьянскихъ массъ и постановкѣ на должную высоту дѣла народнаго просвѣщенія.

XVIII.

Таковы печальныя картины народнаго „разоренія“, рисуеуыя глубоко правдивымъ перомъ Успенскаго. Нѣкоторые изъ критиковъ, писавшихъ о разсматриваемыхъ очеркахъ въ первые моменты ихъ появленія, готовы были обвинять автора въ томъ, что онъ подрываетъ довѣріе къ новымъ формамъ жизни, играетъ въ руку реакціи, всячески старавшейся дискредитировать правовой порядокъ, зарождавшійся на Руси. Однако стоитъ только внимательно вчитаться въ тѣ страницы „Разоренія“, гдѣ идетъ рѣчь о новыхъ формахъ русской жизни, чтобы увидать, насколько несправедливы эти обвиненія. Успенскій возстаетъ не противъ реформъ, которыя проводились въ жизнь русскаго общества и народа въ шестидесятые годы, а обличаетъ ложное, односторонне-формальное отношеніе къ нимъ со стороны лицъ, на долю которыхъ выпало проводить ихъ русскую жизнь, и особенно тѣ злоупотребленія, которыя не замедлили проявиться со стороны людей власть имѣющихъ, не погнушавшихся воспользоваться темнотой и забитостью народныхъ массъ для обдѣлыванія своихъ личныхъ дѣлишекъ.

XIX.

Послѣдняя часть „Разоренія“ носитъ заглавіе: „Наблюденія одного лѣнтяя“. Если между первыми двумя была нѣкоторая внѣшняя связь, заключающаяся въ единствѣ дѣйствующихъ лицъ, фигурирующихъ и въ первой и во второй части, то третья въ этомъ отношеніи стоитъ какъ бы особнякомъ и можетъ быть разсматриваема, какъ самостоятельное произведеніе. Однако авторъ счелъ возможнымъ помѣстить его подъ однимъ общимъ заглавіемъ на томъ основаніи, что люди, о которыхъ говорится здѣсь, переживаютъ, по его мнѣнію, тѣ-же заботы и затрудненія, которыя были связаны съ „разореніемъ“ старыхъ порядковъ.

Нельзя, тѣмъ не менѣе, не признать, что внутренняя связь „Наблюденій одного лѣнтяя“ съ двумя первыми частями „Разоренія“ едва уловима. Тогда какъ тамъ, особенно въ первой части, переходная эпоха чувствуется въ каждой картинѣ, рисуемой авторомъ, здѣсь сравнительно немногое можетъ быть поставлено въ связь съ періодомъ обновленія русской жизни. Это почти полное отсутствіе и внѣшняго и внутренняго единства „Наблюденій одного лѣнтяя“ съ двумя первыми частями „Разоренія“ ставитъ въ недоумѣніе читателя, зачѣмъ эта серія очерковъ искусственно связана съ „Наблюденіями Михаила Ивановича“ и „Тише воды и ниже травы“. Былобы гораздо цѣлесообразнѣе помѣстить ее, какъ отдѣльное произведеніе. Таково первое замѣчаніе, какое можно сдѣлать съ точки зрѣнія художественнаго единства по поводу третьей части „Разоренія“.

Прилагая тотъ-же принципъ къ самому содержанію этой группы очерковъ провинціальной жизни, нельзя не признать, что они стоятъ гораздо ниже разсмотрѣнныхъ раньше первыхъ двухъ частей „Разоренія“. Въ самомъ дѣлѣ, „Наблюденія одного лѣнтяя“ поражаютъ читателя пестротой и нестройностью своего содержанія Передъ нимъ проходятъ отдѣльные эпизоды, картины жизни, зачастую связанные между собою только чисто внѣшнимъ образомъ, какъ впечатлѣнія лица, отъ имени котораго ведется разсказъ. Это отсутствіе болѣе или менѣе ясно сознаваемаго внутренняго единства отдѣльныхъ частей этихъ очерковъ производитъ впечатлѣніе хаотичности, чего-то недоконченнаго, необработаннаго и погружаетъ читателя въ недоумѣніе и скуку.

Однако отдѣльныя страницы этихъ очерковъ являются своего рода художественными перлами, а нѣкоторые изъ нихъ вызываютъ къ себѣ огромный интересъ еще и потому, что въ нихъ затронуты основные вопросы современной жизни. Сюда относится, напримѣръ, начало очерковъ, гдѣ въ неподдѣльно комическихъ краскахъ рисуется сцена разговора отца разсказчика съ сосѣдомъ, или-же большая часть второго отдѣла первой главы (пріемъ отцомъ лица, отъ имени котораго ведется разсказъ, родственника жены, мелкаго чиновника); къ такимъ-же блестящимъ въ художественномъ отношеніи страницамъ относится описаніе бесѣды съ ходокомъ отъ крестьянъ (начало второй главы), разговоръ сельскаго дьячка съ отставнымъ солдатомъ (третій отдѣлъ третьей главы) и особенно рядъ сценъ во второмъ и третьемъ отдѣлѣ третьей главы, изображающихъ настроеніе богомольцевъ.

XX.

Любопытенъ также образъ главнаго дѣйствующаго лица этихъ очерковъ, отъ имени котораго ведется разсказъ. На разсмотрѣніи его мы прежде всего и остановимся.

Внѣшнія условія его дѣтства, среди которыхъ видное мѣсто занимаетъ вліяніе его отца, а также та относительная свобода, которую онъ успѣлъ себѣ завоевать, будучи еще мальчикомъ, наконецъ, пребываніе въ гимназіи, куда начали проникать новыя вліянія въ лицѣ, напримѣръ, либеральнаго учителя, оказывавшаго благотворное вліяніе на учениковъ и весь строй школьныхъ порядковъ,—все это, казалось-бы, должно было какъ нельзя болѣе содѣйствовать тому, чтобы изъ него выработался истинный сынъ новой эры въ русской жизни.

Однако, на дѣлѣ вышло другое. Несмотря на то, что у него „явилась потребность сбросить со своихъ плечъ все старое, вновь народиться на свѣтъ самымъ сильнымъ, энергичнымъ человѣкомъ", потому что чуялось приближеніе новой жизни, которая вотъ-вотъ „закипитъ и забьетъ ключемъ отовсюду" и смететъ съ лица земли всѣхъ „захолустниковъ и мраколюбцевъ", онъ остался прежнимъ тоскующимъ лѣнтяемъ, тунеядцемъ.

Причина этого, по мнѣнію автора, лежитъ въ томъ, что столь много обѣщавшая „эпоха великихъ реформъ" не оправдала возлагаемыхъ на нее надеждъ. Старая жизнь, исполненная неправды и пошлости, не погибла, а приспособилась къ новымъ условіямъ, и потому всѣ „на гибель обреченные не погибли, а повеселѣли". „Напрасно,—говоритъ герой очерковъ,—у домашняго очага, за чайнымъ столомъ, я ищу слѣдовъ того, что составляетъ видимость новыхъ временъ... Поищите въ избѣ нашего мужика ну хоть слѣдовъ такого переворота, какъ земство, — едва-ли это дѣло будетъ успѣшно... Мужикъ исполняетъ «новыя времена»; мой товарищъ, которому я завидовалъ, вѣря, что его уму и сердцу будетъ много горячей работы, тоже исполняетъ «новыя времена», а лично каждому изъ этихъ исполнителей кажется, все равно, что новыя времена, что старыя".

И ничего недѣланіе „лѣнтяя" далеко не единственный показатель того, какъ, въ сущности, мало новыя времена отошли отъ старыхъ, и какъ затхлая атмосфера обывательской жизни засасываетъ своею пошлостью всякаго неустойчиваго человѣка.

XXI.

Передъ нами „нѣсколько вполнѣ просвѣщенныхъ лицъ, занимающихъ въ ряду новыхъ дѣятелей видныя мѣста"; они „дѣйствительно способны, развиты, много читали, много знаютъ, много учились". Посмотрите однако, какъ они проводятъ время. Послѣ обѣда отъ бездѣлья—сонъ. Потомъ—гости. „Разговаривать имъ другъ съ другомъ совершенно не о чемъ, несмотря на то, что они все утро дѣлали множество новыхъ дѣлъ... По прекращеніи газетныхъ разговоровъ имъ оставалось или итти слушать въ саду музыку

Бутырскаго полка... или сѣсть за карты, или, наконецъ, послать за бутылкой". Томимые отсутствіемъ всякихъ живыхъ, жизненныхъ интересовъ, не зная, какъ убить безпощадно медленно тянущееся время, эти развитые люди, способные интересоваться благородными и высокими идеями, отправляются, по предложенію хозяина дома... топить стараго кобеля. „Утопили и напились"—обычный финалъ препровожденія вмѣстѣ времени россійскихъ „интеллигентовъ".

Трудно болѣе сжато, и ярко, чѣмъ это сдѣлалъ въ этой сценѣ Успенскій, дать почувствовать читателю всю пустоту и пошлость провинціальной обывательской жизни, вывѣтривавшей всякое живое содержаніе изъ великаго освободительнаго движенія шестидесятыхъ годовъ „Питать большія надежды,—горько замѣчаетъ по этому поводу герой очерковъ,—биться съ нуждой, быть умнымъ, честнымъ и все это для того, чтобы рано или поздно, за неприложимостью къ жизни этихъ качествъ, поѣхать топить кобеля,—это, какъ хотите, много говоритъ въ пользу простой лѣни и ничегонедѣланія, спокойнаго сна".

XXII.

Итакъ, вотъ каковы ближайшіе итоги такъ много свѣтлаго сулившей „эпохи великихъ реформъ". Россійскіе будни оказались сильнѣе ея и, послѣ непродолжительной борьбы, истребили въ ней „духъ живъ", тѣ возвышенныя начала высшей правды и человѣколюбія, которыя лежали въ ея основѣ, оставивъ одну мертвую форму, да и ту заполнивъ прежнимъ дореформеннымъ содержаніемъ и прекрасно приспособивъ ее къ своимъ низменнымъ цѣлямъ. Въ этомъ сказался общій законъ историческаго развитія человѣческихъ обществъ, по которому всякія новыя начинанія въ общественной жизни всегда въ большей или меньшей степени искажаются въ духѣ тѣхъ устоевъ, съ которыми они призваны бороться. И чѣмъ сильнѣе контрастъ, чѣмъ большая борьба загорается между двумя враждебными началами старой и новой жизни, тѣмъ болѣе ассимилируются въ духѣ побѣждаемой старины новыя направленія, порою искажаясь до неузнаваемости.

XXXIII.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ разночинцами, а также городскими обывателями разныхъ категорій. Мы видѣли, какого рода перемѣны произошли въ этой средѣ подъ вліяніемъ „разоренія" старой русской жизни въ приснопамятные шестидесятые годы. О деревенскомъ людѣ рѣчи пока не было. Это потому, что въ первыхъ двухъ частяхъ „Разоренія" авторъ

почти не касается крестьянства, если не считать эпизодической сцены сельскаго схода для выбора гласнаго въ земское собраніе въ очеркахъ „Тише воды, ниже травы“, свидѣтельствующей о полномъ фактическомъ безвольи „вольнаго“ народа. Нѣсколько болѣе удѣлено мѣста народной жизни въ „Наблюденіяхъ одного лѣнтяя“.

Устами дьячка-богомольца, бесѣдующаго съ отставнымъ солдатомъ, авторъ повѣствуетъ объ одномъ изъ тѣхъ народныхъ броженій, которыя, возникши на религіозно-нравственной почвѣ, вскорѣ въ большей или меньшей степени получаютъ экономическій характеръ. Подъ вліяніемъ старика-раскольника изъ секты бѣгуновъ, крестьяне цѣлаго села проникаются глубокимъ интересомъ къ вопросамъ о жизни человѣческаго духа. Но работа отвлеченной философской мысли оказалась не посиламъ ихъ темнымъ головамъ, въ теченіе долгихъ лѣтъ не слышавшимъ ничего другого, кромѣ „исполняй, что прикажутъ“. Въ результатѣ—невообразимая путаница понятій, гдѣ въ какомъ-то нелѣпомъ сочетаніи фигурируютъ любовь, душа, смерть—и вдругъ—отказъ платить за землю установленные выкупные платежи за надѣлы на томъ основаніи, что человѣкъ прахъ и ляжетъ въ землю. Дальше—обычная картина „уговора“ со стороны станового, слѣдствіе отправленіе на послѣднія мірскія крохи не умѣющихъ двухъ словъ связать ходоковъ, рѣшеніе „стоять крѣпко, хоть въ острогъ“.

Глубокой грустью автора, болѣющаго душой о народной темнотѣ, вѣетъ отъ тѣхъ страницъ очерковъ, гдѣ передается разсказъ дьячка о злоключеніяхъ его односельчанъ, или же приводятся безтолковые, но полные неподдѣльной скорби и рѣшенія сложить голову за мірское дѣло рѣчи ходока. Въ нихъ чуется, какъ становятся близки сердцу Успенскаго народныя нужи горе, какъ онъ скорбитъ за горькую долю несчастнаго простолюдина. Однако еще прошло довольно много времени, прежде чѣмъ онъ весь отдался анализу народной жизни.

Новыя времена, новыя заботы.

I.

Слѣдующая за „Разореніемъ“ группа разсказовъ, подъ общимъ заглавіемъ „Новыя времена, новыя заботы“, тоже гораздо въ большей степени занимается интеллигенціей и разночинцами, чѣмъ народомъ. Эти разсказы, по характеру затрагиваемыхъ въ нихъ явленій, вполнѣ примыкаютъ къ „Разоренію“ и могли-бы быть объединены съ двумя послѣдними частями этихъ очерковъ однимъ заглавіемъ. Мы имѣемъ дѣло здѣсь съ цѣлымъ рядомъ различныхъ лицъ, подобно героямъ „Разоренія“, захваченныхъ волной реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Какъ ни сильно было господство стараго житейскаго строя, однако оно не могло устоять нерушимымъ передъ напоромъ новой жизни. Въ самыхъ глухихъ, медвѣжьихъ углахъ Россіи, говоритъ Успенскій, завелась неслыханная дотолѣ болѣзнь. „Эта болѣзнь—мысль. Тихими-тихими шагами, незамѣтными, почти непостижимыми путями пробирается она въ самые мертвые углы русской земли, залегаетъ въ самыя неприготовленныя къ ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины, въ этомъ кажущемся безмолвіи и снѣ по песчинкѣ, по кровинкѣ, медленно, неслышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, а главное—перестраивается во имя самой строгой правды".

Эти факты „заболѣванія сердца сущей правдой" Успенскій въ очеркѣ „Хочешь-не-хочешь" ставитъ въ прямую связь съ отмѣной крѣпостного права, т. е., какъ онъ выражается, „цѣлой крѣпостной философской системы". „Для огромнаго большинства русскихъ людей на другой день по освобожденіи крестьянъ оказалось необходимымъ ввести въ собственное сознаніе такія понятія, которыя еще вчера были совершенно ненужны, а сегодня сдѣлались необходимы. Оказывалось необходимымъ дать мѣсто въ своемъ сознаніи идеѣ равноправности, идеѣ, которая вчера была преступленіемъ; оказывалось необходимымъ признать неизбѣжность труда, допустить вмѣшательство правды въ человѣческія отношенія. Понятія равноправности труда внезапно и неожиданно вторглись въ сознаніе громадныхъ массъ народа, предстали передъ помѣщикомъ, передъ портнымъ, который шилъ на помѣщика, предъ ямщикомъ, возившимъ въ городъ, передъ хозяиномъ постоялаго двора, передъ трактирнымъ служителемъ, угождавшимъ барину, передъ чиновникомъ, хлопотавшимъ за него въ судахъ, передъ женой чиновника, его сыновьями, дочерями и т. д. и т. д.—до безконечности... И вотъ является неисчислимая масса народа, обязаннаго «думать» объ этомъ неожиданномъ новомъ и жить во имя этихъ новыхъ понятій, обязанная непремѣнно носить ихъ съ собою каждый день и каждый часъ... Ясно, что это народъ, больной «сердцемъ», потому что, въ общемъ, надъ всей этой кучей виситъ неизбѣжное «хочешь-не-хочешь».

„Новыя времена, новыя заботы" и представляютъ въ цѣломъ, рядъ художественныхъ иллюстрацій къ общему положенію, формулированному Успенскимъ въ приведенныхъ только что словахъ; въ нихъ воспроизводятся различные виды „болѣзни совѣсти", являющейся прямымъ результатомъ начавшейся работы мысли.

II.

Длинный рядъ образовъ рисуетъ намъ здѣсь авторъ, въ которыхъ въ той или другой формѣ проявляется эта спасительная „болѣзнь". Мы не станемъ

останавливаться на всѣхъ ея разновидностяхъ, ибо это привело-бы насъ къ непомѣрно детальному анализу этихъ очерковъ, и ограничимся двумя примѣрами, обрисовывающими два крайнихъ полюса указаннаго явленія.

Проснувшаяся мысль и совѣсть прежде всего, конечно, вступила въ борьбу съ наслѣдіемъ старой эпохи, глубоко залегшимъ въ душѣ въ видѣ „свинного элемента“, какъ выражается діаконъ въ „Неизлѣчимомъ“, т. е. тѣхъ низменныхъ, узко-эгоистическихъ, почти животныхъ стремленій, которыя были естественнымъ продуктомъ всего стараго уклада жизни. И вотъ, въ зависимости отъ того, въ какой степени глубоко внѣдрился въ душѣ этотъ „свинной элементъ“, находится успѣхъ работы голоса совѣсти. Въ однихъ случаяхъ онъ бываетъ безсиленъ окончательно одержать верхъ надъ старой закваской, возрожденіе не охватываетъ всего человѣка, и въ результатѣ получается какое-то двойственное существованіе, вѣчная борьба между двумя противоположными началами. Человѣкъ оказывается безсильнымъ стряхнуть съ себя тягостное бремя, полученное въ наслѣдство отъ дореформеннаго порядка жизни, и съ ужасомъ видитъ, что оно, какъ тяжелыя гири, приковываетъ его къ мѣсту, не пуская итти навстрѣчу новой, свѣтлой жизни. „Одинъ,—говоритъ Успенскій,—рванулся къ свѣту и съ ужасомъ увидалъ, что онъ безъ ногъ, что какъ-бы онъ ни желалъ итти, онъ не можетъ сдѣлать шагу... Другой вдругъ нежданно-негаданно увидалъ и узналъ, что вмѣсто сердца у него деревяшка, а жизнь, какъ нарочно, потребовала сердца, да еще какого большого!.. Правда и совѣсть нежданно-негаданно, среди заматерѣлой безсовѣстности, среди прочно укрѣпившейся, довольной, покойной неправды, точно прикосновеніе свѣжаго воздуха къ трупамъ, произвели разложеніе этихъ труповъ, которые до сего времени почти невредимо сохранились въ лишенномъ воздуха мѣстѣ“... Такова одна группа „больныхъ совѣстью“ русскихъ людей. На другомъ полюсѣ находятся прямо противоположные имъ элементы, оказавшіеся способными къ полному духовному обновленію и героически отвергшіе все, что было враждебно новому міровоззрѣнію.

Представителемъ первой группы можетъ служить діаконъ изъ разсказа „Неизлѣчимый“, типичнымъ выразителемъ второй является Анна Федоровна Морозова, фигурирующая въ пятой главѣ расказа „На старомъ пепелищѣ“.

III.

Несчастный, истерзанный внутреннимъ разладомъ діаконъ самъ разсказываетъ намъ исторію своей душевной драмы. До „заболѣванія совѣстью“ онъ весь былъ погруженъ съ головой въ „свинной элементъ“.

При посвященіи въ діаконы онъ не думалъ о святости своего сана, о

своихъ нравственныхъ обязанностяхъ, а о томъ, что у него будетъ домъ, садъ, хорошій доходъ. Какъ-бы оправдываясь въ низменности этихъ своихъ мыслей, онъ объясняетъ ихъ результатомъ вліянія окружающей жизни. „Все, что жило тогда вокругъ, воспитано было уважать домъ, землю, деньги больше, чѣмъ правду своей души... «По крайности, домъ», «по крайности, деньги» говорилъ всякій, оправдывая какой-нибудь глубочайшій проступокъ противъ совѣсти. И никому это не казалось удивительнымъ". Зараженный этимъ тлетворнымъ духомъ окружающей среды, онъ потушилъ въ себѣ то слабое мерцаніе совѣсти, которое едва теплилось въ его душѣ, и „сталъ жить припѣваючи", полагая, что „только рубль—настоящее дѣло, что только кусокъ въ желудкѣ... настоящее удовольствіе, а все остальное—только такъ... для виду". „Коротко сказать,—подводитъ онъ итоги этому періоду своей жизни,—и совѣсть, и сердце мое сильно позатянулись толстымъ слоемъ равнодушія ко всему... Уважать я уже почти никого не уважалъ, зная, что почти всѣ плутуютъ, норовятъ поддѣть другъ друга, чтобы больше захватить самому. Былъ доволенъ, что мнѣ отведенъ на землѣ уголокъ, и дана возможность не оставаться съ пустыми руками. И болѣе не думалъ ни о чемъ и не вѣрилъ ничему, что не было простымъ свинствомъ". И вотъ „въ такой-то... душѣ проснулась совѣсть".

Вызвано было это пробужденіе, какъ это обычно бываетъ въ области драмъ совѣсти, неожиданнымъ внѣшнимъ вліяніемъ, въ данномъ случаѣ—рѣчами и дѣятельностью сельской учительницы, оставившей дома, капиталъ, коммерческія предпріятія и отдавшейся на служеніе народу непосредственнымъ личнымъ трудомъ.

Кисть большого художника чувствуется въ тѣхъ страницахъ разсказа, гдѣ діаконъ подробно повѣтствуетъ объ этомъ самотверженномъ человѣкѣ, о тѣхъ клеветническихъ навѣтахъ и всяческихъ подлостяхъ, которыми окутала ее окружающая тьма, и, наконецъ, о своемъ „заболѣваніи совѣстью".

Однажды, случайно зайдя къ ней, онъ сталъ развивать свою теорію заполученія рубля, иллюстрируя ее юмористическими, съ его точки зрѣнія, примѣрами изъ собственной практики отношеній къ народу. „Заключеніе вывелъ ей такое, что смотрѣть *имъ* въ зубы—невозможно, что надо съ ними не очень, чтобы тонко... словомъ, въ духѣ теоріи „свинного элемента". И вдругъ его кроткая собесѣдница, поблѣднѣвъ вся отъ гнѣва, называетъ это „дневнымъ грабежомъ" и такъ обосновываетъ свое мнѣніе, что діаконъ, при всей увѣренности въ своей правотѣ, чувствуетъ свое полное безсиліе что-нибудь возразить ей. Такъ былъ брошенъ первый лучъ свѣта въ бѣдную, темную голову и совѣсть діакона.

Начинается тамъ тяжелая, мучительно-медленная работа, съ большимъ мастерствомъ освѣщенная Успенскимъ. Мы не будемъ подробно слѣдить за

ней, ограничившись общей ея характеристикой. „Стало мнѣ думаться,—говоритъ діаконъ,—что есть на свѣтѣ люди, которые живутъ не изъ за одной только выгоды, что есть что то другое, кромѣ нашихъ утробъ и кошельковъ"; онъ понялъ, что одни люди, какъ учительница, живутъ во имя правды, а другіе, какъ онъ самъ жилъ, „во имя утробы". И вотъ идетъ страшная борьба въ его душѣ между „Богомъ и Мамоной". „Сильна была совѣсть, измучила она меня въ какую-нибудь недѣлю,—жалуется онъ,—а свинной человѣкъ былъ во мнѣ еще сильнѣе ея. Такъ и пошло... хуже да хуже... Труднѣй да труднѣй"... Выйти изъ этого мучительнаго разлада не хватило силъ у бѣднаго человѣка. „Выходило такъ, что надо бросить домъ, имущество... и во вретищѣ итти въ потѣ лица своего зарабатывать хлѣбъ". А съ другой стороны, „стало представляться, какъ—это хорошо дома съ женой, и все прочее"... Въ результатѣ—безпросвѣтное пьянство, стремленіе путемъ одурманиванія себя виномъ хоть на время заглушить „болѣзнь совѣсти".

IV.

Совсѣмъ другіе результаты работы пробудившейся мысли и чувства видимъ мы въ разсказѣ „На старомъ пепелищѣ".

Лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ,сообщаетъ о той поразительной перемѣнѣ, которую онъ нашелъ въ нѣкой Аннѣ Федоровнѣ Морозовой, посѣтивъ нѣсколько лѣтъ спустя послѣ 1861 года родной городокъ. Шестнадцати лѣтъ она была выдана изъ родной купеческой семьи замужъ за дореформеннаго чиновника, „произведена въ благородныя". Началась безсмысленная жизнь, чуждая какой-либо разумной мысли, наполненная сномъ, ѣдой, кормленіемъ дѣтей и мелкими хозяйственными дрязгами. Такъ прошло около 20-ти лѣтъ. Разсказчикъ помнилъ это жирное, вѣчно молчавшее, тупое существо, въ которомъ, при всемъ желаніи, нельзя было отыскать ничего человѣческаго.

И вдругъ эта женщина остатокъ дней своихъ посвящаетъ безкорыстному труду для общаго блага—устраиваетъ у себя въ домѣ школу и учитъ ребятишекъ, и въ томъ, какъ она относится къ нимъ, такъ и сквозитъ ея чистая, благородная, хоть и изстрадавшаяся душа, тотъ неугасаемый огонь совѣсти, который чудеснымъ образомъ поддерживаетъ ее измученное, изболѣвшееся тѣло. „Очевидно, она перегорѣла въ какомъ-то сильномъ, но благотворномъ огнѣ, который растопилъ этотъ жиръ, это безсмысленное существованіе и на старости лѣтъ пробудилъ въ ней и чистую дѣтскую душу, и свѣтлую мысль, такъ глубоко и, казалось, навсегда зарытыя подъ толстымъ слоемъ безсмыслія".

Изъ отрывочнаго разсказа самой Морозовой мы узнаемъ, что содѣйствовало ея чудесному перерожденію. Послѣ Крымской войны могучій порывъ общественнаго обновленія разметалъ семью Морозовой: мужъ, послѣ нагрянувшихъ ревизій, зарѣзался, сынъ угодилъ въ Сибирь за мошенничество, дочери, стянувъ, что можно, бросили ее. Эти удары, сыпавшіеся одинъ за другимъ на голову несчастной женщины, разбудили ея мысль, помогли ей съ величайшимъ трудомъ осмыслить прежнюю свою жизнь и вселить къ ней глубокое отвращеніе. Проснувшаяся совѣсть даетъ энергію и силы, и вотъ Анна Федоровна на старости лѣтъ начинаетъ учиться чуть не съ азбуки, чтобы потомъ вложить эту науку въ дѣтскія головы. „И теперь, —разсказываетъ она,—вотъ распущу дѣтей-то, да сама урокъ-то по Ушинскому твержу, покуда силъ хватаетъ... Кругомъ виновата, кругомъ!.. Да хоть чужимъ-то дѣтямъ скажу правду, хоть чужихъ-то ребятишекъ не загублю, какъ своихъ родныхъ, какъ меня самое загубили“... И она по цѣлымъ днямъ сидитъ съ дѣтьми въ классной комнатѣ, терпѣливо внѣдряя имъ въ головы ту незамысловатую мудрость, которую сама только что одолѣла „по Ушинскому“.

Какъ видно изъ краткаго обзора жизни Анны Федоровны, она сумѣла совершенно освободиться отъ прежняго ветхаго человѣка и, внемля голосу проснувшейся совѣсти, пошла по дорогѣ самотверженнаго служенія ближнему и въ немъ нашла себѣ успокоеніе. Въ этомъ отношеніи она представляетъ собою противоположность діакону изъ „Неизлѣчимаго“, который такъ и остался на распутьи между старой и новой жизнью и старается виномъ заглушить свой невыносимый душевный разладъ. Такимъ образомъ, „болѣзнь совѣсти“, въ зависимости отъ различныхъ внѣшнихъ условій жизни, а главное — индивидуальныхъ особенностей, выразилась въ каждомъ изъ нихъ въ различныхъ результатахъ. Но порождена она однимъ общимъ явленіемъ: тѣмъ переворотомъ и новыми явленіями общественности въ русской жизни, которыя наступили въ ней послѣ 1861-го года. На этомъ основаніи они могутъ быть разсматриваемы, какъ одна изъ многочисленныхъ у Г. Успенскаго иллюстрацій къ „новымъ временамъ, новымъ заботамъ“, охватившимъ наше общество послѣ освобожденія крестьянъ.

V.

Въ серіи разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „Новыя времена, новыя заботы“ на первомъ мѣстѣ помѣщенъ очеркъ: „Книжка чековъ“, сплошь посвященный народной жизни, точнѣе, тѣмъ новымъ явленіямъ въ экономическомъ строѣ деревни, которыя не замедлили сказаться въ ней вскорѣ послѣ уничтоженія крѣпостного права.

Въ этомъ очеркѣ наиболѣе ярко проявляется одна изъ особенностей литературныхъ пріемовъ Успенскаго—трактованіе разрабатываемаго сюжета двумя методами: художественнымъ и публицистическимъ, при чемъ оба они настолько тѣсно переплетаются другъ съ другомъ, что нѣтъ никакой возможности, безъ полной потери смысла очерка, отдѣлить одинъ отъ другого.

Другой отличительной чертой этого очерка служитъ, несмотря на небольшой его размѣръ—около 16 страницъ, чрезвычайное богатство содержанія. Можно подумать, что авторъ даетъ въ немъ какъ бы литературно обработанный конспектъ большого соціальнаго романа, въ который вкраплены отдѣльныя художественныя сцены, полныя правды и яркости красокъ. Самый публицистическій элементъ очерка написанъ такъ, что въ немъ чувствуется перо незауряднаго художника. Нельзя не пожалѣть, что авторъ не разработалъ этого, какъ онъ выражается, „эпизода изъ жизни недоимщиковъ“ въ большое законченное и цѣльное въ художественномъ отношеніи произведеніе,—настолько явленіе жизни, послужившее сюжетомъ для „Книжки чековъ“, представляется характернымъ и важнымъ въ общественно-бытовомъ отношеніи.

Здѣсь Успенскій изображаетъ полное разореніе цѣлой деревни, вслѣдствіе земельныхъ недоразумѣній, возникшихъ у крестьянъ съ помѣщикомъ послѣ уничтоженія крѣпостного права, а также первые шаги новой экономической силы—кулаческаго капитализма, поглотившей въ своемъ побѣдоносномъ шествіи и крестьянство, и помѣщика. Посмотримъ, въ какомъ видѣ представляются по Успенскому эти новыя явленія народной жизни, возникшія послѣ освободительной реформы.

Отмѣна крѣпостного права и, какъ слѣдствіе ея, разверстка земель между помѣщиками и крестьянами содѣйствовали тому, говоритъ Успенскій, что у тѣхъ и другихъ появились первые проблески чувства земельной собственности. Чувство это у обѣихъ сторонъ стало возрастать не по днямъ, а по часамъ. Подъ вліяніемъ этого все растущаго чувства земельной собственности баринъ, въ концѣ концовъ, соглашается съ проэктомъ своего управляющаго, что стоитъ только переселить крестьянъ куда-то въ въ другое мѣсто, гдѣ имъ будетъ „еще лучше прежняго“, и, при помощи такого пріема, «округлить» свои владѣнія,—и доходы увеличатся чуть не вчетверо. Уѣхавъ за-границу, онъ поручаетъ своему управляющему дѣйствовать, какъ знаетъ, «какъ лучше». „Управляющій принялся за дѣло“, крестьяне „ощетинились“, и „началась свалка“, точнѣе говоря, мучительная для крестьянъ судебная волокита, окончившаяся, вслѣдствіе ихъ темноты, полнымъ ихъ пораженіемъ. Глубокая увѣренность въ правотѣ своего дѣла, поддерживаемая неясными мечтами насчетъ лучшей жизни, пробудившимися въ моментъ освобожденія, побуждаетъ ихъ крѣпко стоять на своемъ и не

поддаваться коварнымъ замысламъ помѣщика. „Наше дѣло вѣрное!“ галдѣли они и возложили на дѣда Пармена трудную миссію итти ходокомъ въ въ городъ „постоять за міръ“. Всю душу вложилъ старый дѣдъ въ общественное дѣло но, какъ водится, ничего не смогъ сдѣлать, хотя для большаго успѣха не ѣлъ, не пилъ по цѣлымъ днямъ, желая постничествомъ угодить Богу, а мірскія деньги ревностно раздавалъ тѣмъ, кто обѣщалъ постоять“ за его односельчанъ и увѣрялъ, что они выиграютъ процессъ. Поэтому, когда имъ было объявлено о возвратѣ безъ послѣдствій ихъ прошенія, они рѣшили, что это бумага „не та“, отказались ее подписывать и вновь умоляли стараго Пармена „постоять во вторительномъ подвигѣ“. И вновь идетъ Парменъ, „вновь принимается молить Бога и поститься и, увы! не возвращается“. Отыскивать его идетъ, въ сопровожденіи надежнаго мужика, служившій когда-то въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ дьячковъ сынъ, извѣстный всему селу, какъ пьяница и человѣкъ ненадежный, и тоже безслѣдно исчезаетъ. Межъ тѣмъ становой везетъ новую бумагу, такого же содержанія, какъ и старая, съ которой никакъ не могутъ согласиться крестьяне и совершенно теряются. «Аль правды нѣтъ на свѣтѣ!» гремитъ неизвѣстно откуда взявшійся «коноводъ», и эта мысль о попранной правдѣ вливаетъ въ ихъ душу новую жажду борьбы. Распродается послѣднее имущество, чтобы „обрядить“ новыхъ ходоковъ, на этотъ разъ въ Москву, въ Петербургъ, въ сенатъ—и никакихъ результатовъ. Въ третій разъ является полиція съ требованіемъ покориться и переселяться на новыя мѣста, и въ третій разъ они отказались подписать „бумагу“, глубоко убѣжденные, что она „фальшивая“. На утро восемьдесятъ человѣкъ рабочихъ, нанятыхъ на счетъ „непокорныхъ“ исправникомъ, ломали дворы, срывали крыши и разламывали печи, насильственно переселяя окончательно потерявшихъ головы мужиковъ. На новыхъ мѣстахъ несчастные переселенцы совершенно пали духомъ и дошли до полнаго нравственнаго разложенія. „Закончивъ долголѣтнюю исторію своего терпѣнія и бѣдности сознаніемъ своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое можетъ быть во всякое время выкинуто, какъ соръ, распоясовецъ чувствовалъ внутри себя полный разгромъ, развратъ и сталъ пропивать все, что оставалось, сталъ воровать, изнаглѣлъ“...

Такова печальная исторія деревни Распоясова. Въ краткомъ, сжатомъ очеркѣ здѣсь воспроизведена Успенскимъ обычная тяжелая картина нашихъ крестьянскихъ аграрныхъ неурядицъ. Авторъ далъ здѣсь цѣлый рядъ типическихъ моментовъ изъ жизни крестьянскихъ земельныхъ волненій. Таковы глубокая вѣра въ правоту своего дѣла на ряду съ полной темнотой, незнаніемъ и безпомощностью отстоять его, ходоки отъ „міра“, столь же невѣжественные и безсильные, какъ и пославшіе ихъ, непокорность во-

лѣ „начальства“, вытекающая изъ полной увѣренности, что, въ концѣ концовъ, правда восторжествуетъ, наконецъ, въ результатѣ—полное матеріальное и моральное разореніе „бунтовщиковъ“. Все это едва только намѣчено въ небольшихъ художественныхъ сценахъ и прозаическихъ разсужденіяхъ автора и потому не производитъ на читателя такого сильнаго впечатлѣнія, какое неминуемо должно было-бы получиться при болѣе детальной разработкѣ этого чрезвычайно важнаго, съ точки зрѣнія интересовъ народной жизни, сюжета.

Не менѣе важную подробность этой жизни затрагиваетъ и другая сторона очерка „Книжка чековъ“, гдѣ изображаются первые шаги въ русской деревнѣ капиталистическаго хозяйства. Представителемъ этой новой формы экономической жизни является купецъ Иванъ Кузьмичъ, несмотря на свое званіе, не имѣющій ничего общаго съ купцомъ стараго типа.

Изъ блестящей параллели, которую проводитъ авторъ между „хищникомъ“ стараго и новаго склада отмѣтимъ только, какъ наиболѣе характерную черту, присущую пореформенному представителю капитала, его увѣренность въ томъ, что онъ приноситъ своимъ капиталомъ пользу отечеству и, хотя дѣйствуетъ изъ личныхъ выгодъ, „даетъ другимъ хлѣбъ, оживляетъ мертвыя мѣстности и капиталы“. „Вотъ почему взглядъ его прямъ и простъ, вотъ почему ему нѣтъ надобности ни вилять, ни бояться: онъ дѣйствуетъ на законномъ основаніи“.

И вотъ онъ „снимаетъ“ у распоясовскаго барина все—и лѣсъ дремучій, и рѣки, и поля и, надѣленный силой капитала, точно сказочный богатырь, начинаетъ чуть не двигать горами. „Прикоснется онъ со своими капиталами къ дремучему, темному бору—и въ двѣ-три недѣли уже больше нѣтъ этого дремучаго богатыря...; гдѣ-нибудь въ другомъ глухомъ уголкѣ... стада превращаются въ мясо, въ солонину, въ сало, въ шкуры... и все это скоро исчезаетъ, уѣзжаетъ на скрипучихъ возахъ, оставивъ послѣ себя... что-то очень похожее на опустошеніе, на исчезновеніе, на смерть...“ Покончивъ съ лѣсомъ и стадами, онъ напалъ на камень и сталъ рыться за нимъ въ глубь земли, а тамъ принялся за желѣзо, которое оказалось здѣсь въ несмѣтномъ количествѣ. „Рылъ, вывозилъ, продавалъ, а деньги возилъ въ банкъ и получалъ книжки чековъ“. Вскорѣ въ недавней распоясовской глуши ярко горѣли окна фабрики, шумѣла мельница, стучала толчея и крахмальный заводъ, и тутъ-же выстроенный Иваномъ Кузьмичемъ кабакъ по вечерамъ оглашался пѣснями и бранью пьяныхъ мужиковъ распоясовской округи. За рубль, за полтинникъ, за четвертакъ, даже за гривенникъ въ день продавали они Ивану Кузьмичу свой трудъ, называя его благодѣтелемъ, дающимъ хлѣбъ бѣдному люду.

Такъ въ небольшомъ, сжатомъ наброскѣ рисуетъ Успенскій первые шаги капитализма въ русской деревнѣ. Здѣсь, въ этомъ очеркѣ, онъ ограничивается пока только признаніемъ самого факта, почти не дѣлая ему оцѣнки.

Впрочемъ, въ тѣхъ немногихъ попутныхъ замѣчаніяхъ, которыми сопровождается разсказъ о побѣдномъ шествіи Ивана Кузьмича, нельзя не замѣтить глубоко отрицательнаго отношенія автора къ капиталистическому процессу, проникающему въ среду русскаго крестьянства. Предаваясь размышленіямъ о томъ, что ждетъ въ будущемъ маленькаго сына крестьянки, ставшей фабричной работницей, онъ замѣчаетъ: „Никакихъ золотыхъ нарядовъ, которые супила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не можетъ; она знаетъ, что цѣна ея мальченкѣ долгое время будетъ гривеникъ, потомъ двугривенный и такъ до рубля, а ужъ дальше ничего, ничего не будетъ! Сама она про себя знаетъ, что цѣна ей ничтожная, что хватаетъ только кормиться... Что-же она скажетъ своему мальчишкѣ? Что-же можетъ выйти изъ него, кромѣ человѣка, который нуженъ въ дѣлахъ Ивана Кузьмича, какъ сила, какъ дрова, какъ тряпки?“...

Очерки изъ народной жизни.

(Изъ деревенскаго дневника. Непорванныя связи. Овца безъ стада. Малые ребята. Крестьянинъ и крестьянскій трудъ. Власть земли и др.).

I.

Въ разсмотрѣнныхъ выше очеркахъ и разсказахъ Г. Успенскаго русскій крестьянинъ и его жизнь фигурировали, такъ сказать, мимоходомъ; не онъ былъ главнымъ объектомъ творческой мысли нашего, автора.

Но почти все, написанное Успенскимъ послѣ 1877 года, рисуетъ съ разныхъ сторонъ русскую деревенскую жизнь и главнаго представителя ея— крестьянина. Замѣчаемое еще въ первый періодъ литературной дѣятельности Г. Успенскаго его тяготѣніе къ народу теперь приняло вполнѣ опредѣленныя формы: онъ становится писателемъ-народникомъ, т. е. такимъ, для котораго интересы многомилліонной крестьянской массы стоятъ на первомъ планѣ; ей, раскрытію особенностей ея жизни, отстаиванію ея правъ, посвящаетъ онъ всѣ свои думы, весь свой талантъ.

Въ этомъ поворотѣ творчества Успенскаго главную роль сыграло народническое движеніе въ жизни и литературѣ, съ наибольшей силой проявившееся у насъ въ семидесятые годы. Въ очеркѣ: „Своекорыстный поступокъ“ Успенскій слѣдующимъ образомъ освѣщаетъ причины, вызвавшія

усиленное проявленіе народничества въ массѣ русскаго интеллигентнаго люда. Начиная съ памятнаго дня 19 февраля 1861 года идеи свободы и народнаго блага „стали обязательными для всего общества поголовно". „Если мы,—говоритъ онъ дальше устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ о своемъ поколѣніи,—тронулись, какъ говорится въ народъ, то не со злостными намѣреніями и не по прихоти или фанаберіи, а потому-же, почему весною таютъ снѣга, тронулись «гонимы вешними лучами» новыхъ, обязательныхъ для всего русскаго народа задачъ... Мы потому пошли къ народу, что были «гонимы» благотворными лучами, какъ солнце, огромнаго событія—освобожденія".

Такимъ образомъ, повинуясь „обязательному" для всего русскаго мыслящаго общества направленію, логически неизбѣжно вытекавшему изъ новыхъ жизненныхъ условій, въ которыя стала многомилліонная народная масса, Успенскій тоже отправился „въ народъ", чтобы служить ему своимъ литературнымъ талантомъ, раскрывая особенности его жизни, освѣщая новую, переходную эпоху его существованія, съ глубокой правдой воспроизводя многоразличныя темныя ея стороны.

II.

Предметомъ наблюденія для Успенскаго служила вначалѣ, лѣтомъ 1877 года, одна изъ деревень Новгородской губерніи, „гдѣ, по его словамъ, счастливо соединились всѣ нравственныя и экономическія черты, отличающія переходное время", а затѣмъ со слѣдующаго года, въ теченіе полутора лѣтъ, степная полоса Самарской губерніи, „этой житницы русской земли". Возможность непосредственно наблюдать народную жизнь въ ея наиболѣе характерныхъ проявленіяхъ, съ одной стороны, и съ другой—склонность къ правдивому, безпристрастному анализу созерцаемыхъ явленій, выгодно отличающая талантъ Г. Успенскаго отъ другихъ писателей-народниковъ, сдѣлали то, что въ его очеркахъ и разсказахъ, относящихся къ этому періоду и посвященныхъ изображенію народной жизни, мы находимъ единственную въ своемъ родѣ картину русской деревни въ переходной періодъ ея существованія, наступившій послѣ 19 февраля 1861 года и тянувшійся чуть-ли не до нашего времени.

Сюда относится множество очерковъ, разсказовъ, набросковъ, замѣтокъ и тому подобныхъ неопредѣленныхъ литературныхъ формъ, сгруппированныхъ подъ слѣдующими общими заглавіями: „Изъ деревенскаго дневника", „Непорванныя связи", „Овца безъ стада", „Малые ребята", „Бѣглые наброски", „Богъ грѣхомъ терпитъ", „Волей-неволей", занимающихъ около половины второго тома сочиненій въ трехъ-томномъ павленковскомъ изданіи.

III.

Пестрота содержанія въ нихъ необычайная. Въ каждомъ почти отдѣльномъ, болѣе или менѣе, законченномъ наброскѣ читатель почти всегда находитъ нѣсколько отдѣльныхъ темъ, которыя попутно, мимоходомъ затрагиваются, а порою и очень подробно разрабатываются авторомъ; на каждомъ шагу прерывается основная нить разсказа, и дѣлаются отступленія, вызванныя той или другой подробностью, о которой упоминаетъ авторъ, точно торопящійся какъ можно скорѣе подѣлиться съ читателемъ мучащими его мыслями. Нерѣдко онъ возвращается къ однѣмъ и тѣмъ-же темамъ, не чуждъ повтореній.

Художественный элементъ въ этой группѣ его сочиненій стоитъ далеко на второмъ планѣ; первое мѣсто принадлежитъ публицисткѣ, общія положенія которой отъ времени до времени иллюстрируются художественно набросанными сценами. Творческая мысль, очевидно, не успѣваетъ переработать всю массу впечатлѣній въ поэтическіе образы и картины, не успѣваетъ потому, что писатель неудержимо стремится разсказать о своихъ открытіяхъ, неожиданныхъ и для него самого, и для раздѣлявшихъ его вѣру въ народъ и устои его жизни его читателей.

Все это вмѣстѣ взятое, принимая во вниманіе и мало обработанную мѣстами литературную форму изложенія, дѣлаетъ чтеніе этихъ очерковъ нѣсколько трудными. Наиболѣе непріятна пестрота содержанія, требующая значительныхъ усилій для непривычнаго читателя, чтобы объединить разсѣянныя на десяткахъ страницъ однородныя по содержанію разсужденія и картины и привести ихъ въ болѣе или менѣе стройную систему. Намъ, однако, необходимо это сдѣлать, такъ какъ только въ такомъ случаѣ можно дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какія стороны русской народной жизни послѣ освобожденія крестьянъ и какъ изображалъ Успенскій.

Все то, что относится въ этихъ очеркахъ къ быту русской деревни, можетъ быть разбито на два отдѣла: въ одномъ изъ нихъ писатель передаетъ намъ свои впечатлѣнія отъ наблюденій надъ народной жизнью и тѣми явленіями въ ней, которыя происходятъ сами по себѣ, помимо непосредственнаго вліянія интеллигенціи, въ другомъ—изображается отношеніе народа къ представителямъ образованнаго общества, такъ или иначе соприкасающимся съ нимъ. Остановимся, прежде всего, на томъ, въ какомъ видѣ представляетъ себѣ Успенскій русскаго крестьянина и его жизнь въ семидесятые годы прошлаго столѣтія.

IV.

Человѣкъ, выросшій въ другой, чуждой крестьянскому обиходу средѣ, говоритъ Успенскій, совершенно становится въ тупикъ, наблюдая выдвигаемые деревенской жизнью факты, въ которыхъ непостижимымъ образомъ нарушаются самыя, повидимому, непоколебимыя истины. Ежедневный деревенскій опытъ на каждомъ шагу доказываетъ, что здѣсь, въ этой жизни, дѣйствуютъ какіе-то особые, невѣдомые законы, рѣзко отличные отъ тѣхъ, которымъ подчинена жизнь культурнаго человѣка.

Для подтвержденія своей мысли о существованіи какихъ то особыхъ, своеобразныхъ причинъ, обусловливающихъ ходъ народной жизни, Успенскій приводитъ свои наблюденія надъ жизнью трехъ деревень существенно различающихся въ своемъ матеріальномъ обезпеченіи: одна изъ нихъ обладаетъ большими угодьями и достаткомъ, а также значительными доходными статьями, дающими ежегодно нѣсколько тысячъ рублей доходу въ мірской капиталъ; другая хотя и не обладаетъ ни доходными статьями, ни угодьями, однако, не должна почти вовсе платить никакихъ налоговъ и податей, наконецъ, третья имѣетъ менѣе, чѣмъ двѣ остальныя, надѣльной земли и обременена значительными податями.

Естественно было-бы ожидать, что лучше другихъ должна была-бы жить первая деревня, наиболѣе матеріально обезпеченная, тогда какъ послѣдняя—наоборотъ. Выходитъ, однако, на дѣлѣ какъ разъ обратное. „Крестьянинъ, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, болѣе угнетенный, надѣленный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, оказывается порядочнѣе, положительно умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который..., имѣя всѣ условія, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣй, вольнѣй..., живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ“...

Причины этого непонятнаго, рѣзко противорѣчащаго обычному ходу вещей явленія кроются, по мнѣнію Успенскаго, въ прошломъ русской народной жизни—въ крѣпостномъ правѣ, съ которымъ, несмотря на освобожденіе, на каждомъ шагу приходится считаться русскому крестьянину. „Въ современной деревнѣ нѣтъ такого явленія, нѣтъ въ характерѣ деревенскихъ людей ни одной существенной черты, нѣтъ даже ни одного обычая, которые-бы вполнѣ не объяснялись барщиной, а главное, только барщиной“, говоритъ Успенскій.

Нельзя, конечно, не признать большого преувеличенія въ этихъ словахъ и чрезмѣрной прямолинейности въ объясненіи такого сложнаго, зависящаго отъ многихъ разнообразныхъ причинъ явленія, какъ народная жизнь,

но, съ другой стороны, несомнѣнно, что Успенскій указалъ на одну изъ коренныхъ причинъ, объясняющихъ многія своеобразныя и мало понятныя явленія этой жизни въ первыя десятилѣтія послѣреформенной эпохи.

Дальнѣйшее развитіе мыслей объ этомъ Успенскаго представляется въ слѣдующемъ видѣ. Крѣпостная барщина, заполнявшая собою большую часть дня, годы, всю жизнь подневольныхъ крестьянъ, была не что иное, какъ „работа не для себя“. Подъ вліяніемъ этого тяготѣвшаго въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ надъ русскимъ мужикомъ крѣпостного уклада жизни выработался совершенно опредѣленный типъ крестьянина, оставленный въ наслѣдство барщиной пореформенной эпохѣ. Это, во-первыхъ, безпрекословный исполнитель чужихъ требованій, полагающій, что все остальное внѣ этихъ требованій не стоитъ вниманія; во-вторыхъ, неустанный работникъ, полагающій цѣль своей жизни въ томъ, чтобы „биться на работѣ“, въ третьихъ, это человѣкъ, отвыкшій о чемъ-бы то ни было разсуждать; онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется?» «по чемъ сойдетъ съ души?» и на мірскихъ сходкахъ только и занимается раскладкой этихъ чужихъ рублей и копеекъ, не имѣя «своихъ» интересовъ, ибо онъ «отученъ» отъ этого.

Создававшійся вѣками типъ «барскаго крестьянина» остался въ наслѣдіе и новой эпохѣ народной жизни. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ барщина особенно тяжкимъ бременемъ ложилась на крестьянскую семью, „тамъ мужикъ въ буквальномъ смыслѣ остался такимъ-же, какимъ былъ и при крѣпостномъ правѣ“; „воля“ не успѣла еще внести никакого измѣненія въ его психологію. Онъ такъ-же, какъ и раньше, неустанно мается надъ сохой, въ потѣ лица изо дня въ день добывая хлѣбъ для себя и семьи и зарабатывая необходимые гроши для уплаты податей. Въ этомъ цѣль и всѣ интересы его жизни; внѣ ихъ для него ничего не существуетъ. Бѣдная впечатлѣніями его жизнь, такимъ образомъ, оказывается, полна тяжелымъ трудомъ, идетъ совершенно такъ, какъ она шла при крѣпостномъ правѣ, когда вся „работа была не на себя“. Никакихъ новыхъ впечатлѣній, ничего такого, что-бы вносило какія либо крупныя перемѣны въ его привычныя понятія и установившійся строй сѣрой жизни.

Совсѣмъ другое дѣло въ тѣхъ селахъ, на чью долю, какъ первой изъ деревень, о которыхъ выше шла рѣчь, выпало пользоваться послѣ освобожденія сравнительнымъ матеріальнымъ достаткомъ и даже избыткомъ общественныхъ средствъ. Люди не замучены тяжелой работой, у нихъ есть возможность и самимъ нѣсколько лучше прожить, каждому въ отдѣльности, и сдѣлать какое либо хорошее дѣло на сравнительно значительныя мірскія доходныя статьи, словомъ, есть полная возможность зажить иначе, лучше, чѣмъ имъ жилось при барщинѣ, и уже, конечно, лучше бѣдной деревни.

Но бѣда въ томъ, что и тутъ тяготѣетъ проклятіе крѣпостного права. Вѣковое рабство, совершенно уничтожавшее личность мужика и подавившее въ немъ сознаніе общинныхъ интересовъ, сдѣлало то, что крестьянинъ, получивъ свободу, все еще „не пробовалъ жить въ своихъ собственныхъ интересахъ“, онъ не понимаетъ ихъ, не можетъ отличить своей пользы отъ вреда. Это сказывается и въ личной жизни обывателей первой деревни, которые предаются пьянству, отличаются неряшливостью и распущенностью, и особенно въ ихъ общественныхъ дѣлахъ, гдѣ царитъ невообразимая путаница и безпорядокъ. Несмотря на то, что доходы отъ мірскихъ оброчныхъ статей съ излишкомъ покрываютъ ежегодные обязательные платежи, обыватели этой деревни умѣютъ устроиться такъ, что для уплаты податей имъ ежегодно приходится дѣлать налоги рубля по три съ души, хотя мірскіе доходы постоянно увеличиваются. Между тѣмъ, ни одного общественнаго дѣла на эти доходы не содержится, всѣ они идутъ на уплату податей.

Такимъ образомъ, бѣдная, заваленная работой и обремененная налогами деревня, оказывается, живетъ лучше своей богатой сосѣдки вслѣдствіе совершенно реальной причины—послѣдствій гибельнаго вліянія крѣпостного права, обезличившаго русскаго человѣка, глубоко подавившаго въ немъ всякую способность сколько-нибудь приспособляться къ новымъ условіямъ жизни, парализовавшаго сознаніе и своихъ личныхъ и общественныхъ интересовъ. (Изъ деревенскаго дневника: Три деревни; Слѣды крѣпостного права).

V.

На ряду съ разсмотрѣнными своеобразными фктами, не укладывающимися въ общепризнанную цѣпь причинъ и слѣдствій, въ прямой зависимости отъ крѣпостной поры народной жизни находится еще одна черта, которая, по словамъ Успенскаго, съ особенной силой бросается въ глаза всякому наблюдателю пореформеннаго крестьянства. Это—погоня за рублемъ. „Обведя, —говоритъ Успенскій —вокругъ Москвы кругъ радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мыслей, въ общихъ чертахъ, опредѣляется стремленіемъ «добыть денегъ», только добыть денегъ, больше ничего“.

Это грубо матеріальное стремленіе, являющееся столь несимпатичнымъ, когда оно всецѣло овладѣваетъ человѣкомъ, находитъ себѣ вполнѣ реальное объясненіе въ тѣхъ экономическихъ и моральныхъ условіяхъ, въ которыхъ протекаетъ жизнь „свободнаго“ крестьянина. Прежде, при крѣпостномъ правѣ, крестьянину приходилось платить помѣщику оброкъ натурой: трудомъ на барскихъ земляхъ, хлѣбомъ, холстомъ, курами, пенькой и т. д. Послѣд-

ній все это оптомъ продавалъ наѣзжавшимъ торговцамъ или-же отправлялъ въ городъ. Теперь никакое волостное правленіе не станетъ брать въ уплату податей продуктовъ деревенскаго хозяйства; для этого нужны чистыя деньги, а ихъ то и негдѣ взять настоящему крестьянину, деревенскому мужику, ведущему исключительно такъ называемое натуральное хозяйство. А денегъ, считая и выкупные платежи за землю приходится платить не мало. Вотъ почему не успѣетъ крестьянинъ свезти съ поля и смолотить первый снопъ новаго хлѣба, какъ со всѣхъ сторонъ наступаетъ требованіе всякаго рода платежей, требованіе энергичное, настойчивое, ибо получена „бумага на счетъ податей", предписывающая неукоснительно, въ кратчайшій срокъ взыскать во всей полнотѣ и т. д. Эта необходимость постоянно считаться со всякаго рода обязательными платежами, неисполненіе которыхъ влечетъ за собою иногда полное разореніе несчастнаго крестьянскаго хозяйства,—ибо для пополненія ихъ пускается съ молотка послѣднее имущество,—вѣчно виситъ дамокловымъ мечемъ надъ головой крестьянина и заставляетъ его всѣми мѣрами стремиться къ тому, чтобы какимъ-бы то ни было образомъ добыть денегъ.

Другая причина, побуждающая крестьянина всѣми средствами отдаваться погонѣ за рублемъ, чисто моральнаго свойства: она коренится въ его полной безпомощности, невозможности, не имѣя этого рубля, сколько-нибудь защитить себя отъ всякаго рода угрожающихъ случайностей. Одиночество его полное; „во всемъ, что окружаетъ его, не видно ни тѣни вниманія, ни добраго слова"; нѣтъ никого вокругъ, кто пришелъ бы ему на помощь въ его трудной жизни. Неудивительно поэтому, что „всякому маломальски очувствовавшемуся деревенскому жителю, не можетъ представиться ни въ чемъ спасенія, кромѣ пачки денегъ за пазухой. Она можетъ вывести его изъ этой курной, ужасной избы, изъ подъ этого безпрестаннаго гнета ничего незнанія, за деньги онъ достанетъ и доктора, и учителя и откупится отъ солдатчины. Онъ такъ мало знаетъ, мало понимаетъ, что кругомъ него дѣлается, что только деньги и могутъ помочь ему выбраться на Божій свѣтъ".

VI.

Разъ простой человѣкъ понялъ, что его спасеніе въ рублѣ, для добыванія его „ни передъ чѣмъ, ни передъ какимъ средствомъ задуматься онъ не можетъ". Въ ряду этихъ средствъ Успенскій указываетъ не мало такихъ, отъ которыхъ коробитъ сердце читателя,—настолько они невысокаго нравственнаго разбора. Изъ-за денегъ крестьянинъ пойдетъ на воровство, сознательное низкопоклонничество и угодничаніе передъ бариномъ, готовъ при-

бѣгнуть иногда къ тонко разработанной системѣ мошенничества, проявитъ грубость и черствость сердца, иной разъ пойдетъ и на преступленіе. Вниманіе и уваженіе съ его стороны заслуживаетъ тотъ человѣкъ, кто умѣетъ честнымъ или нечестнымъ путемъ, это безразлично, „добыть денегъ“. „Не отступайся отъ «своего», гони «свою» линію до послѣдняго предѣла, наживай гдѣ и какъ можно“—таково основное житейское правило, которымъ руководствуется пореформенный крестьянинъ, заслоняющее, сплошь и рядомъ, всякія нравственныя основы жизни, дѣлающее изъ простого человѣка, представлявшагося современному Успенскому народничеству, чуть не воплощеніемъ моральной чистоты и добродѣтели, нѣчто въ высшей степени несимпатичное. (Изъ деревенскаго дневика: Денегъ-денегъ и др. очерки).

VII.

Въ связи съ только что отмѣченной чертой, производящей въ своемъ крайнемъ развитіи, какъ это мы видимъ у русскаго крестьянства, отталкивающее впечатлѣніе, находится другая особенность деревенской жизни—кулачество, анализу котораго Успенскій посвящаетъ обстоятельныя страницы въ очеркѣ: „Малые ребята“.

Эта язва, этотъ, повидимому, неизлѣчимый недугъ деревни, по мнѣнію Успенскаго, отнюдь не можетъ быть признанъ наноснымъ, пришедшимъ извнѣ явленіемъ; наоборотъ, кулачество „является чистѣйшимъ продуктомъ всѣхъ условій исключительно деревенской жизни и при томъ, главнымъ образомъ, теперешней“. Эти условія привели къ тому, что умная, даровитая, порою талантливая деревенская натура часто шла по этому недоброму, разорительному для самого народа пути. Наблюдая совершавшуюся вокругъ него жизнь, такой человѣкъ въ первыя десятилѣтія послѣ освобожденія „могъ въ великомъ изобиліи питаться наблюденіями, производящими только дурное и ожесточающее впечатлѣніе“. Картина господскаго разоренія, пробуждавшая въ душѣ чувство нѣкотораго злорадства, внушаетъ увѣренность въ томъ, что здѣсь, съ этой стороны, нечего надѣяться на какое-бы то ни было участіе или помощь. Что-же касается до своей, простонародной жизни, то вся ея неурядица и бьющее въ глаза неумѣніе цѣлой общины сколько-нибудь разумно устроить свои мірскія дѣла приводитъ скоро внимательнаго наблюдателя къ выводу, что и тутъ надѣяться на поддержку или защиту тоже нечего. А между тѣмъ, жизнь все болѣе и болѣе запугиваетъ темной случайностью и неожиданностью своихъ явленій. И вотъ вытекаетъ естественный выводъ—нужно самому обезпечивать себя, устраиваться собственными средствами. Какъ—на это отвѣчаетъ господствующее настроеніе жизни—по-

гоня за рублемъ. Черствость сердца отчасти природная, отчасти развившаяся, благодаря отмѣченному выше чувству злорадства, а также злости за всякаго рода матеріальныя обиды, причиненныя крестьянству при освобожденіи, служитъ прекрасной почвой для того, чтобы въ этой погонѣ не считаться съ чужой бѣдой и страданіемъ, а такъ какъ это выгодно, обращать ихъ въ источникъ наживы. Такъ, говоритъ Успенскій, создается кулакъ, міроѣдъ, отъ котораго стономъ стонетъ великорусская деревня.

Ужаснѣе всего то, что эта чисто органическая язва народной жизни сплошь и рядомъ не только не вселяетъ къ себѣ отвращенія, но, наоборотъ, вызываетъ удивленіе и похвалы, основанныя на уваженіи къ его уму, ловкости, силѣ. Въ этомъ и заключается, главнымъ образомъ, гибельность вліянія міроѣда, опирающагося на свое нравственное вліяніе и сочувствіе „кулацкой морали". Оттого кулакъ прочно обосновался въ русской деревнѣ. „Онъ всѣхъ знаетъ, онъ понмаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столбъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль въ деревенской дѣйствительности. Дѣянія кулака — самыя крупныя, замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы,—мораль кулацкая". („Малые ребята", гл. X, XI).

VIII.

Раскрытіемъ указанныхъ отрицательныхъ сторонъ не ограничивается анализъ Успенскаго, направленный на жизнь русской деревни въ первыя десятилѣтія послѣ освобожденія. Съ наибольшей подробностью останавливается онъ въ разбираемой группѣ сочиненій на изслѣдованіи общиннаго строя русской деревни и открываетъ въ немъ цѣлый рядъ вопіющихъ съ моральной точки зрѣнія несправедливостей и отсутствіе такой общественной организаціи, которая-бы сколько-нибудь содѣйствовала развитію и упроченію народнаго благосостоянія.

Какъ-бы для того, чтобы возможно ярче показать всю несостоятельность общинныхъ порядковъ, авторъ останавливается на изображеніи такой деревни, гдѣ, повидимому, собраны всѣ благопріятныя условія для процвѣтанія этихъ порядковъ. Это одинъ изъ самыхъ богатыхъ поселковъ, какія когда-либо приходилось встрѣчать автору, обладающій плодороднѣйшими землями, роскошными лугами, обиліемъ рыбы и всякой дичи и доходными оброчными статьями; наконецъ, на немъ не числится ни одной копейки недоимки, а для матеріальной взаимопомощи имѣется ссудо-сберегательное товарищество, членами котораго состоятъ поголовно всѣ хозяева деревни. Словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ, кто считаетъ, что „общинное, дружное хо-

зяйство—не только спасеніе отъ нищеты, а есть единственная общественная форма, могущая обезпечить *всеобщее* благосостояніе", здѣсь должно царить благополучіе. На дѣлѣ, между тѣмъ, выходитъ совсѣмъ другое. Въ этомъ благодатномъ краѣ, при общинномъ хозяйствѣ, при кассахъ, банкахъ, въ мѣстности, гдѣ нѣтъ недоимокъ, „работящему, обремененному семьей человѣку—нѣтъ пищи!". Рядомъ съ крестьяниномъ, у котораго накоплено чуть не 20,000 р. денегъ, живетъ старуха со внучками, которой не на чемъ сварить обѣдъ, если она не насобираетъ гдѣ-нибудь «уворуючи» щепочекъ. Подобныя явленія, говоритъ Успенскій, попадаются на каждомъ шагу, и „вы ежеминутно убѣждаетесь, что здѣсь, въ богатой деревнѣ, ничего не стоитъ «пропасть» человѣку такъ, даромъ, ни за что, пропасть тогда, когда все благопріятствуетъ противному". Человѣкъ, чуть не полъ-вѣка трудившійся въ потѣ лица, передѣлавшій за это время многое-множество мірской работы, можетъ разсчитывать только на то, что когда онъ выбьется изъ силъ и сляжетъ, міряне придутъ къ его одру и скажутъ: „Ну, старичекъ господній, силовъ у тебя нѣту, платить въ казну тебѣ не въ моготу, приходится тебѣ, старичку пріятному, ислѣзать съ земли-то... и помирать-бы въ самый разъ... Такъ-то!"...

На ряду съ этимъ, замѣчается почти полное отсутствіе нравственной связи между членами деревенской общины. Прежде, во времена крѣпостного права, господскій произволъ, обязательный для всѣхъ, „сплочивалъ деревенскій народъ взаимнымъ сознаніемъ нравственныхъ несчастій". Теперь эта печальная связь, создаваемая всѣми переживаемымъ нравственнымъ гнетомъ, отсутствуетъ, но она еще „не замѣнилась сознаніемъ необходимости общаго благополучія, общаго облегченія жизни, такъ какъ на мѣсто произвола не пришло ни знаніе, ни развитіе, ни даже доброе слово".

Не говоря уже о моральной сторонѣ общинной организаціи, самые внутренніе распорядки ея строя поражаютъ скудостью своего содержанія сравнительно съ разнообразіемъ и сложностью новыхъ условій жизни. Единственно, о чемъ хлопочетъ общественная мысль, для чего собирается „міръ", что, дѣйствительно, справедливо и тщательно разработано, это раскладка всевозможныхъ платежей и повинностей и питейный ритуалъ, процессъ „мірского питія", безъ котораго не обходится почти ни одна сходка. На разработку этой послѣдней стороны общинной жизни потрачено много крестьянскаго ума, таланта, изобрѣтательности и находчивости. Выработано множество программъ мірского пьянства на всевозможные случаи и на всевозможное количество ведеръ водки. Въ каждой деревнѣ на этотъ счетъ существуютъ свои особые, строго опредѣленные порядки. „Опредѣлено, съ кого перваго начинать, кому второй стаканъ и какимъ путемъ стаканъ долженъ слѣдовать отъ одного края засѣдающихъ до другого и обратно... При

извѣстномъ количествѣ привлекаютъ къ питію, кромѣ властей (стариковъ), нѣкоторыхъ изъ жителей" и т. д. Точно такъ-же обстоятельно разработаны и изслѣдованы поводы, по которымъ можно и слѣдуетъ пить. Сдача мірского имущества въ аренду, наемъ пастуха, выборъ старосты, разборъ мелкихъ сельскихъ дрязгъ, ничтожное увеличеніе земельнаго надѣла и т. д.—все это сопровождается болѣе или менѣе значительнымъ истребленіемъ вина. Такъ называемые „каштаны", т. е. особаго типа міроѣды, не только терпятся крестьянствомъ, но частью даже пользуются уваженіемъ только потому, что никто лучше ихъ не умѣетъ отыскать поводъ къ продолженію прерваннаго пьянства и, такимъ образомъ, выручить въ трудныя минуты, когда отсутствуетъ даровое вино. Громаднаго развитія достигаетъ также въ нѣдрахъ современной общины кляузничество, носящее сплошь и рядомъ самый гнусный характеръ.

Наконецъ, основная общинная единица—семья, вслѣдствіе цѣлаго ряда новыхъ явленій въ экономической народной жизни, носитъ на себѣ очевидные слѣды распаденія. Особенно это замѣтно въ подгородныхъ селахъ, гдѣ новые экономическіе факторы проявляются съ наибольшей силой. Здѣсь если и держатся болѣе или менѣе прочно большія крестьянскія хозяйства, то только чисто внѣшнимъ образомъ. „Авторитетъ главы—фиктивный и фиктивны всѣ общинно-семейныя отношенія", по которымъ весь заработокъ каждаго члена семьи поступаетъ въ распоряженіе главы дома, а тотъ распредѣляетъ его по своему усмотрѣнію и по общему согласію. Такой порядокъ теперь представляется явно несправедливымъ, ибо заработокъ отдѣльныхъ членовъ семьи, благодаря желѣзной дорогѣ, близости города, отхожимъ промысламъ и т. д., далеко не равномѣренъ. И вотъ начинается взаимное тайное раздраженіе и недовольство, обманъ, утайка истинныхъ размѣровъ заработка и т. д. Все это тяжелымъ бременемъ ложится на нравственное чувство отдѣльныхъ членовъ семьи. „Каково годами притворяться, будто слушаешься! Каково это «скрывать» по годамъ сотню рублей за пазухой отъ матери, отъ брата!.. Не смѣть на избытокъ купить женѣ обновку и пожить въ свое удовольствіе!.. А чего стоитъ даже внѣшнее соблюденіе общинно-семейнаго ритуала!". Другое дѣло—нѣсколько десятилѣтій назадъ, когда вся семья была исключительно земледѣльческая Тогда „совмѣстная общинно-семейная жизнь была всѣмъ понятна; всѣ работаютъ одно и то-же дѣло, всѣ потребляютъ вмѣстѣ выработанный продуктъ, всѣ озабочены одной и той-же заботой—успѣшностью земледѣльческаго труда. Все ему подчинено, и подчиненіе это всякому члену понятно". (Непорванныя связи. Дѣловые люди).

IX.

Всѣ сгруппированныя здѣсь основныя черты народной жизни, какъ она представлялась въ концѣ семидесятыхъ годовъ Г. Успенскому, рисуютъ эту жизнь и „свободное“ крестьянство въ самыхъ непривлекательныхъ краскахъ.

Еще болѣе тяжелое, отталкивающее впечатлѣніе остается у читателя, когда онъ ознакомится съ тѣми очерками, гдѣ изображается отношеніе народа къ тѣмъ представителямъ интеллигенціи, которые,—умѣло или нѣтъ—это другой вопросъ,—стремятся слиться съ нимъ и отдаютъ свои силы и матеріальныя средства на служеніе ему и его нуждамъ. Наиболѣе данныхъ для освѣщенія этой стороны народной жизни даютъ очерки „Чудакъ-баринъ“, „Овца безъ стада“, „Малые ребята“ и „На травѣ“. На основаніи этихъ произведеній мы вкратцѣ набросаемъ картину отношеній простого народа къ идущему ему на помощь интеллигенту.

X.

Прежде всего, нѣсколько словъ о томъ, какъ освѣщаетъ Успенскій тѣ побужденія, которыя заставляютъ образованнаго человѣка „итти въ народъ“.

Это движеніе находится, по его мнѣнію, въ непосредственной связи съ „самой совѣстливой эпохой русской жизни“—эпохой освобожденія крестьянъ. Какъ только послѣ Крымской войны началось возрожденіе русскаго общества, „все, что было мало-мальски живо, не засѣчено и не сгнило, все это поняло, что ему сейчасъ-же, сію минуту слѣдуетъ работать, служить въ этомъ громадномъ лазаретѣ и всѣми способами помогать выздоровленію, исцѣленію больныхъ, калѣкъ, уродовъ“. Всѣ страдаютъ, всѣмъ нужно спѣшить на помощь.—Таково было настроеніе „заболѣвшаго совѣстью“ поколѣнія. Итакъ, жажда самоотверженной работы на пользу ближняго, безконечно много нуждающагося въ ней, овладѣваетъ наиболѣе чуткими представителями поколѣнія, пережившаго эпоху „великихъ реформъ“.

Другой характерной чертой этого поколѣнія, на почвѣ которой отчасти развилось народничество, является сознаніе неудовлетворительности тѣхъ формъ культурной жизни, въ которыя вылилась жизнь современнаго общества, стремленіе къ опрощенію, нашедшее себѣ позднѣе законченное выраженіе въ ученіи Л. Н. Толстого. Одинъ изъ героевъ Успенскаго формулируетъ его слѣдующими словами: „Только человѣкъ, который можетъ все самъ и не будетъ имѣть надобности перерывать другому человѣку горла, чтобы добыть то, чего самъ не можетъ, не имѣетъ,—вотъ онъ-то и есть идеалъ“.

Сюда-же примѣшивались отчасти отголоски старой славянофильской вѣры, что „первая въ мірѣ земля, которой принадлежитъ миссія обновленія всего бѣлаго свѣта,—то земля сплошь мужицкая... Это не подлежитъ никакому сомнѣнію“...

Подъ вліяніемъ этихъ сложныхъ причинъ, а главное, властно заявляющаго о себѣ голоса совѣсти, неустанно напоминающаго о вѣковомъ долгѣ передъ народомъ русской интеллигенціи, и началось движеніе въ народъ. Люди рвали связи съ семьей, городскимъ обиходомъ жизни и являлись въ деревню въ качествѣ „униженнаго и смиреннаго работника“. Они шли туда, чтобы „по новому“ устроить свою жизнь, чтобы каждый кусокъ, который имъ попадаетъ въ ротъ, „не пахнулъ чужимъ трудомъ, чужимъ потомъ“. Они шли, чтобы „трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равные, въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла“, въ полной увѣренности, что бѣдный, забитый, измученный крестьянинъ „непремѣнно долженъ питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому“.

Какъ-же отнесся народъ къ этимъ новымъ своимъ друзьямъ, идущимъ учиться у него высшей житейской мудрости, готовымъ душу свою положить за него, или просто относящимся къ нему благожелательно?

Вотъ, напримѣръ, передъ нами герой очерка „Малые ребята“, богатый столичный житель, поселившійся въ деревнѣ, въ надеждѣ, что она окажетъ благотворное вліяніе на его дѣтей.

Но всѣ его мечты на счетъ того, чтобы установить съ крестьянами добрыя, сердечныя отношенія, разлетаются прахомъ при соприкосновеніи съ ихъ своекорыстіемъ. Едва только успѣлъ онъ пріѣхать, какъ „деревня поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью... И вотъ съ первыхъ же дней по пріѣздѣ между усадьбой, гдѣ жилъ Иванъ Ивановичъ, и деревней, гдѣ обитали мужики, установились самыя неискреннія отношенія: ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ безъ своекорыстныхъ цѣлей. Вотъ идетъ мужичекъ, идетъ, повидимому, просто поговорить, побесѣдовать, что особенно было-бы пріятно Ивану Ивановичу, а глядишь,—на дѣлѣ окажется, что онъ, этотъ простосердечный-то человѣкъ, пришелъ только за тѣмъ, чтобы заставить Ивана Ивановича брать у него мясо“ и т. д. Словомъ, всѣ на каждомъ шагу старались всячески, главнымъ образомъ, нечистыми путями наживаться на счетъ пріѣзжаго барина.

То же самое замѣчаемъ мы и въ очеркѣ „Чудакъ—баринъ“, герой котораго Михаилъ Михайловичъ, мечтающій о служеніи народу, служитъ предметомъ самого безсовѣстнаго, наглаго надувательства и эксплоатаціи его доброты и матеріальныхъ средствъ. Его горячее стремленіе прійти на помощь народу не цѣнится ни въ грошъ, объясняется стереотипнымъ понятіемъ „доброты“, изъ которой слѣдуетъ всякими правдами и неправдами

извлекать возможно болѣе выгодъ. Мы не станемъ здѣсь останавливаться на перечнѣ тѣхъ мошенническихъ пріемовъ, къ которымъ прибѣгали крестьяне, чтобы возможно болѣе извлечь для себя выгоды изъ пребыванія у нихъ Михаила Михайловича. Для насъ достаточно указанія на самый фактъ безсовѣстнаго, съ нашей точки зрѣнія, отношенія деревни къ людямъ, пытающимся, подобно „чудаку-барину", сдѣлать что-нибудь для народнаго блага.

Гораздо важнѣе разсмотрѣть тѣ причины, которыми,по мнѣнію Успенскаго, объясняется столь нежелательное отношеніе народа къ идущей ему на помощь интеллигенціи.

Онѣ кроются, главнымъ образомъ, въ томъ наслѣдіи крѣпостной эпохи, которое, какъ зараженный воздухъ, отравило послѣреформенную народную жизнь. Сюда относится, прежде всего, враждебное, подозрительное отношеніе крестьянина къ барину вообще, которое объединяетъ всѣхъ жителей деревни, независимо отъ ихъ положенія и состоянія. Это то-же чувство, которое связываетъ націю при появленіи чужеземнаго непріятеля. Говоря о своемъ „чудакѣ-баринѣ", авторъ замѣчаетъ, что „народъ никоимъ образомъ не могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное, какъ не могъ забыть и своего крѣпостного прошлаго". Подъ „крѣпостнымъ прошлымъ" героя очерка нужно разумѣть, какъ видно изъ послѣдующаго, тѣ тысячи мелкихъ чертъ, которыя оставляетъ въ насъ наша барская культура, и отъ которыхъ иногда, при всемъ желаніи, нѣтъ силъ освободиться. То обстоятельство, напримѣръ, что Михаилъ Михайловичъ со станціи въ деревню не пришелъ пѣшкомъ, съ котомкой за плечами, а пріѣхалъ на тарантасѣ и щедро далъ на водку, уже это одно, въ глазахъ крестьянъ, служило вѣскимъ доказательствомъ его барства. Что касается до замѣчанія, что самъ народъ не могъ забыть своего „крѣпостного прошлаго", то оно указываетъ, съ одной стороны, на готовность унижаться передъ бариномъ и всячески „потрафлять" ему, отнюдь не признавая его равнымъ въ правахъ и обязанностяхъ, а съ другой—на стремленіе этимъ путемъ и всякими другими средствами извлечь изъ него возможно болѣе выгоды, стремленіе, основанное на погонѣ за рублемъ, о которой говорилось выше.

Оттого-то, какія-бы идеи и теоріи ни развивалъ передъ крестьянами Михаилъ Михайловичъ, онъ неизмѣнно слышалъ: „мы завсегда хорошимъ господамъ съ охотой готовы... Что нашихъ силъ... Для господъ!" или что-либо подобное. Возраженій никогда не было никакихъ, на словахъ—постоянныя одобренія всему, что бы онъ ни говорилъ, а на дѣлѣ безсовѣстная эксплоатація его доброты, чуть не прямой грабежъ его средствъ до тѣхъ поръ, пока у него не осталось ни гроша.

XI.

Мы далеко не исчерпали того обильнаго матеріала, какой даетъ разсматриваемая группа сочиненій Успенскаго для характеристики русской народной жизни въ первыя десятилѣтія послѣ освобожденія крестьянъ. Мы только изложили въ сжатомъ видѣ тѣ главнѣйшіе выводы, къ которымъ приходитъ авторъ въ цѣломъ рядѣ художественно-публицистическихъ очерковъ, посвященныхъ анализу современной ему деревни семидесятыхъ годовъ.

Ужасная картина открывается передъ нами, разрушая всѣ тѣ иллюзіи на счетъ народной жизни, правды и идеаловъ, въ которыя такъ глубоко вѣрили нѣкоторые изъ современныхъ Успенскому народниковъ. Оказывается, по Успенскому, что русскій мужикъ, къ которому наши народолюбцы готовы были итти учиться, какъ жить, весь находится во власти отжившихъ крѣпостныхъ началъ, онъ при самыхъ благопріятныхъ матеріальныхъ условіяхъ не умѣетъ сколько-нибудь сносно устроить свою частную и общественную жизнь. Руководящей идей его жизни является погоня за рублемъ, ради котораго онъ готовъ прибѣгнуть къ самымъ низкимъ средствамъ. Люди, ставящіе цѣлью жизни наживу и высасывающіе послѣдніе соки изъ своихъ односельчанъ, вызываютъ къ себѣ не протестъ и негодованіе, а скорѣе, похвалы и уваженіе. Хваленые общинные порядки допускаютъ чуть не умирать съ голоду малолѣтнихъ сиротъ и способныхъ къ труду стариковъ, могутъ „поставить работящаго, здороваго человѣка въ положеніе совершенно безпомощное, довести его до того, что онъ... ходитъ голодный съ голодными дѣтьми". Надъ каждымъ крестьянскимъ домомъ, надъ каждымъ человѣкомъ, живущимъ въ деревнѣ, тяготѣетъ отсутствіе всякой нравственной связи съ другими членами общины. Основныя начала, на которыхъ покоится общинный строй, поражаютъ скудостью соціальнаго творчества. Единственно, что въ нихъ разработано во всей полнотѣ,—это раскладка всякихъ налоговъ и особенно... питейный ритуалъ. Водка оказывается самымъ могущественнымъ рычагомъ въ рѣшеніи общественныхъ дѣлъ. Перспектива получить лишнее ведро можетъ заставить „міръ" совершить завѣдомую несправедливость, войти въ крайне убыточную для общины сдѣлку. Въ деревенской средѣ все болѣе и болѣе растетъ кляузничество, прежняя патріархальная семья разлагается, среди членовъ ея царитъ притворство, обманъ, взаимное недоброжелательство. Интеллигентный человѣкъ искренно желающій прійти на помощь народу и облечить его тяготы, встрѣчается враждебно и съ недовѣріемъ и подвергается самой безсовѣстной эксплоатаціи.

Такова мрачная картина, рисуемая въ разсматриваемыхъ сочиненіяхъ Успенскимъ.

Но онъ не ограничивается однимъ указаніемъ тѣхъ золъ, которыми страдаетъ русскій народъ. Безстрашно обнаживъ эти язвы народной жизни, онъ не можетъ успокоиться на одномъ признаніи ихъ и пытливо ищетъ причинъ, внесшихъ разложеніе въ горячо любимое крестьянское царство. Онъ видитъ ихъ, главнымъ образомъ, въ неумирающемъ наслѣдіи прошлаго, которое, какъ роковое проклятіе, тяготѣетъ надъ мужикомъ. „Сколько,—грустно замѣчаетъ онъ,—наросло на немъ и вокругъ него, и подъ ногами, и сверху, и снизу,—словомъ, и въ немъ и внѣ его всякой дичи, паутины! Сколько валяется по пути его развитія всякаго гнилья, гнилья столѣтняго, обомшѣлаго, которое путаетъ, сбиваетъ съ толку и пути!“

XII.

Въ чемъ-же, спрашивается, выходъ, въ чемъ спасеніе разлагающейся деревни, откуда ей ждать помощи, кто тотъ таинственный герой, который скажетъ ей могучее слово „впередъ“?

Успенскому думалось сначала, въ пору созданія очерковъ „Изъ деревенскаго дневника“, что спасеніе придетъ изъ города, изъ интеллигентной среды явятся «новые люди», которые обновятъ деревню. Въ сущности, тѣ, отъ кого зависитъ „попеченіе объ участи крестьянской души“, и теперь сплошь и рядомъ дѣлаютъ очень добросовѣстно свое дѣло. „Учитель учитъ такъ, что на экзаменѣ ребята отвѣчаютъ на разные хитрые вопросы; онъ не даромъ получаетъ деньги. Не даромъ получаетъ деньги и лѣкарь, который... не знаетъ покою ни днемъ, ни ночью. Не даромъ получаютъ деньги всѣ прочіе печальники, строящіе мосты и проч.“ Но всѣ эти люди исполняютъ свои обязанности, „какъ нанятой человѣкъ, какъ человѣкъ, которому нуженъ кусокъ хлѣба для *своей* семьи, для *себя*“. У нихъ нѣтъ съ деревней глубокой нравственной связи, они не вкладываютъ всей своей души въ кормящее ихъ дѣло.

Только когда прійдетъ въ деревню не полуграмотный дешевый педагогъ, а умный, вполнѣ образованный человѣкъ, проникшійся важностью взятой на себя обязанности, работающій не только ради жалованья, но, главнымъ образомъ, въ силу идейныхъ побужденій, „только тогда деревня можетъ разсчитывать на то, что ребятишки ея узнаютъ въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное“; только когда, проникшись идеей работы на народной нивѣ, „образованный докторъ рѣшится дѣлать подлинное добро въ маленькомъ уголкѣ одной-двухъ деревень, не разсчитывая ни на какія опредѣленныя вознагражденія, кромѣ добровольныхъ даяній, тогда только деревенскій ребенокъ можетъ разсчитывать на существенную помощь“.

Словомъ, спасеніе деревни, говоритъ Успенскій, въ интеллигентѣ, который рѣшится отдать ей свои знанія, станетъ, несмотря на эти знанія, въ общія условія бѣдности крестьянской жизни, такъ сказать, сольется съ народомъ. Тогда—„конецъ кабаку, конецъ деревенскому навозу, деревенской пьяной дракѣ, деревенской безпомощной болѣзни, безслѣдной смерти и всякому грабежу". Типъ такого интеллигента уже носился въ творческомъ воображеніи автора въ пору созданія очерковъ „Изъ деревенскаго дневника". Нѣкоторый намекъ на него мы находимъ, напримѣръ, въ главѣ „Опять о хорошемъ человѣкѣ" въ лицѣ нѣкоего Андрея Васильевича, который вступаетъ въ медленную, систематическую борьбу съ міроѣдами и одерживаетъ надъ ними верхъ.

Но дальнѣйшій безпристрастный анализъ народной жизни, особенно отношеніе народа къ интеллигенціи, показалъ ему, что этотъ вопросъ далеко не рѣшается такъ просто, какъ это можетъ казаться съ перваго раза. Объ этомъ рѣчь идетъ въ слѣдующей группѣ сочиненій Успенскаго, открывающейся рядомъ очерковъ, подъ заглавіемъ, „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ".

XIII.

Мы видѣли, какъ трезвый скептическій анализъ Г. Успенскаго шагъ за шагомъ разрушалъ иллюзіи народниковъ, не вникавшихъ глубоко въ явленія народной жизни и склонныхъ къ идеализаціи крестьянина и его быта. Не легко далось это писателю. Уступая безжалостной работѣ аналитической мысли, разлетались прахомъ столь красивыя и успокаивающія картины склоннаго къ идеализаціи воображенія, оставляя однѣ тяжелыя впечатлѣнія нестроенія и неправды народной жизни. Но Г. Успенскій слишкомъ крѣпко любилъ народъ, чтобы могъ успокоиться на тѣхъ мрачныхъ впечатлѣніяхъ отъ русской деревни, основныя черты которыхъ мы отмѣтили въ предыдущей главѣ. Да и при томъ, впечатлѣнія эти были вынесены изъ наблюденій надъ такой мѣстностью Россіи, гдѣ было не мало привходящихъ условій, вносящихъ нѣчто новое въ народную жизнь. Тутъ, по словамъ Г. Успенскаго, соединялись всѣ нравственныя и экономическія черты, отличающія наше переходное время: здѣсь была и желѣзная дорога, а, значитъ, и тѣ новыя теченія экономической жизни, которыя она приноситъ для мѣстнаго населенія, и заработокъ на сторонѣ, и баринъ совершенно новаго, коммерческаго, даже кулацкаго типа, и прежнія формы жизни, выработанныя крѣпостнымъ правомъ. Для того-же, чтобы судить о томъ, есть-ли въ народно-крестьянской жизни дѣйствительно что-либо здоровое, цѣнное, что необходимо сохранить и поддержать для будущаго благополучія народныхъ

массъ, нужно наблюдать эту жизнь тамъ, гдѣ она развивалась вполнѣ самостоятельно и не осложняется никакими посторонними вліяніями.

И вотъ Г. Успенскій, по его собственнымъ словамъ, „изъ шумной, полупьяной, развратной деревни забрался въ лѣсъ новгородской губерніи, въ усадьбу, гдѣ жила только одна крестьянская семья". Здѣсь онъ могъ наблюдать народную земледѣльческую жизнь въ ея неискаженномъ посторонними вліяніями видѣ и „тогда въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно одну подлинно важную черту въ основахъ жизни русскаго народа —именно власть земли".

Съ этой „властью земли" Г. Успенскій знакомитъ читателя въ двухъ замѣчательнѣйшихъ по своей идеѣ художественно-публицистическихъ произведеніяхъ, со значительнымъ преобладаніемъ элемента публицистики, подъ заглавіемъ: „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ" и „Власть земли". Эти два сочиненія Г. Успенскаго занимаютъ центральное мѣсто въ его очеркахъ изъ народной жизни, ибо въ нихъ мы находимъ ясное и опредѣленно выраженное указаніе на основную характерную особенность этой жизни и рѣшеніе вопроса о томъ, каково должно быть дальнѣйшее направленіе ея, и въ чемъ состоитъ роль интеллигенціи по отношенію къ народу. На разборѣ этихъ очерковъ придется поэтому остановиться дольше.

XIV.

Какъ и всѣ почти крупныя сочиненія Г. Успенскаго, очеркъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ" посвященъ разработкѣ цѣлаго ряда отрывочныхъ темъ, которыя съ перваго раза, кажется, мало имѣютъ между собою общаго, но на самомъ дѣлѣ, оказываются тѣсно связанными съ двумя основными идеями, положенными въ основу очерка. Это—полная отчужденность и взаимное непониманіе интеллигента и простого крестьянина-земледѣльца и гармоническая цѣльность, красота и поэзія земледѣльческаго быта. Послѣдняя мысль разрабатывается также и въ очеркѣ „Власть земли", а потому мы будемъ выяснять ее, пользуясь обоими этими произведеніями одновременно.

Въ очеркѣ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ" болѣе всего мѣста отведено повѣствованію о трудовой земледѣльческой жизни крестьянина Ивана Ермолаевича. Изобразивъ въ сильныхъ, яркихъ краскахъ всю тяготу и неприглядность крестьянскаго труда, поставленнаго при томъ въ такую обстановку, „хуже... которой представить себѣ нѣтъ возможности", авторъ задаетъ себѣ вопросъ: что же даетъ ему силу переносить свое труженическое существованіе, и неужели онъ и его тысячелѣтніе предки бьются только изъ-за податей и изъ-за куска хлѣба? Мало по малу передъ нимъ

открывается такая сторона земледѣльческаго быта, о которой онъ и не подозрѣвалъ раньше.

Оказывается, что „Иванъ Ермолаичъ «бьется» не потому только, что ему надо быть сытымъ, платить подати, но и потому еще, что земледѣльческій трудъ со всѣми его развѣтвленіями, приспособленіями, случайностями поглощаетъ и его мысль, сосредоточиваетъ въ себѣ почти всю его умственную и даже нравственную дѣятельность и даже какъ бы удовлетворяетъ нравственно". Иначе говоря, въ своемъ тяжеломъ, неустанномъ трудѣ, крестьянинъ находитъ и свою высокую поэзію, и богатую и разнообразную пищу для своей умственной и нравственной дѣятельности. „Творчество въ земледѣльческомъ трудѣ, поэзія его, его многосторонность составляютъ для громаднаго большинства нашего крестьянства живой интересъ, источникъ работы мысли, источникъ взглядовъ на все окружающее его, источникъ едва-ли даже не всѣхъ его отношеній частныхъ и общественныхъ". Но этого мало. Земледѣльческій трудъ не только наполняетъ внутренній міръ крестьянина, даетъ ему пищу и радость; онъ въ то-же время объединяетъ, дѣлаетъ удивительно цѣльной и гармоничной всю его жизнь и дѣятельность, создаетъ стройную систему семейныхъ отношеній и отношеній общественныхъ.

Словомъ, въ „условіяхъ земледѣльческаго труда почерпаетъ онъ философскіе взгляды; въ условіяхъ этого труда работаетъ его мысль, творчество, въ этомъ-же трудѣ онъ обрѣтаетъ освѣжающія душу поэтическія впечатлѣнія, на основаніяхъ этого труда строитъ свою семью, строитъ свои общественныя, частныя отношенія". Крестьянинъ можетъ сказать о себѣ словами Микулушки Селяниновича: „меня любитъ мать сыра земля". Дѣйствительно, она его любитъ, въ смыслѣ владѣетъ имъ, „забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ". Онъ испытываетъ на себѣ, поистинѣ, „власть земли".

Спрашивается, какъ-же относиться къ этой таинственной и безконечно могущественной въ своей таинственности „власти земли", всецѣло завладѣвшей русскимъ землепашцемъ-крестьяниномъ. Есть-ли это мрачная, стихійная сила, изъ подъ гнета которой нужно во что-бы то ни стало освободить крестьянскую Русь, или, наоборотъ, въ ней залогъ личнаго и общественнаго благоденствія нашего народа?

Г. Успенскій рѣшительно и безъ всякихъ колебаній утверждаетъ послѣднее. Вотъ его подлинныя слова объ этомъ въ началѣ четвертой главы разсматриваемаго очерка: „Огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ молода душою, мужественно-сильна и дѣтски-кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся—народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ

поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ «власть земли», покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ все его существованіе". Наоборотъ, стоитъ только оторвать крестьянина отъ земли и отъ всего того, что наполняетъ его жизнь вслѣдствіе этой неразрывной его связи съ нею,— „и нѣтъ этого народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него".

Въ самомъ дѣлѣ, вообразимъ себѣ, что мы перевели на деньги результаты годового труда какой-либо крестьянской семьи и, увеличивъ въ нѣсколько разъ эту сумму, отдадимъ этой семьѣ и тѣмъ освободимъ ее отъ привычнаго земледѣльческаго труда. Каковы будутъ результаты? Образуется „толпа ртовъ", жизнь которыхъ сплошная пустота. Скучнѣе, пошлѣе этой жизни трудно себѣ что-нибудь представить. Жена крестьянина, которая такъ незамѣнима при земледѣльческомъ укладѣ жизни, при отсутствіи крестьянскаго труда „оказывается просто дурой, дубиной, деревомъ, которое будетъ мѣшать вездѣ, куда только ни сунется"; мужъ наберется нелѣпаго „форцу", который такъ хорошо можно наблюдать у крестьянъ, побывавшихъ лакеями, половыми въ трактирахъ и т. п. „Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма".

XV.

Чтобы иллюстрировать это разложеніе крестьянина, оторваннаго отъ земледѣльческаго уклада жизни, Г. Успенскій рисуетъ намъ образъ „деревенскаго пролетарія", крестьянина Ивана Босыхъ.

Казалось-бы, у него всѣ данныя для того, чтобы жить, какъ слѣдуетъ: и онъ, и жена отличаются прекраснымъ здоровьемъ, оба ловкіе, сильные работники, земли могутъ имѣть, сколько понадобится; наконецъ, онъ, кромѣ всего этого, владѣетъ, очень хорошо для деревни, плотницкимъ и сапожнымъ ремесломъ. Между тѣмъ, онъ бросилъ вполнѣ налаженное хозяйство, колотитъ жену, пьянствуетъ, прибѣгаетъ къ мошенническимъ продѣлкамъ, чтобы добыть денегъ, уклоняется отъ труда и близокъ къ разоренію.

Временами на Ивана находятъ минуты просвѣтлѣнія, и въ такіе моменты онъ, какъ умный человѣкъ, не только сознаетъ всю горечь своего положенія, но и ясно видитъ причину своего паденія. Въ бесѣдѣ съ авторомъ онъ объясняетъ его волей, свободой, легкимъ житьемъ, обиліемъ денегъ. Подъ этими неопредѣленными выраженіями кроется однако, какъ это видно изъ его попутныхъ замѣчаній, не что иное, какъ уклоненіе отъ нормы земледѣльческаго труда и неразрывно слѣдующее за этимъ разрушеніе прежнихъ основъ крестьянской жизни.

XVI.

Такимъ образомъ, народная жизнь такъ самодовлѣюща, гармонична, цѣльна и закончена, отличается такой красотой, полнотой и стройностью, столь своеобразна и самобытна, что для интеллигентнаго человѣка она представляется совершенно чуждой. Интересы каждаго изъ нихъ настолько обособлены другъ отъ друга, что между ними нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Болѣе того, интеллигентному человѣку, такъ, по крайней мѣрѣ, кажется съ перваго раза, какъ будто и не къ чему приложить свои силы для служенія народу: законченная въ самой себѣ, гармоничная жизнь его пошлетъ такому смѣльчаку свой грозный окрикъ: „не суйся!“ и всѣ его порывы „гуманства“ „безпорядочной, безобразной массой, со свистомъ и шумомъ полетятъ въ бездонную пропасть“.

Но это такъ кажется только съ перваго разу.

Стоитъ внимательнѣе всмотрѣться въ народную жизнь и тѣ условія, въ которыхъ она теперь протекаетъ, чтобы понять, что она очень нуждается въ помощи интеллигенціи. Только интеллигенція эта и ея помощь должны носить свой особый, своеобразный характеръ. Необходимость этой помощи, по Успенскому, вытекаетъ изъ двухъ причинъ: она вызывается, во первыхъ, той опасностью для гармоніи народнаго міросозерцанія и уклада жизни, которая грозитъ имъ со стороны надвигающейся цивилизаціи, и, во-вторыхъ, обусловливается нѣкоторыми чертами, коренящимися въ самомъ столь гармоническомъ укладѣ крестьянской жизни, созданномъ всецѣло подчиняющей его себѣ „властью земли“.

Всякій, говоритъ Г. Успенскій, кто хоть сколько-нибудь знаетъ народную жизнь, не можетъ не признать, что „стройность сельскохозяйственныхъ земледѣльческихъ идеаловъ безпощадно разрушается такъ называемой цивилизаціей“, Достаточно одного только легкаго прикосновенія ея—и тысячелѣтніе идеалы идутъ прахомъ. Вотъ, напримѣръ, трудолюбивый, деликатный, умный, цѣломудренный крестьянинъ поѣздилъ двѣ зимы легковымъ извозчикомъ—и сталъ чужимъ въ родной своей семьѣ. Онъ презрительно-насмѣшливо относится къ своему брату-крестьянину, утаиваетъ отъ главы семьи заработанныя деньги, хочетъ выдѣлиться. А то и просто „придетъ изъ Петербурга безъ копейки, хотя и «при часахъ», ничего не дѣлаетъ, не работаетъ, а свою-же родную мать посылаетъ ходить по міру и ждетъ ее, поглядывая на часы“. Даже такая, казалось-бы, безусловно желательная вещь, какъ грамотность, и та, сплошь и рядомъ, приводитъ къ отрицательнымъ результатамъ.

Такимъ образомъ, здѣсь Г. Успенскій отмѣчаетъ то тлетворное вліяніе нѣкоторыхъ сторонъ цивилизаціи на патріархальные нравы, которое не разъ

обращало на себя вниманіе нашихъ писателей и приводило нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Л. Толстого, къ признанію тщеты цивилизаціи въ дѣлѣ созданія человѣческаго счастья.

Но Г. Успенскій, признавая вслѣдъ за „великимъ писателемъ земли русской“ разлагающее дѣйствіе цивилизаціи, въ нѣкоторыхъ ея проявленіяхъ, на гармонически-прекрасный строй народнаго міросозерцанія, не впадаетъ въ крайность и не отрицаетъ вовсе благотворнаго вліянія нѣкоторыхъ ея сторонъ на народную жизнь.

Набросавъ рядъ примѣровъ, показывающихъ наглядно, какъ разлагается народная жизнь при малѣйшемъ прикосновеніи цивилизаціи, онъ сейчасъ же оговаривается, что изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, будто „необходимо уничтожить все, что носитъ мало-мальски чуждый земледѣльческому порядку признакъ: керосиновыя лампы, фабрики, выдѣлывающія ситецъ, желѣзныя дороги, телеграфы, кабаки, извозчиковъ и кабатчиковъ, даже книги, табакъ, сигары, папиросы, пиджаки и т. п.“. Какъ ни много посылается проклятій современнымъ вывихнутымъ человѣкомъ цивилизаціи, но все же нельзя не признать, что она „выдумала массу добра для человѣчества“, и что жизнь многихъ культурныхъ людей „значительно облегчена, услаждена, благодаря этой настоящей цивилизаціи“.

Итакъ, однимъ крыломъ своего побѣднаго шествія цивилизація сокрушаетъ стройность и гармонію земледѣльческихъ идеаловъ, а другимъ несетъ благо и счастье тому-же народу.

Оградить народную жизнь отъ разрушающихъ силъ цивилизаціи, съ одной стороны, а съ другой—всячески содѣйствовать тому, чтобы она принесла „массу добра“ тому-же народу, не ломая его укладовъ жизни,—вотъ та задача, которая открывается передъ интеллигенціей, обязанной послужить народу, вотъ настоящее „народное дѣло“, которое „можетъ и должно принять совершенно опредѣленныя, реальныя формы; и работниковъ для него надо великое множество“.

Но этимъ не исчерпывается задача интеллигенціи по отношенію къ народной жизни.

XVII.

Прекрасна въ своей гармоніи народная земледѣльческая жизнь, созданная вѣковой „властью земли“, властью „ржаного поля“. Эта жизнь, въ которой каждый „самъ удовлетворяетъ своимъ потребностямъ“, болѣе, чѣмъ какая-либо другая, можетъ дать отвѣтъ на вопросъ: „какъ жить свято“, и въ то-же время удовлетворяетъ тѣмъ построеніямъ научной мысли, къ какимъ она приходитъ въ конечномъ выводѣ, желая опредѣлить тѣ условія

человѣческой жизни, при которыхъ отдѣльная личность могла-бы найти полноту своего личнаго существованія, не нарушая этимъ полноты существованія общества.

Чтобы доказать, что это именно такъ, Г. Успенскій (въ очеркѣ: „Трудами рукъ своихъ“) вспоминаетъ формулу прогресса извѣстнаго русскаго соціолога и критика Н. К. Михайловскаго и, сопоставляя ее съ выработанной „властью земли“ земледѣльческой жизнью, находитъ, что она можетъ быть осуществлена именно въ этой жизни. Формула эта, предложенная Михайловскимъ въ статьѣ: „Что такое прогрессъ?“, такова: „прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами (недѣлимаго) и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми... Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его членовъ“. И эта формула, къ огромному счастью русскаго народа, оказывается, по мнѣнію Успенскаго, можетъ найти свое осуществленіе „въ глубинахъ нашихъ народныхъ массъ“.

Но какъ ни радостно сознавать это для русскаго человѣка, преисполненнаго желаніемъ блага родному народу, онъ не можетъ не видѣть, что тѣ-же самыя гармоническія формы народнаго быта, которыя вселяютъ глубокую вѣру въ будущее этого народа, въ то-же время порою приносятъ и полное разочарованіе въ гармоніи, открываютъ „полную безсмыслицу деревенскихъ людей, грубую дикость, узкость, узколобіе, безсердечіе и, вообще, полнѣйшее отсутствіе какихъ-бы то ни было человѣческихъ привлекательныхъ чертъ и свойствъ“. Нельзя не видѣть на каждомъ шагу, что есть въ этомъ гармоническомъ человѣкѣ какая-то неуловимая грань, какой-то предѣлъ, за которымъ этотъ человѣкъ можетъ превратиться изъ добраго въ злого, изъ великодушнаго сдѣлаться жаднымъ и алчнымъ, изъ мірского работника стать лютымъ врагомъ этого-же міра, его разорителемъ и предателемъ.

Объясняется это ужасное, загадочное соединеніе добра и зла, высшей правды и самой вопіющей несправедливости, поразительной глубины мысли, предусмотрительности и не менѣе поразительнаго легкомыслія тѣмъ, что столь влекущая къ себѣ своей цѣльностью и гармонической красотой народная земледѣльческая жизнь вырабатывалась вѣками безъ всякаго участія сознанія, стихійно, „властью земли“, властью „ржаного поля“. У земледѣльца нѣтъ ни единаго поступка, шага или мысли, которые не находились-бы въ полной зависимости отъ земли. „Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой... Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка— земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ... Ни за что не отвѣчая, ничего самъ не при-

думывая, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ жизнь".

Изъ этихъ словъ Г. Успенскаго, взятыхъ изъ „Власти земли", ясно, что весь столь гармонически прекрасный укладъ земледѣльческой жизни созданъ безъ всякаго участія сознанія, что и самъ этотъ „гармоническій человѣкъ... не знаетъ, хорошъ-ли онъ или худъ, а живетъ, дѣлаетъ и думаетъ хорошо и красиво и справедливо, какъ бы благодаря какимъ то постороннимъ, вовсе не отъ него зависящимъ вліяніямъ". Въ немъ нѣтъ *своей* выдумки, *своихъ* плановъ, *своихъ* убѣжденій, онъ весь—продуктъ безпрерывнаго и безконечнаго труда во имя „куска хлѣба". Конечно, разъ это такъ, разъ въ выработкѣ гармоническихъ формъ народно-земледѣльческаго быта не принимали никакого участія мысль и сердце человѣка, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что мы встрѣчаемъ тамъ на ряду съ прекрасными, возвышающими душу явленіями такіе ужасы, отъ которыхъ холодѣетъ сердпе.

Но вотъ тутъ-то и открывается безконечная арена для дѣятельности интеллигенціи на благо народу.

Вѣдь, теперешняя народная правда есть только стихійная, „зоологическая, лѣсная правда" первобытнаго существованія. И русская деревня есть „зоологическая, съ невоспитанной совѣстью деревня", и она глубоко нуждается въ интеллигентной помощи, въ чьемъ либо постороннемъ вліяніи, которое бы дало возможность пробудиться мысли и совѣсти". Только за эту помощь можетъ браться лишь тотъ, кто глубоко убѣжденъ въ томъ, что нашъ народъ дѣйствительно обладаетъ „образцовѣйшими типами существованія человѣческаго". Впрочемъ, что формы народной жизни „хороши, правдивы—этого нельзя не чувствовать, не ощущать, и разъ человѣкъ относится къ дѣлу искренно, даже просто по инстинкту не скажетъ такого слова и не дѣлаетъ такого дѣла, чтобы повредить этимъ формамъ, разстроить ихъ, урѣзать и убавить. Задача интеллигенціи заключается въ томъ, чтобы, ревниво оберегая гармоничность уклада народной жизни, „безсознательно образцовый" типъ существованія обратить въ „сознательно образцовый", т. е., опять таки, говоря словами Г. Успенскаго, „зоологическую", „лѣсную" правду одухотворить сознательностью, возвысить ее на степень „божеской правды", обогатить ее умомъ, знаніемъ, вдохнуть въ нее моральный элементъ.

Что это не идиллическія фантазіи, не пустая мечта, для Г. Успенскаго доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что въ самомъ народѣ начинаетъ пробуждаться стремленіе внести сознательное отношеніе къ своей правдѣ, стремленіе оцѣнить съ моральной и логической точки зрѣнія преимущества земледѣльческаго уклада жизни. Вотъ почему онъ съ такимъ восторгомъ относится къ сочиненію простого крестьянина: „Трудолюбіе, или торжество зем-

ледѣльца“ (см. очеркъ: „Трудами рукъ своихъ“): онъ видитъ въ немъ, какъ само народное сознаніе санкціонируетъ тѣ выводы, къ которымъ онъ пришелъ, изучая земледѣльческій укладъ жизни. Въ этомъ укладѣ, просвѣтленномъ и одухотворенномъ разумомъ и нравственнымъ чувствомъ, видитъ онъ рѣшеніе вопроса о томъ, „какъ жить свято“. Ему безконечно дорогъ типъ человѣка, говоря словами Л. Толстого, „независимаго, удовлетворяющаго всѣмъ своимъ потребностямъ“, ибо этотъ типъ и есть настоящій прогрессивный типъ и „по наукѣ“ и по голосу непосредственнаго чувства, чуящаго въ немъ и простоту, и широту, и гармонію, и независимость и правду,—все, чего ищетъ тоскующая совѣсть человѣческая. Дорогъ онъ автору еще и потому, что „этотъ типъ, т. е. этотъ образчикъ справедливаго существованія, есть у насъ въ живомъ видѣ,' живетъ въ массахъ русскаго народа..., и самъ народъ, въ лицѣ своихъ посвоему образованныхъ, мыслящихъ людей... хочетъ сказать всему бѣлому свѣту, что и онъ, народъ, *сознательно* полагаетъ и правду, и счастье, и независимость именно въ такой формѣ жизни, въ основѣ которой лежитъ удовлетвореніе личностью всѣхъ своихъ потребностей“.

XVIII.

Мы сгруппировали здѣсь, насколько возможно стройно, главнѣйшія чаянія Г. Успенскаго о народной жизни, къ которымъ, послѣ долгихъ поисковъ, пришла наконецъ, его жаждущая гармоніи душа, безконечно любящая народъ и глубоко страждущая при видѣ неурядицъ его жизни. Мыслями этими пестрятъ такіе его очерки, какъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“, „Власть земли“, „Трудами рукъ своихъ“ и др.

Къ сожалѣнію, ни здѣсь, ни гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ Г. Успенскій не далъ намъ болѣе или менѣе стройнаго и законченнаго изложенія своихъ взглядовъ на народную жизнь. Да и въ указанныхъ очеркахъ, очевидно, обуреваемый множествомъ разнообразныхъ мыслей, онъ, „волнуясь и спѣша“, постоянно переходитъ отъ одной къ другой, повторяется, не договариваетъ, дѣлаетъ безпрестанныя уклоненія въ сторону, что, конечно, не мало затрудняетъ читателя. Особенно поверхностно разработанной, вѣрнѣе говоря, только намѣченной, представляется мысль о задачахъ интеллигенціи по отношенію къ народу, чрезвычайно цѣнная, какъ сама по себѣ, такъ и по тому обоснованію, которое онъ даетъ ей въ своихъ очеркахъ. Видно, что она только назрѣвала въ сознаніи автора и не успѣла еще развиться во всей логической полнотѣ и стройности или-же отлиться въ художественные образы. Гораздо болѣе детально обоснованной является другая идея разсмотрѣнныхъ очерковъ, идея тоже громадной важности, имѣющая огромный интересъ съ точки зрѣнія соціологіи. Это—знаменитое открытіе „власти земли“, тяго-

тѣющей надъ нашимъ крестьяниномъ—хлѣбопашцемъ. Признаніе этой идеи въ такомъ видѣ, какъ ее открылъ и обосновалъ Г. Успенскій, неминуемо ведетъ къ признанію необходимости сохранить, въ интересахъ самого-же народа, выработанный земледѣльческимъ бытомъ строй его жизни, внеся только въ него элементъ сознательности и морали. Открытіемъ принципа „власти земли“ Г. Успенскій болѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ писателей-народниковъ, содѣйствовалъ упроченію мысли о необходимости относиться съ глубокимъ вниманіемъ и осторожностью къ выработаннымъ вѣками формамъ народной жизни. Тотъ, кто вчитается внимательно во „Власть земли“ и связанныя съ нею по идеѣ другіе очерки Г. Успенскаго, тотъ проникнется уваженіемъ къ устоямъ народной жизни и ея идеаламъ и не станетъ пытаться подрывать эти устои во имя какихъ-либо новыхъ формъ личнаго и общественнаго существованія.

Къ глубокому сожалѣнію, другіе очередные вопросы жизни, мощно требовавшіе къ себѣ вниманія особенно у такого чуткаго писателя, какъ Г. Успенскій, а затѣмъ тяжелая душевная болѣзнь лишили его возможности вернуться къ тѣмъ мыслямъ, которыя онъ началъ разрабатывать въ разсмотрѣнныхъ только что очеркахъ народной жизни. Но какъ-бы то ни было, „Власть земли“, по глубинѣ и вѣрности своей идеи, навсегда сохранитъ видное мѣсто не только въ исторіи народнической литературы, но и въ трудахъ соціолога,—и въ этомъ значеніе этого очерка, объединяющаго вокругъ себя и рядъ другихъ, связанныхъ съ нимъ единствомъ идеи.

Графъ А. К. Толстой и его стихотворенія.

Графъ А. К. Толстой и его стихотворенія.

I.

Болѣе трехъ десятилѣтій прошло со дня смерти замѣчательнаго русскаго поэта, графа Алексѣя Константиновича Толстого (1817—1875 гг.). Тридцать лѣтъ—срокъ не малый для того, чтобы оцѣнить по достоинству литературную дѣятельность писателя, изучить его жизнь и творчество, опредѣлить его мѣсто въ ряду другихъ поэтическихъ талантовъ. Этого тѣмъ болѣе естественно было-бы ожидать для гр. А. Толстого, что онъ, вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, представляется далеко не заурядnымъ писателемъ: имя его хорошо извѣстно въ широкой публикѣ, а нѣкоторыя изъ его произведеній проникли и въ народъ, являясь необходимой принадлежностью даже самой скромной библіотеки-читальни. Эта извѣстность, продолжающаяся уже нѣсколько десятилѣтій, служитъ лучшимъ доказательствомъ того, насколько крупную литературную величину представляетъ собою А. Толстой.

Тѣмъ не менѣе, если обратиться къ тому, что до сихъ поръ написано объ А. Толстомъ, невольно поражаешься скудостью критической литературы о немъ, какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи. Мы до сихъ поръ не имѣемъ не только полной, безпристрастной оцѣнки его творчества, но даже и сколько-нибудь обстоятельно составленной біографіи. Въ этомъ отношеніи А. Толстой, можно сказать, «забытый поэтъ», забытый не читателями, а историко-литературной критикой, которая пока еще не дала полной и объективной оцѣнки его дѣятельности.

Въ послѣднія 10—12 лѣтъ въ печати появилось однако нѣсколько цѣнныхъ матеріаловъ для характеристики личности и творчества этого замѣчательнаго поэта (главнымъ образомъ, его переписка), а также отдѣльныя критическія статьи, отмѣчающія тѣ или другія положительныя стороны его литературной дѣятельности. Таковы, напримѣръ, статьи извѣстнаго философа Вл. С. Соловьева: „Поэзія гр. А. К. Толстого“ (В. Е. 1895 г. 5) и

Н. А. Котляревскаго: „Историческое значеніе поэзіи гр. А. К. Толстого“ (Сборникъ: „Подъ знаменемъ науки“) и нѣк. др., но все-же рѣдкое по своему богатству и разнообразію и въ идейномъ и въ художественномъ отношеніи творчество гр. А. Толстого далеко еще не разъяснено читателямъ и не оцѣнено по достоинству критикой.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору и общей оцѣнкѣ его стихотвореній, остановимся вкратцѣ на общей характеристикѣ его своеобразной личности и поэтическаго таланта: это поможетъ намъ тѣмъ лучше уяснить себѣ особенности его поэзіи.

II.

Всматриваясь въ духовный обликъ А. Толстого, нельзя, прежде всего, не замѣтить въ немъ громаднаго врожденнаго поэтическаго таланта, потребности претворять въ художественные образы воспринятыя отъ внѣшняго міра впечатлѣнія и свои сокровенныя чувства и думы. Лучшимъ подспорьемъ въ этомъ отношеніи служила для него его необыкновенная память. По свидѣтельству знавшихъ его лицъ, онъ могъ, бѣгло прочитавъ большую страницу прозы, дословно и безъ ошибки передать прочитанное.

Какъ у выдающихся поэтовъ, напр., Гете, Пушкина, Лермонтова, потребность въ художественномъ творчествѣ неудержимо сказывается у А. Толстого съ раннихъ лѣтъ и непрестанно растетъ и развивается, точно въ душѣ его живетъ неисчерпаемый родникъ творческихъ силъ. Особенно сильно проявляется въ немъ съ ранняго дѣтства даръ стихотворства, побуждающій его съ шести лѣтъ писать стихотворенія, вначалѣ, конечно, въ видѣ подражаній наиболѣе поразившимъ его произведеніямъ другихъ авторовъ. „Съ шестилѣтняго возраста,—говоритъ А. Толстой въ автобіографіи,—началъ я марать бумагу и писалъ стихи—такъ поражено было мое воображеніе нѣкоторыми изъ произведеній нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденными мною въ какомъ-то сборникѣ... Я упивался музыкою разнообразныхъ ритмовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику. Какъ ни были нелѣпы мои первые опыты, я долженъ сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны“.

Эта такъ рано пробудившаяся чисто стихійная творческая сила не ослабѣваетъ въ немъ и впослѣдствіи и временами проявляется съ поразительною мощью. Бывали дни, когда онъ, подъ вліяніемъ непреодолимой потребности писать, создавалъ по 4—5 вещей ежедневно и, по его собственнымъ словамъ, чѣмъ больше писалъ, тѣмъ больше хотѣлось писать. Въ минуты вдохновенія пѣсня такъ и льется у А. Толстого, и ничто не можетъ остановить ее.

Охваченный ею не можетъ молчать,
Онъ рабъ ему чуждаго духа,
Возжглась ему въ грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей—онъ долженъ вѣщать,
Что слышитъ подвластное ухо.

Эти слова А. Толстого о слѣпомъ гусляре (баллада; „Слѣпой“) вполнѣ примѣнимы и къ самому поэту.

На ряду съ громаднымъ стихотворнымъ талантомъ у А. Толстого было въ высшей степени развито эстетическое чувство. Это въ полномъ смыслѣ слова художественная натура, необыкновенно впечатлительная, чуткая ко всему прекрасному, въ какой-бы формѣ оно ни проявлялось.

Съ дѣтскихъ лѣтъ онъ испытывалъ неодолимое влеченіе къ искусству вообще во всѣхъ его проявленіяхъ. Хорошая картина, статуя или хорошая музыка, по его словамъ, такъ сильно дѣйствовали на него, что у него буквально волосы поднимались на головѣ. Въ своей автобіографіи онъ разсказываетъ характерный случай, свидѣтельствующій о его необычайной любви къ созданіямъ искусства, проявившейся еще въ дѣтскомъ возрастѣ.

Тринадцати лѣтъ, путешествуя съ родными по Италіи, А. Толстой прямо влюбился въ бюстъ молодого фавна, приписываемый Микель Анджело и пріобрѣтенный его родными въ одномъ старомъ дворцѣ въ Венеціи. „Когда бюстъ принесли въ отель, гдѣ мы жили,—пишетъ онъ,—я не отходилъ отъ него. Ночью я вставалъ смотрѣть на него, и нелѣпѣйшій страхъ мучилъ мое воображеніе. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ сдѣлать для спасенія бюста, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, могу-ли я, въ такомъ случаѣ, унести статую на своихъ рукахъ“. По возвращеніи въ Россію молодой поэтъ сталъ страшно тосковать по Италіи: онъ ничего не хотѣлъ ѣсть, а по ночамъ рыдалъ, уносясь мечтами въ эту страну искусства.

Какъ натура истинно художественная, А. Толстой искренно и сильно любилъ родную природу и глубоко понималъ ея красоту. Рѣдкая по своей силѣ любовь къ родному ландшафту и способность прочувствовать мельчайшія, вовсе незамѣтныя для другого его детали временами настолько проявлялись въ А. Толстомъ, что онъ, по его словамъ, „убѣгалъ“ изъ чада столичной жизни, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ глуши родныхъ лѣсовъ. Это чувство природы нашло себѣ самое яркое отраженіе въ его поэзіи. Всякій, кто знакомъ съ лирикой А. Толстого, знаетъ всю роскошь поэтическихъ красокъ, съ которыми онъ умѣетъ изображать русскую природу.

Будучи отъ природы одаренъ чуткой, воспріимчивой душой, А. Толстой, точно эолова арфа, отзывался на всякое впечатлѣніе, воспринимая его всѣми фибрами своей художественной натуры. Отсюда необычайная его чувстви-

тельность, чуждая, впрочемъ, приторной сантиментальности, и нѣкоторая экзальтированность, объясняемая способностью сильно чувствовать. Читаетъ онъ, напримѣръ, «Евгенія Онѣгина» и такъ всѣмъ существомъ своимъ понимаетъ прелесть отдѣльныхъ картинъ, что у него отъ восторга слезы льются изъ глазъ. То-же съ нимъ происходитъ при созерцаніи скульптурныхъ произведеній классической древности. Оправдываясь въ этой необыкновенной впечатлительности, особенно къ произведеніямъ искусства, онъ писалъ въ одномъ письмѣ: «Мои такъ часто льющіяся слезы, можетъ быть, слабость съ моей стороны: съ другими это бываетъ лишь въ минуты экзальтаціи, большихъ возбужденій, въ минуты апогея любви и т. д. Но что-же мнѣ дѣлать, если всякая минута моей жизни проходитъ въ экзальтаціи и апогеѣ».

Нельзя не отмѣтить также въ его характерѣ очень замѣтно проявлявшейся порою и въ жизни, и въ творчествѣ юмористической жилки. Черта эта, являющаяся особенностью національнаго характера малороссовъ, перешла къ нему, по всей вѣроятности, по наслѣдству отъ его дѣда, извѣстнаго вельможи Александровскаго времени, графа Алексѣя Разумовскаго. По словамъ одного лица, знавшаго поэта, онъ „постоянно перемѣшивалъ серьезное съ шуткой, безъ которой онъ рѣшительно не могъ жить“. Мы будемъ имѣть случай видѣть при разборѣ нѣкоторыхъ стихотвореній А. Толстого, какъ пышно развернулась эта особенность его характера въ его творчествѣ.

Наконецъ, обращаетъ на себя вниманіе еще двѣ черты личности А. Толстого: это то, что принято называть индивидуализмомъ, способность всегда оставаться самимъ собою, не поддаваться различнымъ вліяніямъ, способность быть самостоятельнымъ, оригинальнымъ въ своихъ мысляхъ, сужденіяхъ, поступкахъ, а также глубокая врожденная искренность, не позволявшая кривить душою даже при самыхъ щекотливыхъ и опасныхъ случаяхъ жизни.

Только что отмѣченныя свойства богато одаренной натуры гр. А. Толстого совершенствовались и развились въ лучшую сторону, благодаря его прекрасному и разностороннему образованію, особенно широкому знанію западныхъ литературъ. Это выдающееся литературное образованіе отразилось самымъ выгоднымъ образомъ и на его творчествѣ, содѣйствуя разнообразному характеру его произведеній.

Всѣ отмѣченныя только что наиболѣе характерныя черты личности гр. А. Толстого свидѣтельствуютъ о томъ, что въ лицѣ его мы имѣемъ дѣло съ истиннымъ поэтическимъ талантомъ, при томъ такимъ, которому суждено было, вслѣдствіе нѣкоторыхъ его природныхъ свойствъ, сыграть совершенно особую роль въ дѣлѣ нашего литературнаго развитія.

III.

Что-же представляетъ собою гр. А Толстой, какъ поэтъ, каковы основные мотивы его творчества, въ чемъ значеніе его поэзіи? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы остановимся на обзорѣ его стихотвореній, помѣщенныхъ въ первыхъ двухъ томахъ собранія его сочиненій.

Во многихъ изъ этихъ стихотвореній, особенно въ такихъ крупныхъ произведеніяхъ, какъ „Іоаннъ Дамаскинъ“ и „Грѣшница“, ярко выступаетъ одна своеобразная особенность поэзіи гр. А. Толстого— его глубокое, искреннее религіозное чувство. Чувство это, чуждое какой-либо обрядовой формы, такъ сказать, отвлеченное по своей сущности, тѣмъ не менѣе поражаетъ своей непосредственностью и силой. Конечно, оно было слѣдствіемъ постояннаго истинно-религіознаго настроенія души поэта. Никто изъ русскихъ поэтовъ до гр. А. Толстого, не исключая и Жуковскаго, не вносилъ въ свое творчество такой глубокой, неподдѣльной религіозности, какъ это дѣлалъ онъ, и это потому, что онъ весь былъ проникнутъ высшимъ религіознымъ полетомъ чувства и мысли. Въ письмахъ А. Толстого сохранились любопытныя признанія, свидѣтельствующія о томъ, насколько чувство это не было только временнымъ порывомъ, а наоборотъ, нашло себѣ выраженіе и въ общемъ философскомъ міровоззрѣніи поэта. „Ни въ какомъ положеніи душа не пріобрѣтаетъ болѣе обширнаго развитія, какъ въ приближеніи ея къ Богу“, писалъ А. Толстой въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Душа не забыла совершенно свое первое существованіе до ея заключенія въ то застывшее состояніе, въ которомъ она теперь находится; если-бы мы не были скованы матеріей, мы-бы сейчасъ вернулись въ наше нормальное состояніе, которое есть непрерывное обожаніе Бога и единственное, въ которомъ можно быть безъ страданій“. Въ другомъ мѣстѣ онъ пишетъ: „Я вѣрю Богу, и у меня невысокое мнѣніе о разумѣ человѣческомъ; я вѣрю больше тому, что я чувствую, чѣмъ тому, что я понимаю, такъ какъ Богъ далъ намъ чувство, чтобы итти дальше, чѣмъ разумъ. Чувство—лучшій вожакъ, чѣмъ разумъ, такъ-же, какъ музыка совершеннѣе слова“. Это стремленіе соединиться съ Богомъ постоянно жило въ душѣ нашего поэта, и этимъ объясняется тотъ захватывающій религіозный паѳосъ, какимъ проникнутъ его „Іоаннъ Дамаскинъ“ и „Грѣшница“. Вспомнимъ хотя-бы знаменитый гимнъ „Благословляю васъ, лѣса, долины, нивы, горы, воды, благословляю я свободу и голубыя небеса!“ гимнъ, въ которомъ съ рѣдкой для русской поэзіи мощью выразился пантеистическій порывъ поэта, источникомъ котораго является его неподдѣльное религіозное чувство, видящее въ природѣ отраженіе Божества. Какая яркость образа, вызванная глубокимъ религіознымъ экстазомъ безконечно любящаго своего Бога христіанина, и

неземная красота, очищающая душу, чувствуется въ тѣхъ словахъ этого гимна, гдѣ рѣчь идетъ объ Іисусѣ Христѣ:

Я зрю его передо мною:
Съ толпою бѣдныхъ рыбаковъ,
Онъ тихо, мирною стезею,
Идетъ межъ зрѣющихъ хлѣбовъ;
Благихъ рѣчей своихъ отраду
Въ сердца простыя онъ лiётъ.
Онъ правды алчущее стадо
Къ ея источнику ведетъ.
Зачѣмъ не въ то рожденъ я время,
Когда межъ нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Онъ шелъ на жизненномъ пути.
Зачѣмъ я не могу нести,
О мой Господь, твои оковы,
Твоимъ страданіемъ страдать,
И крестъ на плечи Твой пріять
И на главу вѣнецъ терновый!
О, если-бъ могъ я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный слѣдъ твоихъ шаговъ!

Создать эти строки, захватывающія читателя своимъ неподдѣльнымъ, глубокимъ религіознымъ восторгомъ, могъ лишь тотъ, кто самъ во всей силѣ способенъ пережить это чувство.

Такой-же чистотой религіознаго настроенія вѣетъ на читателя и отъ поэмы „Грѣшница“, гдѣ поэтъ, чтобы показать все величіе и духовную мощь Христа, заставляетъ его пройти мимо разгульнаго пиршества плѣняющей всѣхъ своей красотой гетеры, цѣль жизни которой—наслажденіе. Достаточно было Христу взглянуть своимъ кроткимъ, печальнымъ взоромъ на грѣшницу, чтобы въ душѣ ея, доселѣ вѣдающей одни низменныя наслажденія, зазвучали новыя струны, и—

Внезапно стала ей понятна
Неправда жизни святотатной,
Вся ложь ея порочныхъ дѣлъ—
И ужасъ ею овладѣлъ.

Изображенію Христа въ этой поэмѣ удѣлено сравнительно очень мало мѣста, центръ тяжести перенесенъ на обрисовку надменной гетеры, бросаю-

щей наглый вызовъ новому ученію жизни, но въ общей композиціи поэмы, въ краткой но эффектной картинѣ появленія Христа, а главное, въ изображеніи чудеснаго дѣйствія его взгляда читатель не можетъ не чувствовать глубокаго религіознаго настроенія автора.

Въ „Іоаннѣ Дамаскинѣ“ и въ „Грѣшницѣ“ мы видѣли высокій подъемъ христіанскаго религіознаго чувства автора. Но гораздо чаще въ его поэзіи религіозное чувство звучитъ въ видѣ неудержимаго порыва въ высь, къ небу, къ Богу. Окружающій насъ чувственный міръ дорогъ и близокъ поэту только потому, что онъ видитъ въ немъ отраженіе Высшаго Совершенства и гармоніи:

Журчанье водъ, цвѣтовъ дыханье,
Все... звучитъ (ему) какъ обѣщанье
Другой, далекой красоты.

Въ другомъ мѣстѣ пролога его „Донъ-Жуана“ эта мысль выражена еще опредѣленнѣе:

Всѣ явленія вселенной,
Всѣ движенья вещества
Все лишь отблескъ Божества,
Отраженьемъ раздробленный...
Богъ одинъ есть свѣтъ безъ тѣни,
Нераздѣльно въ немъ слита
Совокупность всѣхъ явленій,
Всѣхъ сіяній полнота.

Вотъ почему, не отворачиваясь отъ окружающаго міра, находя въ немъ свою красоту—„отблескъ Божества“, А. Толстой постоянно чуетъ въ себѣ порывы къ „другой, далекой красотѣ“, въ которой нераздѣльно слиты „совокупность всѣхъ явленій, всѣхъ сіяній полнота“. Эти порывы въ высь, отъ земного къ небесному, отъ преходящаго къ вѣчному, къ Началу началъ, какъ олицетворенію всяческаго совершенства, очень часто сквозятъ въ лирикѣ А. Толстого и являются однимъ изъ характернѣйшихъ ея мотивовъ. Поэтъ самъ прямо заявилъ объ этомъ въ стихотвореніи, посвященномъ И. С. Аксакову, говоря, что его душа, „въ безпредѣльное влекома, незримый чуетъ міръ“, и что онъ служитъ „таинственной отчизнѣ“. Въ концѣ этого стихотворенія, вообще очень цѣннаго для пониманія сущности поэзіи А. Толстого, мы находимъ слѣдующія очень характерныя для его міровоззрѣнія строки:

... все, что чисто и достойно,
Что на землѣ сложилось стройно,

Для человѣка то ужель,
Въ тревогѣ вѣчной мірозданья,
Есть грань высокаго призванья
И окончательная цѣль?
Нѣтъ, въ каждомъ шорохѣ растенья
И въ каждомъ трепетѣ листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота.
Я въ нихъ иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа;
И что ее, всегда чаруя,
Зоветъ и манитъ вдалекѣ,
О томъ повѣдать не могу я
На ежедневномъ языкѣ.

Итакъ, все, что видитъ „чистаго и достойнаго“ въ окружающей дѣйствительности поэтъ: красота природы, благородство человѣческаго духа, чувство любви—все говоритъ ему о Высшемъ Совершенствѣ, отраженіемъ котораго является красота земного міра. Эта мысль мелькаетъ съ большей и меньшей опредѣленностью во многихъ стихотвореніяхъ А. Толстого. Читатель неоднократно чувствуетъ, какъ дорога она автору, какъ глубоко проникаетъ она всю его поэзію Это постоянное вѣяніе религіознаго начала въ поэзіи А. Толстого придаетъ ей возвышающей душу, очищающій характеръ:

IV.

Въ связи съ религіозно-философскимъ міросозерцаніемъ гр. А. Толстого находится и его взглядъ на поэта. Въ рѣчи Іоанна Дамаскина, обращенной къ калифу, въ стихотвореніи; „Тщетно, художникъ, ты мнишь“... и въ балладѣ: „Слѣпой“ мы находимъ наиболѣе полное выраженіе этого взгляда. Сущность его сводится къ слѣдующему. Поэтъ, прежде всего, служитель Бога—„служить Творцу—его призванье“. Онъ—посредникъ между предвѣчнымъ міромъ идей, первообразовъ всего существующаго, и чувственнымъ міромъ; ему дано чувствовать таинственныя красоты, которыхъ только слабымъ отраженіемъ является видимый міръ. Именно эту сверхчувственную красоту и воспроизводитъ истинный поэтъ и, вообще, художникъ въ своихъ созданіяхъ:

Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель!
Вѣчно носились они надъ землею, незримыя оку.

Не Фидій создалъ своего славнаго Зевса, не Гете безмертнаго Фауста и не Бетховенъ свой похоронный маршъ: все это нашли они въ „правдѣ глубокой вселенной“, гдѣ былъ предвѣчный первообразъ ихъ созданій. Поэту нечего искать пищи для своего вдохновенія въ окружающемъ бренномъ мірѣ: полету его творческой мысли доступны высшіе, надземные міры. Истинный поэтъ можетъ быть слѣпъ, какъ Гомеръ, и глухъ, какъ Бетховенъ,—передъ его душевными очами выступитъ высшая красота и высшая правда, чѣмъ та, которая живетъ въ земной юдоли. Величественно-трогательный образъ такого поэта рисуетъ намъ А. Толстой въ балладѣ: „Слѣпой“, одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній и по яркости поэтическихъ красокъ, и по глубинѣ и богатству содержанія.

Намъ придется остановиться нѣсколько подробнѣе на этой замѣчательной балладѣ, ибо въ ней нашелъ себѣ наиболѣе полное выраженіе взглядъ А. Толстого на поэтическое творчество.

Слѣпой нищій гусляръ, вызванный по прихоти князя въ лѣсъ изъ своей убогой хижины, чтобы тѣшить тамъ во время охотничьяго пира своего повелителя и его дружину, опоздалъ прійти въ назначенное мѣсто. Не подозрѣвая этого, онъ, явившись ко знакомому дубу, гдѣ мнилъ найти князя съ дружиной, отвѣшиваетъ низкій поклонъ и начинаетъ пѣть. Охваченный могучимъ порывомъ вдохновенія, онъ забываетъ и тѣхъ, для кого онъ поетъ, и самого себя, и свое убожество и весь отдается во власть таинственной силы, открывающей передъ его духовнымъ взоромъ безконечныя картины. Все доступно полету его вѣщей, творческой мысли,

Всѣ міра явленья вблизи и вдали...
Все видитъ духовнымъ онъ окомъ.

Итакъ, тѣлесная слѣпота, погрузившая въ вѣчную ночь его очи, не помѣшала богатству и красотѣ его пѣсни, ибо источникъ ея въ надземныхъ сферахъ, въ самобытномъ мірѣ вѣчныхъ идей и первообразовъ. Таинственно-властный порывъ вдохновенія уноситъ пѣзца въ эти сферы, и

Пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Зане онъ надъ нею не воленъ.
Она, какъ рѣка въ половодье, сильна,
Какъ росная ночь, благотворна,
Тепла, какъ душистая въ маѣ весна,
Какъ солнце привѣтна, какъ буря грозна,
Какъ лютая смерть, необорна.

Этотъ могучій, таинственный творческій процессъ, являющійся, по А. Толстому, земнымъ подобіемъ творчества небеснаго, перерождаетъ и са-

мого творца-художника. Жалкій нищій, слѣпой деревенскій гусляръ, готовый пѣть по прихоти перваго встрѣчнаго, становится неузнаваемъ въ минуты вдохновенія:

И ликъ озаренъ его тѣмъ-же огнемъ,
Какъ въ годы борьбы и надежды,
Явилася власть на челѣ поднятомъ,
И кажутся царской хламидой на немъ
Лохмотья раздранной одежды.

Проникновеніе въ „то сокровенное горнило, гдѣ первообразы кипятъ, трепещутъ творческія силы", очищаетъ духовную личность пѣвца. Казалось-бы, какое тяжелое чувство долженъ былъ испытать слѣпой гусляръ, чувство горькой обиды и на князя, такъ безжалостно-небрежно отнесшагося къ нему, и на свою слѣпоту, когда онъ узналъ отъ дубравы, что пѣлъ одинокъ,— однако душа его преисполнена кроткаго благожелательства ко всему, что его окружаетъ, будь то такъ жестоко обошедшіеся съ нимъ люди или же мертвая природа:

И кто меня слушалъ, привѣтъ мой тому!
Землѣ-государынѣ слава!
Ручью, что ко слову журчалъ моему
Вамъ звѣздамъ мерцавшимъ, сквозь синую тьму,
Тебѣ, мать сырая дубрава!
И тѣмъ, кто не слушалъ, мой также привѣтъ!
Дай Богъ полевать имъ не даромъ!
Дай князю безъ горя прожить много лѣтъ,
Простому народу безъ нужды, безъ бѣдъ,
Безъ скорби великимъ боярамъ.

Таковъ поэтъ, въ представленіи гр. А. Толстого.

V.

Но порывы въ высь, къ „звукамъ небесъ", не дѣлали А. Толстого равнодушнымъ къ „пѣснямъ земли". Вѣдь, земная жизнь есть хоть и слабое, но все-же отраженіе высшей гармоніи, и потому хотя душа поэта и просилась „выше", но онъ, говоря его собственными словами, „съ любовію глядѣлъ на землю". Эта мысль прекрасно выражена въ упомянутомъ уже нами стихотворномъ посланіи къ И. С. Аксакову. Онъ прямо говоритъ здѣсь о томъ, что онъ, „служа таинственной отчизнѣ", „о томъ, что близко, не забылъ"; что ему „мила природа и бытъ родного намъ народа", что онъ дѣлитъ его стремленія и, вообще, любитъ „всѣ ежедневныя картины" обыденной русской природы и жизни. Мало того,— пишетъ онъ Аксакову,—

И всѣ мнѣ дороги явленья,
Тобой описанныя, другъ,
Твои гражданскія стремленья
И честной рѣчи трезвый звукъ.

Та-же самая мысль, облеченная въ прекрасный поэтическій образъ, положена въ основу стихотворенія: „Горними тихо летѣла душа небесами". Въ своемъ небесномъ полетѣ душа все-же смотритъ на землю и роняетъ жгучія слезы, которыя, какъ звѣзды, „свѣтлой и длинной вилися за ней вереницей". На вопросъ встрѣчныхъ свѣтилъ, о чемъ она плачетъ, душа отвѣчаетъ:

....я земли не забыла,
Много оставила тамъ я страданья и горя.
Здѣсь я лишь кликамъ блаженства и радости внемлю:
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы.
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,—
Было-бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого-бы.

Посмотримъ-же, какія стороны современной и прошлой жизни привлекали творческое вниманіе гр. А. Толстого и нашли себѣ откликъ въ его поэзіи.

VI.

Время поэтическаго творчества гр. А. Толстого (отъ второй половины 50-хъ годовъ, кончая половиной 70-хъ) совпало, какъ извѣстно, съ широкимъ общественнымъ движеніемъ, начавшимся у насъ послѣ Крымской войны. Какъ это всегда бываетъ въ эпоху коренной ломки старыхъ жизненныхъ формъ и понятій, въ нашемъ обществѣ образовались два рѣзко противоположныхъ по своимъ убѣжденіямъ лагеря: съ одной стороны стояли сторонники коренныхъ преобразованій, вѣрнѣе говоря, коренной ломки, ликвидаціи всего того, что выработала дореформенная жизнь, съ другой—желавшіе, въ большей или меньшей степени, сохранить старые формы и устои. Въ первыхъ рядахъ прогрессивной группы были, главнымъ образомъ, сторонники нигилистическаго міровоззрѣнія, (о крайностяхъ котораго мы имѣли случай говорить въ первомъ выпускѣ нашихъ „Чтеній", разбирая творчество Тургенева), что-же касается до консервативныхъ вглядовъ, то они нашли себѣ выраженіе въ группѣ лицъ, болѣе или менѣе примыкавшихъ къ правому крылу славянофильскаго лагеря. И съ той и съ другой стороны, въ пылу ожесточенной полемики, высказывалось не мало уродливыхъ, крайнихъ точекъ зрѣнія по различнымъ вопросамъ современной и прошлой жизни; проявлялась односторонность, узость мысли и нетерпимость

по отношенію къ „инако вѣрующимъ“. Особенно доставалось тѣмъ, кто не примкнулъ ни къ одному изъ враждующихъ лагерей, дерзнулъ „смѣть свое сужденіе имѣть“: на нихъ сыпались удары съ обѣихъ сторонъ. Таково было, въ схематическомъ видѣ, состояніе русскаго общества въ періодъ творчества гр. А. Толстого.

По своей натурѣ, гр. А. Толстой менѣе всего былъ способенъ стать узкопартійнымъ человѣкомъ: онъ былъ для этого слишкомъ большой индивидуалистъ, духовно свободенъ и независимъ, слишкомъ глубоко и всесторонне смотрѣлъ онъ на жизнь, умѣя, благодаря врожденному юмору, подмѣтить смѣшныя и пошлыя ея стороны, хотя-бы онѣ и были скрыты отъ глазъ большинства. Всѣ эти природныя его черты, вмѣстѣ съ широкимъ образованіемъ, выработали въ немъ глубокое убѣжденіе, что найти истину въ жизни—задача великой трудности. Мысль эта, постоянно мучившая поэта, была источникомъ цѣлаго ряда прекрасныхъ, задушевныхъ стихотвореній. Таковы: „Правда“, „Двухъ становъ не боецъ“, „Лишь только одинъ я останусь съ собою“, „Въ совѣсти искалъ я долго обвиненія“ и нѣкоторыя другія.

Чрезвычайно удачно схваченными красками народной русской поэзіи, въ мастерски задуманномъ поэтическомъ образѣ развиваетъ онъ эту мысль въ стихотвореніи „Правда“. Семеро родныхъ братьевъ, добрыхъ молодцевъ, поѣхали посмотрѣть, „какова она, правда, на свѣтѣ живетъ“. Подъѣхали они къ правдѣ „со семи концовъ и увидѣли правду со семи сторонъ“. Каждому правда представилась посвоему:

Кто горой называлъ ее высокою,
Кто городомъ люднымъ, торговыимъ,
Кто моремъ, кто лѣсомъ, кто степію.

Начинается споръ о томъ, кто правъ, а затѣмъ и бой, въ которомъ „полегли до единаго всѣ семеро братьевъ удалыихъ“.

Умирая-жъ, каждый сыну наказывалъ,
Рубитися наказывалъ до—смерти,
Полегти за правду, за истину.
То-жъ и сынъ сыну наказывалъ,
И доселѣ ихъ внуки рубятся
Всѣ рубятся за правду, за истину
На великое себѣ разореніе.

Понимая, какъ трудно найти истину, гр. А. Толстой не могъ примкнуть ни къ одной изъ существовавшихъ въ его время партій.

Онъ объявилъ войну славянофиламъ за ихъ нападки на „европеизмъ“, за то, что они „противопоставляютъ свою проклятую общину принципу ин-

дивидуальности,—единственному принципу, въ лонѣ котораго можетъ развиться цивилизація". Отъ славянофильства Хомякова его „тошнило". Но, съ другой стороны, хоть онъ и называлъ себя западникомъ съ ногъ до головы, онъ далеко не раздѣлялъ принциповъ, исповѣдуемыхъ у насъ этой партіей. „Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный", онъ очень хорошо видѣлъ крайности и увлеченія какъ ретроградной, такъ и либеральной партіи и до конца дней своихъ сохранилъ независимое положеніе, не примкнувъ ни къ одному изъ враждовавшихъ лагерей.

Эта идейная самостоятельность не легко давалась А. Толстому. Онъ, прежде всего, вооружилъ противъ себя какъ славянофиловъ, такъ и западниковъ; одни обвиняли его въ революціонныхъ мысляхъ, другіе въ ретроградныхъ. Съ другой стороны, находя не мало темныхъ сторонъ въ господствовавшихъ общественныхъ теченіяхъ, онъ никакъ не могъ составить себѣ вполнѣ опредѣленнаго общественнаго міровоззрѣнія, выработать непоколебимыя убѣжденія, и не разъ мучился отъ этой невозможности. Слѣды этихъ душевныхъ страданій ярко отразились въ его лирикѣ и дали нѣсколько захватывающихъ своею грустью стихотвореній.

А бѣда тому, братцы, на свѣтѣ жить,—

жалуется онъ въ одномъ стихотвореніи,—

Кому далъ Богъ очи зорькія,
Кому видѣть далъ во всѣ стороны.
И тѣ очи у него разбѣгаются:
И кажись хорошо, а лучше есть!
А и худо худо, кажись, не безъ добраго!

Та-же мысль проходитъ и въ стихотвореніи: „Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья". Поэтъ жалуется здѣсь на то, какъ „тяжело и больно" ему жить на свѣтѣ, ибо въ душѣ вѣчно царитъ „смутное сомнѣнье, вѣчное недовольство собою,—

Гдѣ-же прямая, святая дорога,—

восклицаетъ онъ съ горестью въ стихотвореніи: „Лишь только одинъ я останусь съ собою":

Съ мучительной думой стою на пути,
Не знаю, направо-ль, налѣво-ль итти.

Онъ чувствовалъ въ себѣ способность самоотверженаго служенія чему-либо. Но во имя чего, въ пользу кого онъ долженъ отдать свои силы, онъ не давалъ себѣ въ этомъ отчета и страдалъ отъ этого незнанія.

VII.

Однако гр. А. Толстой прекрасно понималъ уродливости и крайнія увлеченія обоихъ господствовавшихъ въ его время общественныхъ направленій и со всей силой своего таланта обрушивался на нихъ. Наиболѣе доставалось отъ него русскимъ радикаламъ-нигилистамъ. Страстный поклонникъ красоты и искусства, весь проникнутый вѣрой въ возвышенное, духовное начало жизни, онъ былъ глубоко оскорбляемъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ грубой простотой нигилистическаго міровоззрѣнія, попиравшаго наиболѣе дорогія его вѣрованія. И, хотя, по его собственному признанію, „непреклоннымъ и суровымъ Господь... его не сотворилъ", тѣмъ не менѣе, онъ смѣло поднялъ свой „стягъ во имя красоты" и ополчился противъ враждебнаго его духу теченія. Нельзя не признать, что удары, наносимые имъ идейнымъ противникамъ, облеченные въ форму ѣдкаго юмора и сатиры, были нерѣдко очень мѣтки и зачастую разили въ наиболѣе слабыя стороны. Для насъ крайнія идейныя увлеченія 60-хъ и 70-хъ годовъ—дѣло довольно далекаго прошлаго, и однако-же читатель не испытываетъ никакой скуки, знакомясь съ острыми стрѣлами своеобразнаго юмора нашего поэта,—такова сила истиннаго таланта. Такія произведенія, какъ „Пантелей цѣлитель", „Порой веселой мая", „Потокъ-богатырь", несмотря на нѣкоторую преувеличенность нападокъ автора, до сихъ поръ остаются лучшими образчиками нашей юмористической поэзіи.

Главнымъ пунктомъ нападенія, къ которому наиболѣе часто обращался гр. А. Толстой, полемизируя съ крайними увлеченіями тогдашнихъ радикаловъ, было ихъ отрицаніе красоты и искусства. Онъ былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что развитое чувство красоты служитъ лучшимъ показателемъ высокой культурности, какъ отдѣльнаго лица, такъ и цѣлаго народа. По его словамъ, „тотъ народъ, въ которомъ это чувство развито сильно и полно, въ комъ оно составляетъ потребность жизни, не можетъ не имѣть вмѣстѣ съ нимъ и чувства законности, и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни, гражданской, и законодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства". А чувство красоты, по его заявленію въ другомъ мѣстѣ, „нераздѣльно съ любовью къ искусству для искусства". Такъ теоретически оформилась глубоко коренившаяся въ натурѣ нашего поэта горячая любовь къ искусству и красотѣ. Само собою разумѣется, что при такой точкѣ зрѣнія на роль красоты и искусства въ жизни, онъ всѣми силами своей артистической натуры долженъ былъ ополчаться противъ тѣхъ, кто дерзновенно стремился обратить въ ничто дорогіе ему принципы. Его особенно оскорбляло стремленіе выдвинуть въ жизни на первый планъ идею грубой, матеріальной пользы. Неподдѣльнымъ огнемъ

вдохновенія и горячей вѣрой въ конечное торжество дорогихъ ему идеаловъ преисполнено его прекрасное стихотвореніе: „Противъ теченія“, являвшееся своего рода воззваніемъ къ борьбѣ за красоту и искусство. Онъ призываетъ не вѣрить оглушительнымъ крикамъ враговъ, утверждающихъ, будто въ наступившій „вѣкъ положительный“ нѣтъ болѣе мѣста „мечтателямъ“—служителямъ искусства. Основа искусства—красота—вѣчна:

.... Все та-же единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная,
Та-же плѣняетъ насъ пѣснь соловьиная,
Тѣ-же насъ радуютъ звѣзды небесныя!
Правда—все та-же! Средь мрака ненастнаго
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,
Противъ теченія!

И чтобы поддержать сторонниковъ искусства противъ „натиска новаго времени“, онъ обращается къ прошлому, вспоминаетъ времена иконоборчества и первые годы распространенія христіанства, когда небольшая горсточка людей спасла отъ погибели дорогія имъ идеи, расцвѣтшія потомъ пышнымъ цвѣтомъ. Онъ вѣритъ, что такъ-же будетъ и съ дорогимъ ему искусствомъ:

.... Напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ свею гордынею...
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное!..

И онъ смѣло ополчается „противъ теченія“, на защиту принциповъ искусства и красоты. Въ „Пантелеѣ-цѣлителѣ“, воспользовавшись народно-поэтическимъ образомъ этого святого, какъ всеобщаго цѣлителя, онъ обращается къ нему съ мольбою не жалѣть „палки суковатыя“ противъ тѣхъ его современниковъ, которые

... звона не терпятъ гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣряти,
Все, кричатъ они, надо похерити!
Только то, говорятъ, и дѣйствительно,
Что для нашего тѣла чувствительно;
И пріемы у нихъ дубоватые,
И ученье-то ихъ грязноватое!

Гораздо разнообразнѣе сатирическіе мотивы въ такихъ стихотвореніяхъ А. Толстого, какъ „Порой веселой мая“ и „Потокъ-богатырь“. Въ пер-

вомъ изъ нихъ остроумно, хотя не безъ нѣкотораго шаржа, высмѣивается кромѣ отрицанія красоты, столь модный тогда принципъ матеріальной пользы, съ точки зрѣнія котораго предлагалось устанавливать цѣнность различныхъ предметовъ и жизненныхъ явленій, а также матеріалистическое міровоззрѣніе, увлеченіе идеями соціализма и коммунизма, постоянныя дрязги въ передовомъ лагерѣ, казнокрадство инженеровъ, неудачные опыты земскаго хозяйства. Все это боевое для того времени содержаніе стихотворенія облечено въ форму разговора жениха и невѣсты, который носитъ чрезвычайно забавный характеръ. Гуляя рука объ руку со своимъ женихомъ по усѣянной весенними цвѣтами садовой полянѣ, молодая дѣва любуется разстилающейся передъ ними картиной роскошной природы. Въ отвѣтъ на ея восторги женихъ предрекаетъ скорую гибель окружающей красотѣ:

Здѣсь рай съ тобою сущій!
Во-истину все лѣпо!
Но этотъ садъ цвѣтущій
Засѣютъ скоро рѣпой!..
Она-жъ къ нему:—Что жъ будетъ
Съ кустами медвѣжины,
Гдѣ каждымъ утромъ будитъ
Насъ рокотъ соловьиный?
—Кусты тѣ вырвать надо
Со всѣми ихъ корнями,—
Индѣекъ здѣсь, о Лада,
Хотятъ кормить червями!
Поднявъ свои рѣсницы,
Спросила тутъ невѣста:
—Ужель для этой птицы
Въ курятникѣ нѣтъ мѣста?
Какъ мѣсту-то не быти,
На соловьевъ, о Лада,
Скорѣе истребити
За безполезность надо, и т. п.

Въ этомъ забавномъ стихотвореніи, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, мы встрѣчаемъ, однако, къ сожалѣнію, и глубоко несправедливыя выходки противъ идейныхъ враговъ гр. А. Толстого, какъ напримѣръ, такая строфа:

Чужимъ они, о Лада,
Не многое считаютъ,
Когда чего имъ надо,
То ташутъ и хватаютъ.

Въ балладѣ: „Потокъ-богатырь“ мы также не мало находимъ острыхъ ударовъ юмористическаго пера автора, направленныхъ противъ различныхъ крайнихъ увлеченій современнаго ему передового общества. Тутъ осмѣянъ и не въ мѣру снисходительный судъ присяжныхъ, и проповѣдь грубаго матеріализма, отрицающаго духовное начало въ мірѣ,—

Что молъ, нѣту души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существуетъ Господь,
То онъ только есть видъ кислорода,—

и преклоненіе передъ мужикомъ, „мужикомъ вообще, что смиреньемъ великъ“, и избитые разговоры на тему о коммунѣ, прогрессѣ, гуманности и всемогущей власти среды, и доходившее до крайности у нѣкоторыхъ женщинъ стремленіе усвоить мужской обликъ, и увлеченіе ихъ медициной. Художественная, артистическая натура, гр. А. Толстой не могъ быть равнодушнымъ, если видѣлъ крайности увлеченія чѣмъ-нибудь, отсутствіе чувства мѣры, а такихъ случаевъ въ тогдашнемъ передовомъ обществѣ приходилось наблюдать не мало. Порою, пораженный какой-либо крайностью, онъ, ополчаясь на нее, не видѣлъ подчасъ здоровой ея основы и самъ впадалъ въ невольное преувеличеніе. Но, въ большинствѣ случаевъ, онъ умѣлъ подмѣтить дѣйствительно слабыя стороны своихъ современниковъ и остроумно высмѣять ихъ. Правда, его юморъ мѣстами представляется грубоватымъ, чѣмъ нѣсколько ослабляется художественность впечатлѣнія отъ его злободневныхъ сатиръ, но даже и въ этихъ грубоватыхъ замѣчаніяхъ автора чуется оригинальность и глубокая наблюдательность.

VIII.

Мы останавливались до сихъ поръ на тѣхъ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого о современной дѣйствительности, въ которыхъ онъ ополчался противъ представителей нигилистическаго движенія. Но такъ-же мало было ему по сердцу и міровоззрѣніе другой общественной группы—славянофильскаго лагеря. Нѣкоторые изъ современниковъ гр. А. Толстого, примыкавшіе къ этому направленію, видѣли истинно-русскій укладъ жизни въ Московскомъ періодѣ нашей исторіи. Въ этомъ отношеніи А. Толстой рѣзко расходился съ ними въ своихъ убѣжденіяхъ. Будучи убѣжденнымъ монархистомъ, сторонникомъ просвѣтительнаго и гуманнаго самодержавія, онъ всей душой ненавидѣлъ всякій деспотизмъ, раболѣпство передъ властью, униженіе личнаго достоинства человѣка, а между тѣмъ, эти черты, по его мнѣнію, ярко выступаютъ въ московскомъ періодѣ исторіи; онъ не могъ поэтому спокойно и объективно относиться къ нему. „Моя ненависть къ московскому періоду есть идіосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то,

что говорю. Это не тенденція—это я самъ... Когда я вспомню о красотѣ нашего языка, когда я думаю о красотѣ нашей исторіи до проклятыхъ монголовъ и отвратительной Москвы..., мнѣ хочется броситься и кататься по землѣ отъ отчаянія: что мы сдѣлали съ дарами, которые далъ намъ Богъ". Изъ этой выдержки, взятой изъ двухъ частныхъ писемъ А. Толстого, видно, съ одной стороны, его отношеніе къ московскому періоду исторіи, а съ другой,—что идеаломъ его въ политическомъ отношеніи было древне-русское вѣче, общенародное начало въ государственномъ правленіи, господствовавшее у насъ, по мнѣнію историковъ, на зарѣ русской государственной жизни. Тѣ-же самыя мысли не разъ развиваются имъ и въ поэтическихъ картинахъ.

Нѣсколько лучшихъ его произведеній посвящено изображенію мрачной эпохи униженія народнаго и личнаго достоинства въ тяжелую годину московскаго царства, или-же когда-то бывшей легендарной общенародной вольности, которую онъ съ восторгомъ вспоминаетъ и оплакиваетъ ея гибель въ послѣдующее время. Таковы „Князь Серебряный", его драматическая трилогія, „Князь Михайло Рѣпнинъ", „Змѣй Тугаринъ", „Потокъ-богатырь" и др. Въ двухъ послѣднихъ балладахъ особенно ярко отразились политическія симпатіи и антипатіи А. Толстого. Въ „Змѣѣ—Тугаринѣ" татаринъ-пѣвецъ (онъ-же Змѣй-Тугаринъ) предсказываетъ на пиру у Владиміра монгольское иго на Руси и затѣмъ продолжаетъ:

... И время придетъ:
Уступитъ нашъ ханъ христіанамъ;
И снова подымется русскій народъ,
И землю единый изъ васъ соберетъ.
Но самъ-же надъ ней станетъ ханомъ:
И въ теремѣ будетъ сидѣть онъ своемъ.
Подобенъ кумиру средь храма,
И будетъ онъ спины вамъ бить батожьемъ,
А вы ему стукать да стукать челомъ—
Ой, срама, ой, горькаго срама!
Обычай вы нашъ переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вотъ, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!

Но Владиміръ не вѣритъ злосвѣщей пѣснѣ Тугарина и, взявъ свою большую чару, предлагаетъ тостъ за „русскій обычай", „за древнее русское вѣче".

За вольный, за честный славянскій народъ,
За колоколъ... Новаграда,
И если онъ даже и въ прахъ упадетъ,
Пусть звонъ его въ сердцѣ потомковъ живетъ...

Такъ устами „ласковаго князя" высказываетъ поэтъ свои завѣтныя политическія мечты.

Такъ-же ярко выступаютъ политическіе взгляды гр. А. Толстого въ прекрасной балладѣ-былинѣ: „Потокъ-богатырь". Расплясавшійся не въ мѣру на пиру у ласковаго князя Владиміра, Потокъ засыпаетъ богатырскимъ сномъ на 500 лѣтъ— и просыпается на Москвѣ-рѣкѣ. Сопоставленіе сонныхъ грезъ Потока, который во снѣ

Красныхъ дѣвицъ внимаетъ радушный привѣтъ
И съ боярами судитъ на вѣчѣ;
Или видитъ Владиміра вѣжливый дворъ,
За ковшами веселый ведетъ разговоръ,
Иль на ловлѣ со княземъ гуторитъ,
Иль въ совѣтѣ настойчиво споритъ,

съ тѣмъ, что онъ увидалъ въ Москвѣ, ясно даетъ понять читателю, насколько, по мнѣнію поэта, русская жизнь ушла назадъ сравнительно съ эпохой Владиміра. Вмѣсто радушнаго привѣта красныхъ дѣвицъ, онъ слышитъ такія рѣчи царевны:

Шерамыжникъ, болванъ, неученый холопъ,
Чтобъ тебя въ турій рогъ искривило!
Поросенокъ, теленокъ, свинья, эфіопъ,
Чортовъ сынъ, неумытое рыло! и т. д.;

вмѣсто прежняго ласковаго князя,—Іоаннъ Грозный, окруженный толпою разнузданныхъ опричниковъ, которые

Его милость сбираются тѣшить:
Тамъ кого-то рубить или вѣшать;

вмѣсто почтительно-независимаго отношенія къ представителю государственной власти, она видитъ, какъ

... на улицѣ, сколько тамъ было топы:
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи—
Всѣ предъ нимъ повалились на брюхи

и „землю... метутъ бородою", и т. д.

Такъ относился гр. А. Толстой къ историческому прошлому русскаго народа. Въ его историко-политическихъ взглядахъ нельзя не видѣть нѣкоторой идеализаціи и односторонности. Разбирая ихъ, Вл. Соловьевъ дѣлаетъ мѣткія замѣчанія по этому поводу. По его словамъ, „и кіевская Русь далеко не была идеальнымъ царствомъ свѣта, и татарско-московскій періодъ вовсе не былъ безсмысленною напастью..., невѣдомо зачѣмъ надвинувшейся тучей... Народное вѣче можетъ казаться красивымъ издали, но на самомъ дѣлѣ, это было лишь разновидностью междоусобной войны, и поэтичный колоколъ Новгорода призывалъ обыкновенно не къ гражданскимъ подвигамъ, а просто къ рукопашному бою... Великая историческая нація не можетъ обойтись безъ крѣпкаго объединеннаго государственнаго строя. Созданіе этого строя было дѣломъ московскаго періода, дѣломъ совершенно необходимымъ даже независимо отъ татаръ". Такимъ образомъ, ничего нельзя возразить противъ московскаго періода русской исторіи съ точки зрѣнія исторической. Но гр. А. Толстой примѣнялъ къ прошлому этическій масштабъ, и потому его симпатіи всецѣло клонились къ той Руси, идеальными выразителями которой были Владиміръ Святой (въ народномъ представленіи) и Владиміръ Мономахъ—въ своемъ Поученіи. Кіевская Русь, воплотившая въ себѣ истинно-національныя начала наши, по его убѣжденію, была ближе къ идеалу христіанскаго государства, чѣмъ Русь московская, и этимъ объясняются его не въ мѣру горячія симпатіи къ первой и глубокая вражда ко второй.

IX.

Мы разсмотрѣли тѣ стихотворенія гр. А. Толстого, въ которыхъ нашло себѣ отраженіе его религіозно-философское и общественно-политическое міросозерцаніе. Намъ предстоитъ еще остановиться на другихъ, болѣе, такъ сказать, интимныхъ мотивахъ его лирики.

Здѣсь на первомъ планѣ должно быть постановлено его отношеніе къ природѣ.

Характеризуя поэтическую личность гр. Толстого, мы, между прочимъ, указывали на чрезвычайно развитое въ немъ чувство природы. Его нѣжная, художественная натура чутко воспринимала малѣйшіе оттѣнки въ жизни окружающей природы, ея неуловимую для другихъ тонкую красоту и гармонію и неустанно отзывалась на эти часто мимолетныя, нѣжныя впечатлѣнія. Особенно тонко чувствовалъ и понималъ А. Толстой нашу русскую, бѣдную крикливыми эффектами природу, но дающую неисчерпаемый родникъ наслажденій для того, кто умѣетъ читать ея таинственную книгу. Въ его поэзіи мы почти не найдемъ картинъ западно-европейской природы, которой

онъ имѣлъ возможность неоднократно любоваться во время своихъ заграничныхъ поѣздокъ. Зато наша родная, русская природа, обычный сѣренькій русскій ландшафтъ постоянно фигурируютъ въ его поэзіи, то въ видѣ отдѣльныхъ картинъ, то въ мимолетныхъ сравненіяхъ, эпитетахъ и другихъ художественныхъ оборотахъ рѣчи. Чаще всего изображеніе природы у него неразрывно связано съ тѣмъ или другимъ возбуждаемымъ ею чувствомъ или настроеніемъ, одно отъ другого неотдѣлимо, и тѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, получаемое читателемъ. А. Толстой мастерски умѣетъ передать то, что наиболѣе трудно дается художникамъ слова,—„настроеніе“ изображаемой имъ картины и достигаетъ этого удивительно простыми пріемами, чуждыми той искусственности и погони за рискованными, вымученными эффектами, которыми такъ изобилуетъ наша современная поэзія. Таково общее впечатлѣніе отъ тѣхъ стихотвореній А. Толстого, въ которыхъ такъ или иначе нашла себѣ отраженіе родная природа поэта. Мы не будемъ приводить исчерпывающихъ доказательствъ этой общей характеристики,—для этого пришлось-бы подвергнуть подробному анализу слишкомъ многія стихотворенія гр. А. Толстого. Мы ограничимся немногими наиболѣе яркими примѣрами.

Чтобы судить о томъ, какъ любитъ А. Толстой прибѣгать для иллюстраціи своихъ чувствъ и мыслей къ поэтическимъ краскамъ, позаимствованнымъ изъ роскошной палитры природы, какъ искусно владѣетъ онъ этими красками, остановимся хотя-бы на стихотвореніи: „Ты жертва жизненныхъ тревогъ“. Поэтъ характеризуетъ здѣсь внутренній міръ близкой его сердцу женской души. Чуждая рѣзкихъ, опредѣленныхъ штриховъ, характеристика эта, построенная, такъ сказать, на полутонахъ, вся состоитъ изъ сравненій, почерпнутыхъ изъ безконечно разнообразной книги природы. Всѣ эти сравненія новы, оригинальны,—отъ нихъ не вѣетъ мертвечиной заѣзженныхъ общихъ мѣстъ, поэтическихъ шаблоновъ,—и въ то-же время они удивительно мѣтки, даютъ возможность читателю сразу воспринять мысль и чувство поэта. Характеризуя дорогого ему человѣка, поэтъ, напримѣръ, говоритъ:

Ты —какъ на жнивѣ сизый дымъ:
Откуда вѣтеръ ни повѣетъ,
Онъ только стелется предъ нимъ
И къ облакамъ бѣжать не смѣетъ.
Ты -словно яблони цвѣты,
Когда ихъ снѣгъ покрылъ тяжелый:
Стряхнуть тоску не можешь ты,
И жизнь тебя пригнула долу, и т. д.

Какъ много глубины хотя-бы въ послѣднемъ сравненіи! Поэтъ, въ сущности, удивительно простымъ образомъ—цвѣтущей яблони, покрытой по-

кровомъ выпавшаго снѣга, даетъ цѣлый рядъ представленій, слагающихся въ нѣжно-плѣнительный образъ: тутъ впечатлѣнія молодости, душевной чистоты, свѣжести и нѣжности (розоватый цвѣтъ яблони), и представленіе о безжалостныхъ, ледяныхъ объятіяхъ житейской прозы, тяжелымъ гнетомъ ложащейся на молодую, нѣжную душу, сгибающуюся „долу“ отъ неожиданныхъ, жестокихъ ударовъ судьбы. Все сравненіе построено такъ, что, не требуя отъ читателя никакого напряженія воображенія,— взятъ слишкомъ знакомый русской жизни образъ, хотя и не банальный,— будитъ въ его душѣ цѣлую гамму тонкихъ настроеній и пробуждаетъ къ работѣ его собственное творчество. То-же самое нужно сказать и о прочихъ художественныхъ штрихахъ этого стихотворенія и о многихъ другихъ лирическихъ перлахъ А. Толстого. Изъ стихотвореній, въ которыхъ поэтъ для выраженія своего душевнаго настроенія прибѣгаетъ къ образамъ, заимствованнымъ изъ природы (нерѣдко, какъ въ народной поэзіи, къ параллелизму), отмѣтимъ еще „Острою сѣкирой срублена береза“, „Грядой клубится бѣлою надъ озеромъ туманъ“, „Деревцо мое миндальное“. Порою однако въ лирическихъ стихотвореніяхъ мы встрѣчаемъ и болѣе или менѣе законченныя картины русской природы, нашъ родной ландшафтъ. Таковы, напримѣръ, стихотворенія: „Ты знаешь край“, „Шумитъ на дворѣ непогода“, „Боръ сосновый въ странѣ одинокій стоитъ“, „По греблѣ неровной и тряской“ и др. Отличительной чертой ихъ является удивительная художественная простота и въ то-же время яркость, пластичность образовъ и настроеній. Съ особеннымъ искусствомъ удается А. Толстому передать бодрое, жизнерадостное, всѣхъ обновляющее настроеніе весенней природы, когда чисто стихійная радость и полнота жизни охватываетъ душу, переполняетъ ее неудержимый восторгъ передъ счастьемъ бытія. Таково, напримѣръ, описаніе весны въ „Сватовствѣ“ и отдѣльные болѣе мелкіе эскизы пробуждающейся природы въ другихъ стихотвореніяхъ. Мастерски онъ умѣлъ также передать то столь знакомое русскому человѣку чувство необъятной шири, стихійной мощи и простора, которыми вѣетъ порою на насъ отъ родного пейзажа:

Край ты мой, родимый край!
Конскій бѣгъ на волѣ!
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!
Волчій голосъ въ полѣ!
Гой, ты, родина моя!
Гой, ты, боръ дремучій!
Свистъ полночный соловья!
Вѣтеръ, степь да тучи!

Невозможно болѣе сильно и ярко, и въ то-же время съ такой пора-

зительной сжатостью, передать неуловимое впечатлѣніе отъ русской равнины, чѣмъ это дѣлаетъ А. Толстой въ приведенномъ стихотвореніи.

X.

Отдѣльную, довольно значительную группу представляютъ любовныя стихотворенія гр. А. Толстого. Отличительной чертой ихъ является полное отсутствіе въ нихъ чувственнаго элемента, восхищенія физической красотой любимаго человѣка. Они всѣ посвящены изображенію внутренней, духовной стороны любви, той сложной гармоніи возвышенныхъ настроеній, которыя охватываютъ наиболѣе чистыя и чуткія души въ періодъ переживанія этого чувства. Какъ живо, напримѣръ, передано поэтомъ первое, едва уловимое зарожденіе чувства любви въ стихотвореніи: „Средь шумнаго бала“. Подъ вліяніемъ любви душа поэта дѣлается чище, возвышеннѣе, ей доступнѣе становится тайна жизни;

Меня, во мракѣ и пыли
Досель влачившаго оковы,
Любови крылья вознесли
Въ отчизну пламени и слова;
И просвѣтлѣлъ мой темный взоръ,
И сталъ мнѣ виденъ міръ незримый,
И слышитъ ухо съ этихъ поръ,
Что для другихъ неуловимо.

Самая любовь представляется ему лишь отблескомъ тѣхъ лучей вѣчной любви, которая воззвала къ жизни „толпу міровъ“. Онъ могъ поэтому сказать о своемъ чувствѣ: .... я могу любить лишь напросторѣ—

Мою любовь, широкую, какъ море,
Вмѣстить не могутъ жизни берега.

Къ любимому человѣку онъ относится съ рѣдкимъ вниманіемъ и участіемъ, чутко отзываясь на малѣйшее движеніе его души. Въ его психологіи понятіе „любить“ отожествляется съ „жалѣть“. Потому-то чувство его не слабѣетъ и тогда, когда бурные порывы первой страсти прошли:

Такъ отъ высотъ нахмуренной природы,
Съ нависшихъ скалъ сорвавшійся потокъ
Изъ царства тучъ, грозы и непогоды
Въ просторъ степей выноситъ тѣ-же воды
И въ даль течетъ спокоенъ и глубокъ.

Есть еще одна группа стихотвореній гр. А. Толстого, которая не можетъ быть обойдена молчаніемъ даже при бѣгломъ обзорѣ содержанія его поэзіи. Это—его баллады. Нѣкоторыя изъ нихъ давно оцѣнены по достоинству, оцѣнены если не критикой, то читающей публикой. „Василій Шибановъ", „Михайло Рѣпнинъ" стали достояніемъ чуть не каждой школьной хрестоматіи и сборниковъ стихотвореній для декламаціи. Менѣе извѣстны столь-же художественныя его баллады, рисующія картины быта древней кіевской Руси и черпающія свое содержаніе, главнымъ образомъ, изъ народно-пѣсенной эпической поэзіи. Таковы „Илья Муромецъ", „Алеша Поповичъ", „Пѣсня о Гаральдѣ и Ярославнѣ", „Пѣсня о походѣ Владиміра на Корсунь", „Садко" и др., не говоря уже о такихъ въ высокой степени оригинальныхъ произведеніяхъ, какъ „Потокъ-богатырь" или „Змѣй Тугаринъ", гдѣ поэтъ при помощи образовъ, взятыхъ изъ былевого эпоса, выражаетъ свое общественно-политическое міровоззрѣніе. Читая эти баллады, не знаешь, чему болѣе удивляться—искусству-ли поэта, возведшаго „въ перлъ созданія" наивные народно-поэтическіе образы, сумѣвшаго взять изъ родника народной рѣчи наиболѣе мѣткіе и яркіе обороты и выраженія, или-же богатству поэтическихъ красокъ, таящихся въ народномъ творчествѣ и оживающихъ переъ нами отъ чудодѣйственнаго прикосновенія одного изъ лучшихъ художниковъ русскаго слова. Какими роскошными поэтическими образами, какою мѣткостью и колоритностью народной рѣчи блещетъ, напримѣръ, баллада „Садко", представляющая собою не что иное, какъ поэтическую разработку извѣстнаго былиннаго сюжета о пребываніи новгородскаго богатыря у водяного царя. Сколько богатой фантазіи и неподдѣльнаго юмора сказывается въ этой балладѣ, которую смѣло можно поставить на ряду съ лучшими произведеніями подобнаго рода въ западно-европейской литературѣ. Не менѣе прекрасенъ и его „Илья Муромецъ", въ которомъ такъ мѣтко схвачены и демократизмъ народнаго любимца, и его гордость, и сознаніе собственнаго достоинства, и глубокая любовь къ вольной-волюшкѣ. Общія художественныя красоты его балладъ много увеличиваются, благодаря звучному, красивому стиху, невольно плѣняющему слухъ читателя.

XI.

Мы сдѣлали краткій обзоръ основныхъ мотивовъ поэзіи гр. А. К. Толстого. Остается подвести общіе итоги сказанному и выяснить историко-литературное значеніе А. Толстого, какъ поэта-стихотворца.

Существуетъ мнѣніе и довольно распространенное, что А. Толстой былъ поэтъ, исключительно замкнувшійся въ эстетическое созерцаніе прекрасныхъ образовъ, совершенно отрѣшившійся не только отъ такъ называе-

мыхъ „гражданскихъ мотивовъ“, но и отъ жизни вообще въ обширномъ смыслѣ этого слова. Говорятъ, что онъ по своему міросозерцанію вполнѣ примыкалъ къ тому великосвѣтскому кругу, къ которому принадлежалъ по рожденію и воспитанію; его взгляды, будто-бы, поражаютъ узостью формальнаго піэтизма, въ которомъ такъ и сквозитъ полное отреченіе отъ малѣйшаго покушенія на самостоятельную мысль, (Срав. Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы). Его считаютъ придворнымъ поэтомъ, упрекаютъ въ консерватизмѣ, „царедворствѣ“ и т. п. Основаній для такого рода огульныхъ осужденій ищутъ въ томъ, что А. Толстой, аристократъ по происхожденію, стоялъ очень близко къ царскому двору (онъ былъ одно время флигель-адъютантомъ императора Александра II-го, а затѣмъ, до самой смерти, егермейстеромъ двора Его Величества).

Послѣ сдѣланнаго выше обзора его поэзіи должно быть ясно, какъ ошибочны подобныя утвержденія. Отзывающіеся такимъ образомъ объ А. Толстомъ не берутъ на себя труда хоть сколько-нибудь внимательно отнестись къ его творчеству; они будто умышленно не обращаютъ вниманія на цѣлый рядъ произведеній, блестяще опровергающихъ столь несправедливое отношеніе къ покойному поэту. Не спокойный царедворецъ, замкнувшійся въ великосвѣтскіе интересы, отрѣшившійся отъ жизни русскаго общества и народа, былъ гр. А. Толстой, а человѣкъ, всю свою жизнь страдавшій отъ противорѣчій окружавшей его дѣйствительности, въ нѣкоторомъ родѣ „нервъ великаго народа“, переживавшій въ своемъ чуткомъ сердцѣ многія событія современной и прошлой русской жизни, хоть они и вовсе не касались его непосредственно...

Занимая одну изъ придворныхъ должностей, А. Толстой только потому не бросалъ этой всегда тяготившей его службы, что надѣялся такимъ путемъ дѣлать добро, доводить правду до свѣдѣнія государя. Всякій разъ, когда ему удавалось это сдѣлать, онъ считалъ себя счастливымъ, находилъ, что онъ исполнилъ свой долгъ. Такъ, въ одномъ письмѣ онъ говоритъ: „мое расположеніе духа измѣнилось къ лучшему, потому что я сегодня вечеромъ нашелъ случай сказать государю одну вещь, которую необходимо было ему знать, и которую безъ меня онъ не узналъ бы. Когда это мнѣ случается, я оживаю“. Въ другомъ мѣстѣ, по поводу одной должности, возложенной на него, онъ заявляетъ: „если я не смогу остаться честнымъ человѣкомъ на этомъ мѣстѣ, я уйду, во что-бы то ни стало, хоть напроломъ“.

Уже эти немногія выдержки изъ частной переписки А. Толстого показываютъ, насколько несправедливы направленныя по его адресу обвиненія, выставляющія его чуть-ли не придворнымъ поэтомъ, способнымъ на лесть и куреніе ѳиміама во имя низкихъ, корыстныхъ расчетовъ. Если онъ и по-

святилъ первую книгу своихъ стихотвореній императрицѣ Маріи Александровнѣ, то это объясняется не какимъ-либо низкимъ побужденіемъ, а искреннимъ уваженіемъ къ ней, какъ человѣку. „Это женщина,—писалъ онъ,—которую я люблю и уважаю всѣмъ сердцемъ. Я говорю и повторяю это во-всеуслышаніе и я не боюсь прослыть за льстеца". Любопытно сопоставить съ этими словами приписку въ одномъ болѣе позднемъ письмѣ: „доброта и память обо мнѣ императрицы меня трогаютъ, лишь бы только эта доброта не была для меня причиною рабства. Цѣпи—всегда цѣпи, даже когда онѣ изъ цвѣтовъ".

Слова эти показываютъ, какъ высоко ставилъ А. Толстой личную свободу и независимость, которыхъ онъ не согласился бы промѣнять ни за какія блага міра. Отъ рожденія одаренный въ высокой степени индивидуализмомъ, онъ не выносилъ какого-бы то ни было рабства и болѣе всего страшился потерять свою духовную свободу и самостоятельность. Къ нему вполнѣ примѣнимы слѣдующія слова одного изъ его стихотвореній.

Ни предъ какой земною властью
Своей онъ мысли не таитъ,
Не льститъ неправому пристрастью,
Враждѣ неправой не кадитъ.
Ни предъ вѣнчанными царями,
Ни предъ судилищемъ молвы
Онъ не торгуется словами,
Не клонитъ гордой головы.

Всякій разъ, когда современная дѣйствительность своими уродливыми проявленіями возмущала его душевный міръ, а это бывало очень и очень часто, онъ обличалъ эти уродливости съ одинаковымъ жаромъ,—шли ли онѣ изъ лагеря косерваторовъ или радикаловъ; его лирическія и даже эпическія стихотворенія заключаютъ въ себѣ множество откликовъ на явленія текущей жизни, и только тотъ, кто не знаетъ поэзіи А. Толстого, можетъ утверждать, что это былъ поэтъ чистаго искусства. Вся его дѣятельность, какъ художника слова, есть въ большинствѣ случаевъ борьба за права человѣческой личности, за попранное человѣческое достоинство, проповѣдь благородныхъ отношеній между государствомъ и личностью.

Въ этомъ отношеніи А. Толстой, при всемъ своемъ разногласіи съ представителями передовой общественной мысли въ 60-е и 70-е годы, все же, такъ-же, какъ и они, служилъ дѣлу обновленія русской жизни въ эпоху великихъ реформъ. Дѣло въ томъ, что изучая періоды подъема общественной волны, когда перестраивается на новыхъ началахъ частная и государственная жизнь того или другого народа, всегда необходимо отличать

основныя, руководящія идеи, во имя которыхъ перерабатываются старыя основы жизни, отъ той формы, въ какую онѣ воплощаются. То-же необходимо имѣть въ виду и при оцѣнкѣ общественнаго движенія. Такъ бываетъ всегда, такъ было и у насъ въ 60-е и 70-е годы прошлаго столѣтія. Гр. А. Толстой и представители нигилистическаго теченія, при всемъ ихъ разногласіи, въ сущности, служили одной и той-же цѣли—обновленію Россіи на болѣе гуманныхъ, разумныхъ началахъ, чѣмъ тѣ, которыя легли въ основу дореформеннаго строя. Въ этомъ историческое значеніе поэзіи А. Толстого.

Но тѣ-же самые принципы, за которые ратовалъ А. Толстой въ своей поэзіи, не были чѣмъ либо временнымъ, только переходной ступенью къ болѣе совершеннымъ высшимъ идеаламъ. Глубокая религіозность, чуждая формальной узости и односторонности, любовь къ природѣ, искусству и красотѣ, широкая гуманность, уваженіе къ человѣческой личности и громкій протестъ противъ всего того, что попираетъ ея достоинство,—таковы источники вдохновенія гр. А. Толстого, но въ то-же время это и есть то „вѣчное", что близко и понятно всему человѣчеству, что служатъ путеводной звѣздой для лучшихъ его борцовъ.

Таково непреходящее идейное значеніе поэзіи гр. Толстото.

Не менѣе высоко стоитъ она и въ художественномъ отношеніи. Даже при поверхностномъ чтеніи его стихотвореній невольно поражаешься звучностью и разнообразіемъ стихотворныхъ размѣровъ, красотою и яркостью поэтическихъ образовъ, прекраснымъ языкомъ его произведеній. Ему, несомнѣнно, принадлежитъ видное мѣсто въ ряду первоклассныхъ русскихъ поэтовъ стихотворцевъ. Но въ чемъ А. Толстой не имѣетъ себѣ соперниковъ, такъ это въ удивительномъ мастерствѣ придавать національный колоритъ своимъ созданіямъ. Особенно ярко выступаетъ онъ въ его балладахъ изъ древне-русской жизни и въ цѣломъ рядѣ другихъ стихотвореній, какъ, напримѣръ, „Не Божіимъ громомъ, горе ударило", „Кабы знала я, кабы вѣдала", „Правда" и мн. другіе. Можно съ полнымъ правомъ сказать, что никто изъ нашихъ поэтовъ-стихотворцевъ не умѣлъ такъ ярко передать національную самобытность русскаго народа, какъ гр. А. Толстой. Гдѣ можно, напримѣръ, найти лучшую характеристику столь знакомой намъ „широкой русской натуры", чѣмъ въ слѣдующемъ крошечномъ его стихотвореніи:

Коль любить, тамъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ съ плеча!
Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
Коль карать, такъ ужъ за дѣло,

Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Чисто національный, великорусскій характеръ носитъ и юморъ А. Толстого, печать котораго лежитъ на многихъ его произведеніяхъ. Временами онъ переходитъ въ сатиру, но чаще всего сохраняетъ характерный признакъ „смѣха сквозь слезы". Наиболѣе яркое выраженіе его мы находимъ въ удивительно характерномъ по своимъ національнымъ краскамъ стихотвореніи; „Кабы Волга—матушка вспять побѣжала". По своему тону, точнѣе говоря, по нарастанію юмористическаго чувства, оно очень напоминаетъ извѣстную народную пѣсню: „А и горе—горе гореваньице", но во много разъ стоитъ выше ея по своимъ художественнымъ достоинствамъ. Ярко выраженный національный характеръ поэзіи гр. Алексѣя Толстого имѣетъ громадное значеніе для русскихъ читателей: онъ будитъ и питаетъ въ ихъ душѣ сѣмена національнаго чувства, часто непробудно спящаго въ русскомъ интеллигентѣ, и этимъ сближаетъ его съ главнымъ творцомъ и выразителемъ этого чувства—русскимъ народомъ.

Гр. А. К. Толстой и по своему міровоззрѣнію, и въ своемъ творчествѣ стоялъ особнякомъ среди своихъ современниковъ. Но онъ далеко не одинокъ въ области міровой поэзіи. Его духовный складъ и основные мотивы его поэтическаго творчества очень тѣсно роднятъ его съ цѣлой группой близкихъ ему по духу писатей западно-европейской литературы. Онъ, по основнымъ чертамъ своей духовной личности, которая нашла себѣ такое яркое воплощеніе въ его поэзіи, типичный романтикъ, примыкающій по своему настроенію къ лучшимъ представителямъ этого направленія на Западѣ въ началѣ XIX вѣка. Но романтизмъ въ такомъ видѣ, какъ онъ нашелъ себѣ выраженіе въ личности и творчествѣ гр. А. Толстого, вѣчно живетъ въ человѣчествѣ.

Оттого и поэзія Алексѣя Толстого имѣетъ общечеловѣческое значеніе.

Latv
1-00